

Uslav
Russkaya Mysl'
РУССКАЯ МЫСЛЬ

RUSSKAYA M Y S L'

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

ezhemesyachnoe

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

literaturno-politicheskoe izdanie

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ПЕТРА СПРУВЕ**

*pod redaktsiei
Petra Spruve*



498077

3. 10. 49

1921 1-2

КНИГА I И II

СОФІЯ
1921

FP
50
R8
g. 41
кн. 1-2

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
I. КЪ СТАРЫМЪ И НОВЫМЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ „РУССКОЙ МЫСЛИ“. — Ред.	3
II. РАЗМЫШЛЕНІЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ. I. Послѣ міровой войны. II. Новая жизнь и старая мощь (Историческій смыслъ русской революціи) — Петра Струве.	6
III. БѢЛЫЯ МЫСЛИ (Подъ Новый Годъ). — В. Шульгина.	38
IV. ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ЕВГЕНІЯ НИКОЛАЕВИЧА ТРУБЕЦКОГО. Часть I. Главы I — V.	44
V. ИЗЪ КНИГИ ВОЛЬНЫХЪ СОНЕТОВЪ: „ТОМЛЕНІЕ ДУХА“. Стихотворенія. — Вл. Н-аго	97
VI. ВЪ СУМЕРКАХЪ КУЛЬТУРЫ. — К. Зайцева.	99
VII. ЕВРОПА И ЕВРАЗИЯ (по поводу брошюры кн. Н. С. Трубецкого „Европа и Человѣчество“). — Петра Савицкаго	119
VIII. ДНЕВНИКЪ ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ ГИППУСЪ. Часть I. Исторія моего дневника. Часть II. Черная книжка.	139
IX. ИСХОДЪ. Разсказъ. — Ив. Бунина	191
X. ЖЕНЩИНЫ. Драматическій отрывокъ. — И. Сургучева.	200
XI. ИДЕЯ РОДИНЫ ВЪ СОВѢТСКОЙ ПОЭЗИИ. — Петроника.	214
XII. ИСТОРИЧЕСКІЕ МАТЕРІАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ. Идеологія Махновщины. — П. Стр.	226
XIII. КРИТИКА И БИБЛЮГРАФІЯ 1. „Дзѣнадцать“ Александра Блока. — Петра Струве. 2. Народившійся патріотизмъ (Patriotica Ник. Авксентьева). — Наблюдателя. 3. Антологія современной русской поэзіи. — А. Г. Левенсона	232
XIV. ПАМЯТИ А. А. ШАХМАТОВА. — Юр. Никольскаго	239

Къ старымъ и новымъ читателямъ „Русской Мысли“.

Въ жестокіе и скорбные дни паденія русской государственности и почти полнаго вытѣсненія русской культуры съ ея родной почвы мы возобновляемъ наше изданіе.

Чѣмъ острѣе кризисъ, переживаемый Россіей, чѣмъ глубже паденіе, до котораго мы дошли, тѣмъ важнѣе и отвѣтственнѣе работа русской мысли.

Мы должны прежде всего осознать и осмыслить для себя обрушившіяся на нашу родину несчастія и катастрофы. Эта, возложенная исторіей на насъ, задача требуетъ полной правдивости, какъ бы сурова и жестка ни была искомая и отысканная правда. Мы должны имѣть смѣлость взглянуть въ лицо дѣйствительности и, какъ бы ни кипѣла въ насъ патріотическая страсть, съ холодной ясностью все учесть, все взвѣсить, не останавливаясь ни передъ какой правдой, не страшась никакихъ выводовъ. Патріотическая страсть должна вдохновить насъ на мужество величайшей, безстрастной и безпощадной трезвости.

Революція, которую переживаетъ наша родина, есть столь же громадная, какъ сама Россія, историческая стихія. Эта темная и сложная стихія далеко еще не сказала своего послѣдняго слова. Она еще

только раскрывается въ своемъ историческомъ смыслѣ, въ своихъ подлинныхъ достиженіяхъ.

Русская революція отнюдь еще не закончилась, и сейчасъ мы переживаемъ только одинъ, быть можетъ, наиболѣе тягостный для насъ, но въ то-же время многозначительный и роковой ея этапъ.

Понявъ, что русская революція есть весьма далекая отъ завершенія разрушающая и творящая стихія, мы должны понять еще и другое. Никакіе замыслы и умыслы не могутъ идти вровень съ этой исторической стихіей. Не то, что они мельче ея, они просто въ ней тонутъ. Всѣ умыслы русской революціи ею же самой преодолѣваются и посрамляются. Пріять революцію значитъ понять ее, какъ великую историческую стихію, но это отнюдь не означаетъ пріятія замысловъ и умысловъ людей и людскихъ толпъ, въ ней участвующихъ. Эти замыслы суть лишь преходящіе всплески и подчасъ только грязная пѣна на волнахъ исторической стихіи.

Рѣшивъ быть трезвыми до безпощадности и не боясь смотрѣть въ лицо великой исторической стихіи, мы тѣмъ освобождаемъ нашу патріотическую страсть отъ раболѣпія передъ отдѣльными политическими формулами и лозунгами, отъ плѣненія партійными программами и платформами. Движимые этой страстью, просвѣтленной историческимъ сознаніемъ и познаніемъ, мы свободно отдаемся великому цѣлому — Россіи, въ ней самой, въ ея величіи находя окончательное, непререкаемое мѣрило всѣхъ замысловъ и всѣхъ рѣшеній. Она для насъ есть подлинный живой образъ, облеченный плотью и кровію. Въ этомъ живомъ образѣ, повторяемъ, для насъ — мѣрило всѣхъ за-

мысловъ и рѣшеній, въ немъ — связь настоящаго съ прошлымъ и съ будущимъ. Сейчасъ, послѣ революціи, въ русскихъ душахъ неудержимо зрѣетъ тотъ самый патріотизмъ и націонализмъ, который мы, казалось, тщетно проповѣдывали до революціи. Сквозь угаръ коммунистическихъ замысловъ и интернационалистическихъ умысловъ, среди несказанныхъ страданій и великой мерзости безбожія и безчеловѣчности, возстаетъ и воскресаетъ Россія.

Осознать и осмыслить въ глубочайшемъ паденіи это воскресеніе Россіи, ея вѣкового и въ то же время живого образа, — вотъ задача русской мысли и нашего журнала.

Изъ такой работы мысли, суровой и безпощадной, но движимой великой патріотической страстью, должно рождаться, какъ ея законный плодъ, смѣлое и твердое дѣйствіе. Безъ мысли дѣйствіе будетъ слѣпо, но зрячая и острая мысль не можетъ оставаться бездѣйственной. Призывая къ работѣ мысли, мы зовемъ не къ спокойному созерцанію, а къ жертвенному дѣланію.

Ред.

Размышленія о русской революціи.

I. Послѣ міровой войны.*)

Міровая война формально закончилась съ заключеніемъ перемирія между англо-французско-итальяно-американской коалиціей и коалиціей германской въ ноябрѣ прошлаго года. Однако на самомъ дѣлѣ все, что мы пережили и переживаемъ съ тѣхъ поръ, есть продолженіе и видоизмѣненіе міровой войны. Поэтому намъ слѣдуетъ уяснить себѣ прежде всего смыслъ міровой войны, какъ событія международной жизни, какъ акта международного состязанія.

Міровая война была начата Германіей и вытекла изъ ея стремленія къ міровому владычеству. Въ настоящее время это — не субъективное мнѣніе, опредѣляемое симпатіями того или другого лица, а непреложная историческая истина, удостоверяемая не только ходомъ событій, предшествовавшихъ началю войны, но, что гораздо важнѣе, ходомъ самой войны. Сейчасъ, когда трагическій исходъ войны для Германіи ясенъ, можно видѣть, что если бы Германія не стремилась къ полной побѣдѣ, т. е. къ міровому владычеству, она могла и должна была бы сама гораздо раньше прервать войну. Но она желала полной побѣды и вѣрила въ нее именно потому, что цѣлью этой наступательной войны для нея было міровое владычество, опирающееся на превосходство военной силы. Въ основѣ войны со стороны Германіи была недостижимая утопическая цѣль, цѣль именно прежде всего политически недостижимая. Она оказалась въ военномъ отношеніи недостигнутой и недо-

*) Публичная Лекція, прочитанная въ ноябрѣ 1919 г. въ Ростовѣ н Дону и воспроизводимая здѣсь почти безъ измѣненій.

стижимой, потому что она была политически въ широчайшемъ смыслѣ, т. е. и политически-психологически и матеріально-экономически, недостижимой.

Въ самомъ началѣ Германія изъ военно-стратегическихъ соображеній совершила роковую для себя ошибку: нарушение бельгійскаго нейтралитета. Этотъ фактъ повлекъ за собою немедленное вступленіе въ войну Англии и тѣмъ сдѣлалъ невозможнымъ быстрое сокрушеніе Франціи. Есть неопровержимыя доказательства того, что германское правительство, начиная войну, рассчитывало, что Англія не сейчасъ вступится въ нее. Въ силу вступленія Англии въ войну Германія очутилась одновременно лицомъ къ лицу съ Англіей и Россіей.

Противъ кого была направлена война Германіи? И сейчасъ, послѣ исхода войны, осложненнаго русской революціей, событія, въ значительной мѣрѣ задуманнаго и осуществленнаго Германіей, и до революціи въ широкихъ русскихъ общественныхъ кругахъ держался и держится взглядъ, что міровая война была состязаніемъ между Германіей и Англіей, подобно тому, какъ наполеоновскія войны были состязаніемъ между Франціей и Англіей, хотя Россія играла видную и, казалось бы, рѣшающую роль въ наполеоновскихъ войнахъ. По результатамъ это въ значительной мѣрѣ такъ. Хотя въ міровой войнѣ побѣжденными оказываются Германія и Россія, первая — на полѣ сраженія и въ экономическомъ состязаніи, вторая — вслѣдствіе самоубійственнаго акта своего — революціи, намѣреніемъ и заданіемъ Германіи при начатіи войны было сокрушить Россію и тѣмъ самымъ безраздѣльно утвердить свое владычество на континентѣ Европы, что своимъ послѣдствіемъ, конечно, имѣло бы и міровое владычество Германіи. Поэтому, не формально и не случайно, а по существу и по заданію Германія войну направляла противъ Россіи, Германія поставила ставку на сокрушеніе Россіи.

Это обнаружилось и въ ходѣ самой войны. Когда русская революція, подстроенная и задуманная Германіей, удалась, Россія по существу вышла изъ войны. Чѣмъ же занялась Германія? Расчлененіемъ, т. е. разрушеніемъ Россіи. Политика Германіи имѣла ввиду реализовать этотъ результатъ, какъ главнѣйшій и совершенно несомнѣнный плодъ войны.

Такъ смотрѣли на дѣло и тѣ, кто рассчитывалъ одержать полную побѣду въ войнѣ противъ западныхъ державъ, и тѣ, кто на такую побѣду не рассчитывалъ. Какъ извѣстно, творецъ и главный дѣятель Брестъ-Литовскаго мира съ германской стороны, статсъ-секретарь фонъ Кюльманъ не вѣрилъ въ возможность полной побѣды Германіи на поляхъ сраженія, и за то, что онъ публично и какъ офиціальное лицо высказалъ это мнѣніе, онъ, по настоянію высшей военной власти, долженъ былъ подать въ отставку. Но онъ же провелъ расчлененіе Россіи по брестъ-литовскому миру, и противъ этого германская высшая военная власть и не думала ни бороться ни даже протестовать. А это и значитъ, что для Германіи первой и основной цѣлью войны, которая началась съ объявленія войны Россіи, было сокрушеніе и разрушеніе Россіи, какъ великой державы, въ ея историческомъ образѣ и въ ея исторической мощи. Когда послѣ войны 1870—1871 года знаменитый французскій политическій дѣятель и историкъ революціи и Наполеона, потомъ первый президентъ французской республики, Тьеръ, объѣзжая разные дворы съ цѣлью отысканія поддержки у другихъ европейскихъ державъ, встрѣтился, если не ошибаюсь, въ Вѣнѣ съ знаменитымъ нѣмецкимъ историкомъ Ранке, съ которымъ онъ былъ связанъ узами личной дружбы, и спросилъ Ранке: съ кѣмъ послѣ сверженія Наполеона III Германія ведетъ войну? — Ранке отвѣчалъ: съ Людовикомъ XIV. Этотъ отвѣтъ для того, кто знаетъ исторію Европы, ясенъ. Смыслъ его заключается въ томъ, что Эльзась былъ присоединенъ къ Франціи Людовикомъ XIV, и Германія въ послѣдней трети XIX вѣка вела войну съ Франціей за отторженіе Эльзаса отъ Франціи.

Германія въ 1914 г. начала войну противъ Россіи и вела ее противъ Ивана Грознаго и Петра Великаго, т. е. вела ее съ цѣлью сокрушенія и расчлененія Россіи.

Не только бесполезно, но страшно вредно для нашихъ союзниковъ въ войнѣ и для нашихъ противниковъ въ ней затемнять этотъ основной ея смыслъ. Германія проиграла не только міровую войну, но и свое собственное могущество потому, что она, поставивъ себѣ эту задачу, абсолютно неприемлемую для Россіи, для ея государственныхъ силъ, одно-

временно съ тѣмъ желала вести и довести до конца свою войну съ западными державами. Можетъ быть, Германія могла бы сокрушить Россію, если бы она съумѣла вовремя покончить войну съ западными державами. Можетъ быть, Германія смогла бы побѣдить западныя державы, если бы она съумѣла найти компромиссъ съ государственными силами Россіи, а не поставила бы себѣ задачей во что бы то ни стало при помощи большевизма расчленить Россію. Объ этомъ можно много фантазировать, но это, на мой взглядъ, совершенно бесплодно. Фактъ остается на лицо. Германія стремилась въ этой войнѣ къ сокрушенію и расчлененію Россіи.

Въ декабрѣ 1918 года я попалъ изъ совѣтской Россіи на Западъ, сперва въ Финляндію, а потомъ черезъ Скандинавію въ Англію и Францію. Что меня всего болѣе поразило тогда на союзническомъ западѣ, это — та быстрота и легкость, съ какою общественное мнѣніе союзныхъ съ нами странъ усвоило себѣ ту точку зрѣнія на Россію, для которой я не нахожу другого болѣе правильнаго названія, какъ точка зрѣнія „Брестъ-Литовская“. Рядомъ съ этимъ у западноевропейскихъ правительствъ въ то время не было никакой определенной точки зрѣнія на Россію и никакой политики по отношенію къ ней. Союзники были очень плохо освѣдомлены о Россіи, въ общемъ удивительно незнакомы какъ съ ея прошлымъ, такъ и съ ея настоящимъ. Это относится какъ къ правительствамъ, такъ и къ общественному мнѣнію. Что же касается общественнаго мнѣнія въ особенности, то въ немъ замѣчались, конечно, различные оттѣнки какъ непониманія и незнанія Россіи, такъ и враждебности къ ней. Въ этой враждебности отчасти виноваты мы сами. Мы слишкомъ безоглядно критиковали и порочили передъ иностранцами свою страну. Мы болѣе, чѣмъ недостаточно бережно, относились къ ея достоинству, ея историческому прошлому. Помимо этого, надо принять во вниманіе и слѣдующее. Историческая Россія, т. е. Единая и Великая Россія, въ разныя историческія эпохи приходила въ столкновеніе съ тѣми двумя главными великими державами Европы, въ союзѣ съ которыми мы вели войну противъ Германіи, пока вели ее. Въ XIX вѣкѣ мы имѣли дважды военныя столкновенія съ Франціей и однажды съ Англіей.

Эти прошлыя столкновенія, часто весьма свѣжія, какъ соперничество Англіи и Россіи на Востокѣ, все-таки оставили нѣкоторый слѣдъ въ общественномъ сознаніи западныхъ странъ. Не надо забывать также, что въ прошломъ, въ эпохи, когда ни Франція ни Англія не были нашими союзницами, насъ раздѣлялъ „польскій вопросъ“, являвшійся тяжкимъ наслѣдіемъ всей многовѣковой русской исторіи. Въ „польскомъ вопросѣ“ западноевропейское общественное мнѣніе было всегда противъ исторической Россіи. Это, конечно, оставило свой слѣдъ. Всю огромную историческую сложность польскаго вопроса для Россіи, понятную для насъ, знающихъ свою исторію, на союзномъ западѣ почти никто никогда не понималъ и не понимаетъ. Наконецъ — и это самое важное — Россія, какъ Великая Держава, созданная всѣмъ русскимъ народомъ, отождествлялась съ извѣстной политической формой и даже уже, съ извѣстнымъ политическимъ строемъ, съ неограниченной монархіей, съ тѣмъ, что принято называть на западѣ французскимъ терминомъ „царизмъ“. Исконная враждебность западныхъ демократическихъ элементовъ противъ „царизма“ очень легко и быстро, съ крушеніемъ и разрушеніемъ Россійскаго Государства перенеслась на Россію, какъ Великую Державу. Эти круги разсуждали такъ: паденіе Россіи есть паденіе царизма, и принимали этотъ фактъ за положительный. Мы русскіе, многіе, по крайней мѣрѣ, разсуждали прямо обратно. Поскольку крушеніе монархіи для русскихъ означало крушеніе и самой Россіи, многіе образованные русскіе, не бывшіе монархистами, стали монархистами изъ русскаго патріотизма. И, конечно, съ точки зрѣнія русскаго патріотизма это было единственное правильное разсужденіе. Но не такъ разсуждали иностранцы; многіе изъ нихъ прямо заключили, что разъ палъ не одобряемый ими „царизмъ“, то, значитъ, пала и Россія. Этому содѣйствовали тѣ инородческіе элементы, которые якобы боролись за русскую революцію, но когда эта революція разрушила Россію, весьма быстро и развязно отвернулись отъ Россіи, ставъ самыми яркими проповѣдниками или, если угодно, самыми усердными коммивояжерами германской идеи расчлененія Россіи, положенной въ основу брестъ-литовскаго мира. Всѣ хорошо знаютъ имена этихъ борцовъ за русскую револю-

цію, которые, ставъ дѣятелями расчлененія Россіи, тѣмъ сильнѣе обличили историческую сущность самой революціи.

Съ другой стороны, пока продолжалась война, еще не вскрылись внутреннія противорѣчія между фактомъ войны, ея подлинными *государственными* и національными мотивами для разныхъ странъ, и той идеологіей, которая была создана въ процессѣ войны, какъ психологическая къ ней *приправа*, какъ своего рода „доппингъ“. Западъ самъ страдаетъ этимъ противорѣчіемъ, заключеннымъ въ міровой войнѣ. Міровая война была коалиціей великихъ и малыхъ державъ противъ Германіи и ея замысловъ мірового владычества, но по мѣрѣ того, какъ затягивалась война, и въ нее вовлекались все большія и большія массы, отъ которыхъ требовались все большія и большія жертвы, выдвигалась особая демократическая идеологія, въ силу которой Германія, несмотря на ея демократическое избирательное право, на ея могущественную социалистическую партію, которая поддерживала правительство въ теченіе всей войны до ея рокового для Германіи исхода, — съ ея сильной монархической властью, была провозглашена врагомъ міровой демократіи, которая борется за осуществленіе своего демократическаго идеала. Рядомъ съ этимъ провозглашенъ былъ принципъ самоопредѣленія народностей. Эта демократическая идеологія обратилась противъ тѣхъ государствъ и народовъ, которые оказались побѣжденными въ міровой войнѣ. Версальскій миръ съ его дополненіемъ есть итогъ двухъ тенденцій; онъ — сложная амальгама национальных стремленій всѣхъ державъ-побѣдительницъ съ „вильсонизмомъ“, съ „Лигой Націй“ и вообще съ той идеологіей войны, которая въ сущности создавалась послѣ начала войны, и съ національно-государственными стремленіями державъ, начавшихъ войну, имѣетъ мало общаго. Въ результатѣ всѣ выгодныя слѣдствія демократическихъ началъ идутъ въ пользу побѣдителей и ихъ союзниковъ, а всѣ невыгодныя обращаются противъ побѣжденныхъ державъ и ихъ союзниковъ. Это нормально, но лишь до извѣстной степени, лишь поскольку невыгодныя слѣдствія вытекаютъ изъ неотмѣнимаго факта побѣды въ міровой войнѣ определенной группы дер-

жавъ. Этотъ реальный фактъ, а не какая-либо идеологія долженъ опредѣлять собою слѣдствія войны.

Постановка „русскаго вопроса“ на западѣ сложилась подъ вліяніемъ указанныхъ выше внутреннихъ противорѣчій міровой войны. Ея идеологія, чуждая ея національно-государственному существу, въ значительной мѣрѣ опредѣлила собой то, что Россія попала какъ-бы въ разрядъ побѣжденныхъ странъ. Между тѣмъ, если Россія кѣмъ-нибудь и чѣмъ-нибудь побѣждена, то она побѣждена Германіей при помощи русской революціи и поскольку побѣдила въ міровой войнѣ не Германія, а союзники исторической Россіи, трактованіе послѣдней, какъ побѣжденной страны, есть великая и опасная бессмыслица. Поскольку такое трактованіе вытекаетъ изъ демократической идеологіи войны, мы, русскіе, какъ русскіе, отвергаемъ эту идеологію и боремся съ ней. Поэтому мы отвергаемъ чьи-либо программныя притязанія, предъявляемыя къ Россіи, и иностранную помощь, оказываемую намъ въ борьбѣ съ мировымъ зломъ большевизма, мы понимаемъ и принимаемъ — не какъ вмѣшательство иностранцевъ въ наши внутреннія дѣла. Съ нашей точки зрѣнія единственно правильная постановка „русскаго вопроса“ передъ союзниками такова:

Союзники сами заинтересованы въ нашей борьбѣ съ большевизмомъ, ибо большевизмъ есть существенный эпизодъ самой міровой войны.

Во 1-хъ. Созданіе Германіи и германской пропаганды, признанная Германіей разрушительная сила, большевизмъ есть міровая опасность, опасность для всѣхъ странъ, находившихся съ нами въ союзѣ противъ Германіи. Во 2-хъ — наши союзники заинтересованы въ возстановленіи Россіи, въ ея старой мощи, ибо такая сильная, Единая и Великая Россія есть существенный элементъ мірового равновѣсія, безъ котораго удержаніе важнѣйшихъ результатовъ міровой войны и сохраненіе мира прямо таки невозможно.

Повидимому, это обоснованіе необходимости поддержки противобольшевистскихъ силъ Россіи и главной силы, той подлинной и коренной патріотической Россіи, которая родила изъ себя Добровольческую Армію, просто логически неотразимо и политически неопровержимо.

Но если державы-побѣдительницы, наши союзницы, лишь медленно и постепенно приходили къ пониманію русскаго вопроса, то это объясняется не только тѣми историческими и психологическими причинами, которыхъ я уже касался. Это объясняется еще тѣмъ, что державы-побѣдительницы сами испытываютъ внутренній кризисъ, который есть слѣдствіе войны и русской революціи.

Міровая война не даромъ имѣла демократическую идеологию. Страшно напрягши экономическія силы всѣхъ странъ, участвовавшихъ въ войнѣ, она вызвала на сцену новыя силы или, по крайней мѣрѣ, въ огромной степени усилила нѣкоторыя прежнія. Въ веденіи этой войны государства, какъ никогда прежде, апеллировали къ народнымъ массамъ. Это была, по самому характеру своему, народная и демократическая война и потому то она частично закончилась рядомъ революцій.

Это демократическое существо міровой войны и демократическій фундаментъ ведшаго ее милитаризма объясняютъ тотъ внутренній кризисъ, который переживаютъ не только побѣжденные страны, Германія и распавшаяся въ результатъ войны Австрія, но и державы — побѣдительницы. Къ этой основной причинѣ присоединился огромный по своему психологическому значенію фактъ русской большевистской революціи.

Во время войны и въ силу войны народныя массы и, въ частности, соціалистически настроенныя массы почувствовали свою силу. И вотъ, когда произошла русская революція, сразу принявшая крайній демократическій и соціалистическій характеръ, это событіе имѣло крупное значеніе для психологіи западноевропейскихъ народныхъ массъ. Пока длилась война, въ соціалистически-настроенныхъ массахъ запада держалась извѣстная государственная дисциплина, подкрѣпленная демократической идеологіей, какъ своего рода доппингомъ. Но когда война кончилась, кончилась поражениемъ Германіи и крушеніемъ и въ ней монархіи, не стало надобности въ прежней государственной дисциплинѣ. Съ другой стороны, русская революція, по причинамъ, въ которыхъ западные люди вообще не могли отдать себѣ отчета, ока-

залась эпизодомъ не на недѣли, не на мѣсяцы, а на годы. Западные люди въ массѣ не способны были, да и сейчасъ неспособны понять, что господство большевиковъ объясняется незрѣлостью русскихъ массъ, культурной отсталостью страны. Никакого реального представленія о русскомъ большевизмѣ у западноевропейскихъ массъ нѣтъ; они знаютъ только, или вѣрнѣе мнятъ себѣ, что знаютъ, что большевизмъ есть осуществленіе того социализма и того господства рабочаго класса, о которомъ они слышали такъ много умныхъ рѣчей, вѣщихъ прорицаній и соблазнительныхъ посуловъ. Отсюда — крайняя идеализація русскаго большевизма въ широкихъ кругахъ западноевропейской рабочей среды, идеализація, если угодно, дѣтская, но именно потому пока что непобѣдимая доводами разума, ни уроками исторіи, данными гдѣ то далеко, въ этой невѣдомой и непонятной Россіи. Съ другой стороны, социалистическія партіи и организаціи запада (не всѣ, но нѣкоторыя, и въ нѣкоторыхъ странахъ самыя вліятельныя) сознательно, вопреки разуму и очевидности, идеализируютъ большевизмъ, такъ какъ ссылка на русскій примѣръ и борьба со своими правительствами изъ за русскаго вопроса есть главное демагогическое оружіе въ рукахъ западноевропейскихъ социалистическихъ партій.

Такъ возникла проблема большевизма на западѣ.

Имѣетъ ли большевизмъ шансы на западѣ?

Этотъ вопросъ я попытаюсь освѣтить совершенно объективно на основаніи своего знанія социальной исторіи запада и своихъ личныхъ впечатлѣній и наблюденій.

Прежде всего *бытовой основой* большевизма, такъ ярко проявившейся въ русской революціи, является комбинація двухъ могущественныхъ массовыхъ тенденцій: стремленія каждаго отдѣльнаго индивида изъ трудящихся массъ работать возможно меньше и получать возможно больше и 2) стремленія массовымъ коллективнымъ дѣйствіемъ, не останавливающимся ни передъ какими средствами, осуществить этотъ результатъ и въ то же время избавить индивида отъ пагубныхъ послѣдствій такого поведенія. Именно комбинація этихъ двухъ тенденцій есть явленіе современное, ибо стремленіе работать меньше и получать возможно больше существовало

всегда, но всегда оно подавлялось непосредственнымъ наступленіемъ пагубныхъ послѣдствій для индивида отъ такого поведенія. Эту комбинацію двухъ тенденцій можно назвать *стихійнымъ экономическимъ или бытовымъ большевизмомъ*. Этотъ стихійный большевизмъ несомнѣнно широко расцвѣлъ на западѣ послѣ окончанія войны и онъ уже далъ свои плоды и тамъ, сказавшись въ паденіи производительности труда и производства. Но большевизмъ, какъ онъ обнаружился въ Россіи, есть не только это, а цѣлое политическое и соціально-политическое движеніе, опирающееся на указанные двѣ могущественныя массовыя тенденціи и стремящееся, опираясь на нихъ, организовать соціалистическій строй при помощи захвата государственной власти. Большевизмъ есть комбинація массоваго стремленія осуществить то, что одинъ соціалистъ, Лафергъ, назвалъ „правомъ на лѣнь“, съ диктатурой пролетаріата. Эта комбинація именно и осуществилась въ Россіи, и въ осуществленіи ея состояло торжество большевизма, пережитое нами.

Возможенъ ли въ этомъ смыслѣ большевизмъ на западѣ?

Я на этотъ вопросъ даю категорическій отвѣтъ: нѣтъ, невозможенъ. Соціальное строеніе запада и его культурный уровень совершенно несовмѣстимы съ большевизмомъ въ этомъ смыслѣ.

Что это значитъ?

А значитъ это, что всякая попытка въ большевистскомъ смыслѣ встрѣтитъ такое сопротивленіе и во всей буржуазіи запада, и въ значительной части его трудящихся массъ, какого она не встрѣтила въ Россіи.

Въ сущности опытъ уже продѣланъ въ одной странѣ, которая исходомъ войны была особенно подготовлена къ большевизму, а именно въ Германіи. Въ ней большевистскія попытки потерпѣли полное пораженіе. И это неслучайно, такъ же, какъ неслучайно, что изъ всей Западной Европы большевизмъ продержался нѣкоторое время только въ Венгріи, экономически и культурно самой отсталой западно-европейской странѣ.

Перейдемъ къ другимъ странамъ, Англіи и Франціи.

Въ Англіи особенныя условія ея политическаго развитія привели къ тому, что только недавно рабочія массы стали самостоятельно, съ своей особой политической фізіономіей, принимать участіе въ политической жизни страны. Это обусловливаетъ извѣстную неподготовленность и наивность англійскаго рабочаго класса въ большихъ вопросахъ политической и соціальной жизни. Такая неподготовленность создаетъ, казалось бы, возможность непродуманныхъ выступленій и рискованныхъ шаговъ со стороны рабочаго класса и его отдѣльныхъ группъ. Но, будучи не подготовленъ къ широкой политической жизни и борьбѣ, англійскій рабочій классъ включаетъ въ себя элементы, чрезвычайно опытные въ веденіи дѣловой борьбы съ предпринимателями за улучшеніе условій труда. Эти элементы рассматриваютъ классовую борьбу не какъ борьбу политическую, а какъ дѣловое состязаніе реальныхъ экономическихъ силъ. Къ политическимъ вопросамъ и къ необоснованнымъ экономическимъ выступленіямъ, къ борьбѣ ради борьбы, они относятся отрицательно. Они привыкли организовывать и дѣйствовать организовано въ дѣловыхъ профессиональныхъ союзахъ, въ трэдъ-юніонахъ. Соответственно этимъ двумъ противоположнымъ чертамъ англійскаго рабочаго класса, въ немъ борются двѣ тенденціи: наивно-боевая и обдуманно-дѣловая.

Какая же изъ этихъ двухъ тенденцій возобладаетъ въ ближайшее время?

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что наивно-боевая тенденція въ послѣднее время все усиливалась. Она привела къ цѣлому ряду стачекъ, чрезвычайно необдуманныхъ. Эти рѣзкія выступленія кончились полнымъ пораженіемъ рабочихъ, причемъ желѣзнодорожная забастовка, какъ особенно затрагивающая интересы всего государства, вызвала рѣшительное и организованное сопротивленіе со стороны правительства и буржуазіи и объ это сопротивленіе разбилась. Кромѣ того, тутъ обнаружилось то, что мы, экономисты, понимали и знали давно, а именно, что рабочій классъ есть собирательное понятіе, въ сущности объемлющее различныя группы съ разными интересами. Поскольку рабочій классъ дѣйствительно сознателенъ, а не одурманенъ общими мѣстами

и лозунгами, выступленія отдѣльныхъ группъ, затрагивающія интересы всего народнаго хозяйства, должны въ другихъ группахъ того же рабочаго класса вызывать рѣшительный отпоръ. Поэтому всеобщая забастовка или, хотя бы, всеобщая желѣзнодорожная забастовка есть экспериментъ, чрезвычайно рискованный въ экономически и культурно развитой странѣ. Недавнія неудачныя рабочія выступленія, произведенныя по подстрекательству крайнихъ элементовъ, весьма дискредитировали послѣдніе. Мы можемъ теперь сказать про Англію, что въ ней первые опыты рабочихъ выступленій въ близкомъ къ большевизму направленіи потерпѣли неудачу, обусловленную рѣшительнымъ сопротивленіемъ государства, буржуазіи и значительныхъ элементовъ самого рабочаго класса. Такимъ образомъ, въ Англии возможенъ большевистскій уклонъ рабочаго движенія, но невозможенъ большевизмъ въ русскомъ смыслѣ.

Во Франціи политическія традиціи рабочаго класса и въ особенности соціалистической партіи предрасполагаютъ къ большевизму. Идея захвата власти рабочимъ классомъ и насильственнаго введенія социализма есть идея французскаго происхожденія. Но во Франціи рабочій классъ малочисленнѣе, чѣмъ въ Англии. Преобладающую роль во Франціи играетъ крестьянство, т. е. сельская буржуазія, и мелкая городская буржуазія. Эти классы въ подавляющемъ своемъ большинствѣ враждебны социализму и въ особенности враждебны ему въ его насильнической большевистской формѣ. По психологіи французскаго рабочаго класса большевистскія вспышки чисто политическаго характера во Франціи болѣе возможны, чѣмъ въ Англии, но всякая такая вспышка вызоветъ не просто реакцію, а *прямое и непосредственное* сопротивление. Крестьянство и городская буржуазія во Франціи ни на одну минуту не потерпятъ соціалистическаго засилія. Въ случаѣ какихъ либо настоящихъ большевистскихъ выступленій во Франціи ружья сами начнутъ стрѣлять.

Вотъ соображенія, основанныя на анализѣ западноевропейской дѣйствительности, которыя приводятъ меня къ категорическому выводу: большевизмъ въ русской формѣ на западѣ невозможенъ.

Тѣмъ не менѣе русская соціалистическая революція имѣетъ очень крупное значеніе для запада. Это—первая въ міровой исторіи соціалистическая революція, первый опытъ осуществленія соціализма въ широкомъ масштабѣ, т. е. какъ цѣлостной системы, проводимой велѣніемъ власти. Передъ міровой войной на западѣ явственно обозначилось явленіе, которое нельзя опредѣлить иначе, какъ кризисъ соціализма, и которое я именно и охарактеризовалъ въ свое время этимъ терминомъ. Т. н. научный соціализмъ Маркса, или марксизмъ, утверждалъ, что соціализмъ придетъ, какъ планомѣрная организація, обобществленіе или соціализація производства, на основѣ захвата государственной власти пролетаріатомъ, т. е. на основѣ политической революціи. Кризисъ соціализма и его идеи начался, какъ я уже сказалъ, задолго до войны и начался онъ съ двухъ концовъ. Съ одной стороны, методъ политической парламентской борьбы, которую, какъ подготовку къ захвату власти, примѣняла и проповѣдывала соціаль-демократія, былъ подвергнутъ сомнѣнію и отвергнутъ т. н. синдикализмомъ, выдвинувшимъ вмѣсто этого такъ называемое „прямое“ и по преимуществу экономическое дѣйствіе въ формѣ стачечной и иной борьбы. Противъ революціоннаго политицизма правовѣрной марксистской соціаль-демократіи этотъ синдикализмъ, выросшій на почвѣ анархическихъ идей, выдвинулъ революціонный экономизмъ. Какъ-то въ формѣ экономическихъ бунтовъ должно было быть произведено преобразование капиталистическаго общества въ новую форму. Рядомъ съ этимъ, въ самой марксистской соціаль-демократіи стало происходить раздѣленіе: часть соціаль-демократовъ перестала вѣрить въ захватъ власти, въ политическую революцію, въ диктатуру пролетаріата, какъ методъ осуществленія соціализма. Революціонное пониманіе соціализма стало вытѣсняться эволюціоннымъ.

Такъ съ двухъ сторонъ идея соціализма, какъ цѣлостной и продуманной, исторически-обоснованной системы, подтачивалась.

Въ этотъ процессъ вклинилась міровая война и русская революція.

Міровая война, какъ я уже сказалъ, выдвинула на аван-

сцену широкія народныя массы и въ то же время заставила государство примѣнить въ небывалыхъ размѣрахъ тотъ принципъ государственнаго вмѣшательства въ экономическую жизнь, доведеніе котораго до конца и составляетъ социализмъ. А русская революція, казалось, давала опытъ осуществленія социализма въ рамкахъ одного изъ величайшихъ государствъ.

Но мы знаемъ теперь, что большевизмъ есть и крушеніе социализма. Въ большевизмѣ столкнулись двѣ идеи, двѣ стороны социализма, и это столкновеніе на опытѣ обнаружило невозможность социализма, какъ онъ мыслился до сихъ поръ, т. е. какъ цѣлостнаго построенія.

Социализмъ требуетъ, во 1-хъ, равенства людей (эгалитарный принципъ). Социализмъ требуетъ, во 2-хъ, организаціи всего народнаго хозяйства и, въ частности, процесса производства.

Социализмъ требуетъ и того, и другого, и одного—во имя другого. Но оба эти начала въ своемъ полномъ или конечномъ осуществленіи противорѣчатъ человѣческой природѣ и оба они, что быть можетъ еще несомнѣннѣе и еще важнѣе, противорѣчатъ другъ другу. На основѣ равенства людей вы не можете организовать производства. Ростъ производительныхъ силъ есть теоретическая и практическая альфа и омега марксизма, этой основы научнаго социализма.

Социализмъ—учить марксизмъ—требуетъ роста производительныхъ силъ. Социализмъ—учить опытъ русской революціи—несовмѣстимъ съ ростомъ производительныхъ силъ, болѣе того, онъ означаетъ ихъ упадокъ.

Русская революція потому имѣетъ всемірно-историческое значеніе, что она есть практическое опроверженіе социализма, въ его подлинномъ смыслѣ ученія объ организаціи производства на основѣ равенства людей, есть опроверженіе эгалитарнаго социализма. На этой основѣ не только нельзя повысить производительныхъ силъ общества, она означаетъ роковымъ образомъ ихъ упадокъ. Ибо эгалитарный социализмъ есть отрицаніе двухъ основныхъ началъ, на которыхъ зиждется всякое развивающееся общество: идеи ответственности лица за свое поведеніе вообще и экономическое поведеніе

въ частности, и идеи расцѣпки людей по ихъ личной годности, въ частности по ихъ экономической годности. Хозяйственной санкціей и фундаментомъ этихъ двухъ началъ всякаго движущагося впередъ общества является институтъ частной, или личной собственности.

На русской революціи оправдалась идея одного изъ величайшихъ умовъ Россіи, одинокаго Чаадаева: „Мы какъ будто живемъ для того, чтобы дать какой-то великій урокъ человечеству“. Мы въ нашей социалистической революціи дали такой великій урокъ: *опытное опроверженіе социализма*.

Оглядываясь назадъ, на все то, что служило предметомъ моей настоящей бесѣды съ Вами, я думаю, что я могу и долженъ сдѣлать слѣдующій выводъ.

Революція 1917 г. есть великое крушеніе нашего государства. Русская революція есть эпизодъ міровой войны. Такъ какъ преодолѣніе революціи еще не завершилось, то для насъ міровая война еще не кончилась.

Мы потерпѣли крушеніе государства отъ недостатка національнаго сознанія въ интеллигенціи и въ народѣ. Мы жили такъ долго подъ щитомъ крѣпчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность и нашу отвѣтственность за нее. Мы потеряли чувство государственности и не нажили себѣ національнаго чувства. Вотъ почему исторія вернула насъ въ новой формѣ къ задачамъ, которыя, казалось, были разрѣшены навсегда нашими предками. Единственное спасеніе для насъ—въ возстановленіи государства черезъ возрожденіе національнаго сознанія. Послѣ того, какъ толпы людей метались въ дикой погонѣ за своимъ личнымъ благополучіемъ и въ этой погонѣ разрушали историческое достояніе предковъ, намъ ничего не остается, какъ сплотиться во имя государственной и национальной идеи. Россію погубила безнациональность интеллигенціи, единственный въ міровой исторіи случай забвенія национальной идеи мозгомъ націи.

Русскій национализмъ не можетъ рассчитывать на то, что западъ и его общественное мнѣніе легко поймутъ неотвратимость развитія національнаго сознанія въ Россіи, необходимость завоеванія Россіи идеей национализма. Для запада работа этой

новой въ Россіи духовной силы долго будетъ казаться простой реставраціей стараго порядка и стараго духа. Но это не такъ или, вѣрнѣе, не такъ просто. Русскій народъ былъ великимъ государственнымъ народомъ, но величіе его стихійнаго государственнаго творчества погасило или, вѣрнѣе, не дало развиться въ немъ, въ его образованномъ классѣ живому національному сознанию. Ужасныя испытанія, черезъ которыя проходитъ русское сознание, великій кризисъ, который мы переживаемъ и который есть въ то же время кризисъ такого мірового явленія, какъ социализмъ, дѣлаютъ тѣ событія, свидѣтелями, участниками и жертвами которыхъ мы являемся, страшной огненной пещью. Изъ этой пещи должны выйти люди, обновленные несказанными страданіями.

Лѣтомъ 1919 года я посѣщаль опустошенныя мѣстности Франціи. Я видѣлъ города, обращенные не просто въ развалины, а въ груды камней. Когда я взобрался на одну такую груду, составленную изъ камней и каменной пыли, мнѣ сказали, что это кафедральный соборъ города Ланса. Но и во время созерцанія этихъ ужасныхъ матеріальныхъ разрушеній на чужбинѣ я не могъ отдѣлаться отъ мыслей о Россіи. Я думалъ о томъ, что духовныя нравственныя опустошенія, произведенныя „русскимъ бунтомъ, бессмысленнымъ и безпощаднымъ“ на моей родинѣ превосходятъ по своей глубинѣ и пагубности всѣ физическія опустошенія, перенесенныя другими странами. Я думалъ о томъ, что мы, русскіе, должны не выстраивать новые города на мѣстѣ прежнихъ, а совершить нѣчто гораздо болѣе трудное и великое: возсоздать разрушенную храмину народнаго духа, воскресить поверженный и поруганный образъ родины-матери, выношенный въ душахъ безчисленныхъ поколѣній благочестивыхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи. Но мы, люди всѣхъ возрастовъ, повинны сдѣлать это, чего бы то ни стоило. Это нашъ долгъ и передъ нашими предками и передъ нашимъ потомствомъ.

II. Новая жизнь и старая мощь.

(Историческій смыслъ русской революціи*).

Русская революція есть великая историческая проблема, я бы сказалъ, почти — загадка. Въ самомъ дѣлѣ: народъ, который создалъ огромное и могущественное государство и, при посредствѣ этого государства, — великую, богатую и многостороннюю культуру, объятый какимъ то навожденіемъ, въ кратчайшее время разрушилъ самъ это великое государство — ради преходящихъ выгодъ и призрачныхъ благъ. Народъ, давшій Петра Великаго, величайшій индивидуальный геній государственности, поддался соблазну разрушенія государства, глашатаями котораго явились множество слабыхъ, бездарныхъ, безличныхъ, безнравственныхъ людей, выдвинувшихся въ вожди не потому, что ихъ выносила собственная крупная личность, а именно потому, что, по своей безличности, они безъ конца льстили толпѣ и ее ублажали.

Русская революція, говорю я, загадка.

Государственное самоубійство государственнаго народа.

Эту загадку, однако, предчувствовали многіе люди самыхъ различныхъ направленій, и притомъ не только русскіе. Въ литературѣ, въ особенности второй половины XIX вѣка, можно найти множество предчувствій, что въ Россіи когда нибудь произойдетъ не просто политическая революція, а цѣлая социальная и культурная катастрофа. Самый извѣстный примѣръ такихъ предчувствій это — замѣчательная литературная переписка знаменитаго французскаго историка-художника Мишле съ нашимъ неподобнымъ, во многихъ отношеніяхъ, художникомъ-публицистомъ Герценомъ. Мишле съ ужасомъ отвращается отъ видѣнія русской революціи, которая рисовалась ему, какъ „страшное зрѣлище демагогіи безъ чувства, безъ мысли, безъ принциповъ“. Герценъ въ то время идеализировалъ и русскій народъ и русскую интеллигенцію, и грядущая всесторонняя русская революція представлялась

*) Въ основу этой статьи, какъ и предыдущей, легла публичная лекція, прочитанная въ Ростовѣ н/Д. въ ноябрѣ 1919 г. Исключены лишь мѣста, вслѣдствіе новыхъ событій утратившія значеніе. П. С.

ему, какъ величайшее достиженіе русскаго и вселенскаго духа, абсолютно независимаго и свободнаго.

Но и въ наше время были предчувствія и предсказанія русской революціи, не просто какъ политической революціи, а какъ цѣлой соціальной и государственной катастрофы. Характерно, что Германія, которой въ русской революціи принадлежала, внѣ всякаго сомнѣнія, роль режиссера, точнѣе роль полицейскаго устроителя и финансирующей силы, создала, до русской революціи, цѣлую литературу о ней въ связи съ государственнымъ банкротствомъ Россіи. Это были *теоретическіе* проекты того разрушенія Россіи, за которое въ міровую войну Германія взялась *практически*. Но были предчувствія грядущаго и съ противоположной стороны. Я не могу отдѣлаться отъ того впечатлѣнія, которое я выносилъ изъ неоднократныхъ бесѣдъ съ покойнымъ П. А. Столыпинымъ: у него было какое то предчувствіе русской революціи именно въ той катастрофической формѣ, въ которую она осуществилась. Съ другой стороны, одинъ русскій публицистъ совершенно другого лагеря, чѣмъ Столыпинъ, но хорошо его понимавшій, неоднократно развивалъ въ бесѣдѣ со мной пониманіе русской революціи, именно какъ катастрофы, государственной и культурной.

Чѣмъ же объясняется эта историческая загадка, которую многіе предвидѣли, или, вѣрнѣе, предчувствовали?

Этотъ сложный вопросъ можетъ быть разъясненъ только обращеніемъ къ исторіи: подобная катастрофа не можетъ не корениться глубоко въ историческомъ развитіи всего русскаго народа и его власти.

Россія переживаетъ въ началѣ XX вѣка глубочайшее потрясеніе, и взоры наши естественно обращаются за триста лѣтъ назадъ, въ эпоху первой великой русской смуты, которая предшествовала воцаренію дома Романовыхъ.

Чѣмъ была вызвана эта смута? Съ одной стороны, смѣна угасшей династіи новой, появленіе которой на сценѣ было одновременно основано на трехъ фактахъ: на родствѣ или свойствѣ съ прежней, на выслугѣ или заслугахъ и на избраніи земскимъ соборомъ и московской толпой. Смѣна династіи сама по себѣ прошла вполне спокойно. Но въ смутѣ

была заинтересована иностранная держава, Польша. И еще не успѣлъ Борисъ Годуновъ сойти со сцены, какъ открылся претендентъ и началась смута, состоявшая въ томъ, что претендентъ, опираясь на интересъ и содѣйствіе Польши, сталъ искать престола и ради этого организовывать преданную ему вооруженную силу, устраивая бунты противъ той власти, которую онъ стремился свергнуть.

Въ смутѣ XVII вѣка, такимъ образомъ, важную, если не основную, роль играла иностранная интрига, которой государственно и культурно слабая Русь не смогла сразу противопоставить крѣпкаго національнаго сопротивленія. Словомъ, смута была событіемъ или процессомъ не только внутренней жизни Россіи, но и вытекла изъ ея международнаго положенія. Въ смутѣ XVII в. есть удивительно много чертъ, сходныхъ съ современными событіями: то же духовное шатаніе не только народныхъ массъ, но и высшихъ классовъ, то же использование чужеземцами внутренней борьбы. Смута была продолженіемъ тѣхъ политическихъ и социальныхъ процессовъ, которыми слагалось Московское Государство. Смуту поддерживали честолюбивыя притязанія боярскихъ семей, которыя мѣшали утвердиться признанной династіи; смуту питали грабительскія стремленія служилыхъ людей и анархическія тенденціи народныхъ массъ. Такъ же, какъ въ наше время, поразительно въ смутѣ XVI — XVII в. отсутствіе нравственной твердости и подлиннаго патріотизма въ высшихъ классахъ, слабость національнаго сознанія въ классахъ среднихъ, анархическая настроенность народныхъ массъ. Только въ силу этихъ свойствъ было возможно столь легкое низверженіе двухъ законныхъ династій Годуновыхъ и Шуйскихъ и постыдная исторія поддержки нѣсколькихъ самозванцевъ не только темными народными массами, но и представителями такихъ классовъ, какъ боярство, дворянство и духовенство. Глубину нравственнаго паденія высшихъ классовъ рисуютъ такіе факты, какъ признаніе царицей Маріей Нагихъ самозванца за своего убитаго сына, какъ признаніе Тушинскаго вора отцомъ будущаго основателя династіи Романовыхъ митрополитомъ ростовскимъ Филаретомъ, который за это былъ нареченъ патріархомъ. Государственную безпринципность высшихъ клас-

совъ обличаетъ напр. тотъ фактъ, что изъ вражды къ царю Василию Шуйскому путивльскій воевода князь Григорій Шаховской поднялъ чисто большевистское народное возстаніе противъ царя во имя самозванца. Вотъ какъ историкъ характеризуетъ это движеніе: „предводители отрядовъ, руководимые княземъ Шаховскимъ, начали возмущать... крестьянъ противъ помѣщиковъ, подчиненныхъ противъ начальствующихъ, безродныхъ противъ родовитыхъ, мелкихъ противъ большихъ, бѣдныхъ противъ богатыхъ. Все дѣлалось именемъ Дмитрія. Въ городахъ заволновались посадскіе люди, въ уѣздахъ крестьяне; поднялись стрѣльцы и казаки. У дворянъ и дѣтей боярскихъ зашевелилась зависть къ высшимъ сословіямъ — стольникамъ, окольниковымъ, боярамъ; у мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ — къ богатымъ гостямъ. Пошла проповѣдь вольницы и словомъ и дѣломъ: воеводъ и дьяковъ вязали и отправляли въ Путивль; холопы разоряли дома господъ, дѣлили между собою ихъ имущество, убивали мужчинъ женщинъ насиловали, дѣвицъ растлѣвали“. (Костомаровъ). Это то движеніе, которое связано съ именемъ Болотникова. „Вы всѣ боярскіе холопы — говорилось имъ, — побивайте своихъ бояръ, берите себѣ ихъ женъ и все достояніе — помѣстья и вотчины. Вы будете людьми знатными; и вы, которыхъ называли шпынями и безыменными, убивайте гостей и торговыхъ богатыхъ людей, дѣлите между собою ихъ животы. Вы были послѣдніе — теперь получите боярство, окольниковства, воеводства. Цѣлуйте всѣ крестъ законному Государю Дмитрію Ивановичу.“

Россія была спасена отъ смуты тѣмъ, что противъ смуты, наконецъ, организовалось національное движеніе. Это было движеніе противъ смуты и иноземнаго врага, каковымъ тогда были поляки, явившіеся въ значительной мѣрѣ творцами самой смуты. Есть даже историки, которые думаютъ, что *главный* источникъ смуты слѣдуетъ искать именно не внутри, а во внѣ, въ стремленіяхъ католической церкви овладѣть духовно русскимъ народомъ и въ стремленіи польскаго государства — подчинить себѣ политически Московское Государство.

Кто же совладалъ со смутой, кто возстановилъ государство?

Историки-народники, какъ столь различные и спорившіе между собой Костомаровъ и Забѣлинъ, думаютъ, что эту задачу разрѣшили сами народныя массы, „народная громада“, какъ выражается Костомаровъ, „народъ — сирота“, какъ говоритъ Забѣлинъ. Теперь, послѣ замѣчательнаго изслѣдованія С. Ф. Платонова, этого народническаго идеализма не приходится опровергать *Россію отъ смуты спасло національное движеніе, исходившее отъ среднихъ классовъ, средняго дворянства и посадскихъ людей и вдохновляемое духовенствомъ, единственной въ ту пору интеллигенціей страны.*

Выразителями этого національнаго движенія среднихъ классовъ были историческія фигуры Прокопія Ляпунова, князя Димитрія Пожарскаго и Кузьмы Минина.

Любопытно само собою напрашивающееся сравненіе Добровольческой Арміи съ Нижегородскимъ Ополченіемъ. Ядромъ Нижегородскаго Ополченія явились бѣженцы, смоленскіе дворяне, изгнанные изъ своей родины поляками и нашедшіе себѣ пріютъ въ нижегородской землѣ, подобно тому, какъ ядромъ Добровольческой Арміи явились бѣженцы-офицеры, нашедшіе себѣ пріютъ въ Донской Области и на Кубани. И то, что старый лѣтописецъ говоритъ о кн. Пожарскомъ и Мининѣ, всецѣло примѣнимо къ Корнилову и Алексѣеву: „положили они упованіе на Бога и утѣшили себя воспоминаніями, какъ издревлѣ Богъ поражалъ малыми людьми множество сильныхъ“. Аналогіи между той эпохой и нашей, повторяю, поразительны. Развѣ эпопея Скоропадскаго не воспроизвела призванія королевича Владислава, которое также диктовалось не одними своекорыстными мотивами, а въ извѣстной мѣрѣ государственными побужденіями? Развѣ въ то время не замѣчалось признаковъ разложенія и распада государства, совершенно аналогичнаго тому, что переживаемъ мы. Но Московское Государство спасло національное чувство русскаго человѣка, въ ту эпоху, какъ и теперь, неразрывно связанное съ вѣрой и церковью. „Нельзя сказать, говоритъ одинъ историкъ, — что больше поднимало русскій народъ — страхъ ли польскихъ насилій надъ своими тѣлами и „животами“, или страхъ за вѣру — и то, и другое соединялось вмѣстѣ, тѣмъ болѣе, что тѣ, которые не уважали вѣры, по народному по-

нятію, само собою не могли быть справедливы и милостивы къ православнымъ людямъ“.

Итакъ, Россію спасло, повторяю, національное движеніе среднихъ классовъ, руководимое идеальными мотивами охраны вѣры и церкви и спасенія государства.

Расшатавъ государство, смута не произвела никакого соціального переворота и въ этомъ смыслѣ не была вовсе революціей. Анархически-большевистское содержаніе исчезло, не оставивъ никакого слѣда въ учрежденіяхъ. Но смута, въ которой высшій классъ, боярство, не разъ измѣнялъ власти и государству, довершила превращеніе этого класса въ высшій разрядъ всецѣло подчиненнаго монархической власти служилаго сословія. До Василя III и Ивана Грознаго государствомъ правили царь и боярская дума. При Василя III и Иванѣ Грозномъ было откровенное самодержавіе, особенно подчеркнутое у Грознаго Царя. Послѣ смуты рядомъ съ царемъ стала земля во образѣ земскихъ соборовъ. Но сведя боярство съ той высоты, на которой оно стояло прежде, смута не упрочила настоящимъ образомъ участія земли въ государственномъ строительствѣ и не устранила созданнаго Василемъ III и Иваномъ Грознымъ монархическаго самодержавія. Нравственное и политическое крушеніе боярства въ смутѣ фактически оказалось крушеніемъ идеи участія представителей общества, какъ таковыхъ, въ законодательствѣ и управленіи. Во второй половинѣ XVII в. органы „земли“, земскіе соборы, отмираютъ. Надо отмѣтить, что постоянное ограниченіе монархической власти было выговорено, въ пользу бояръ, у Василя Шуйскаго, въ пользу бояръ и всей земли, у королевича Владислава. Но ни Михаилъ Федоровичъ, ни Алексѣй Михайловичъ никакой „записи“ на себя, т. е. никакого конституціоннаго обѣщанія не давали.

Такъ въ XVIII вѣкѣ Россія вошла безъ всякаго участія общества въ дѣлахъ государства. Она была государствомъ, въ которомъ царила единая воля Монарха и только она. Въ этомъ таилась для государства величайшая опасность, которая раскрылась лишь въ концѣ XIX вѣка, когда созрѣли глубочайшія противорѣчія, обусловленныя фактомъ существованія въ Россіи, въ теченіе вѣковъ, государственной формы неограниченной монархіи.

Петровское преобразование, въ отличіе отъ смуты, было глубокимъ культурнымъ переворотомъ. Оно углубило соціальныя противорѣчія между господствующими и подчиненными классами культурной рознью, и это обстоятельство во всемъ его значеніи было познано лишь въ наше время.

Въ началѣ XVIII вѣка произошелъ въ исторіи русской верховной власти кризисъ, которому обычно не удѣляется особеннаго вниманія, но которому я лично придаю огромное значеніе, ибо исходъ этого кризиса опредѣлилъ все наше политическое и соціальное развитіе на пространствѣ двухъ столѣтій и тѣмъ самымъ даетъ ключъ къ пониманію второй великой русской смуты 1917 и слѣдующихъ годовъ.

19 Января 1730 г. умеръ 16-лѣтній императоръ Петръ II. Верховный Тайный Совѣтъ съ участіемъ двухъ фельдмаршаловъ избралъ на престолъ племянницу Петра Великаго герцогиню Курляндскую Анну Іоанновну. Это избраніе сопровождалось предложеніемъ ей „кондицій“, ограничивавшихъ самодержавную власть и являвшихся лишь первымъ шагомъ къ опубликованію цѣлой конституціи Россійской Имперіи, которую выработалъ кн. Димитрій Михайловичъ Голицынъ, главный дѣятель Верховнаго Тайнаго Совѣта.

Кн. Димитрій Михайловичъ Голицынъ былъ русскій бояринъ-вельможа, старшій современникъ Петра Великаго. Онъ вовсе не былъ противникомъ преобразования. Но это былъ человекъ, критически относившійся къ тому, какъ осуществлялось преобразование, и къ личной жизни великаго императора. Онъ былъ живымъ носителемъ въ одно и то же время и старыхъ боярскихъ традицій, и извѣстнаго современнаго просвѣщенія, пріобрѣтеннаго имъ уже въ зрѣломъ возрастѣ, и крѣпкаго національнаго духа. Этотъ замѣчательный представитель аристократическаго націонализма явился первымъ дѣятелемъ сознательнаго русскаго конституціонализма. Но идея русской конституціи тогда не ограничивалась однимъ кругомъ высшей аристократіи. Ею были проникнуты широкіе круги дворянства или шляхетства. Самая попытка ограничить власть императрицы разбила о соперничество двухъ одинаково стремившихся къ конституціи силъ, верховниковъ и шляхетства. Этимъ соперничествомъ воспользовалась группа сторон-

никовъ самодержавія изъ иноземцевъ и гвардейскихъ офицеровъ. Пункты или кондиціи — какъ говоритъ современный офиціальный документъ — „Ея Величество при всемъ народѣ изволила изодрать“.

Послѣ неудачи кн. Дм. Мих. Голицына наступила бирюковщина и вообще періодъ временщиковъ, отчасти иноземныхъ, въ русской исторіи.

Кризисъ власти въ 1730 г. — великій поворотный пунктъ въ русской исторіи, на которомъ стоитъ остановиться. Въ кондиціяхъ или пунктахъ и въ тѣхъ конституціонныхъ проектахъ, которые развивали эти пункты, заключены были въ зародышевомъ видѣ двѣ основныя здоровыя идеи конституціонализма. Это: 1) идея обезпеченія извѣстныхъ правъ челоука, его личной и имущественной неприкосновенности — 2) идея участія населенія въ государственномъ строительствѣ. Раннее появленіе этихъ идей въ англійскомъ законодательствѣ обусловило классическое здоровое развитіе британской государственности; забвеніе этихъ началъ могущественной государственной властью Франціи привело къ революціи. Въ постепенномъ осуществленіи этихъ началъ, въ постепенномъ распространеніи ихъ на все болѣе и болѣе широкіе круги населенія заключается гарантія мирнаго и здороваго развитія государственности. Въ русской литературѣ было широко распространено мнѣніе, что Россіи была вредна какая либо аристократическая конституція и что неудача верховниковъ предупредила водвореніе въ Россіи олигархіи. Историкъ 1730 г. сорокъ лѣтъ тому назадъ отвѣтилъ на послѣднее указаніе фактической справкой, что одержавшее побѣду надъ верховниками самодержавіе Анны Іоанновны являлось даже „не самодержавіемъ, а именно олигархіей, да еще вдобавокъ не національной, а иноземной“. (Д. А. Корсаковъ). Что касается перваго указанія, что Россіи была бы вредна аристократическая конституція, то оно прямо противорѣчитъ здравому историческому смыслу вообще и въ частности тому, чему учитъ русская исторія послѣднихъ 200 лѣтъ.

Несчастье Россіи и главная причина катастрофическаго характера русской революціи и состоитъ именно въ томъ, что народъ, населеніе, общество (назовите, какъ хотите) не

было въ надлежащей постепенности привлечено и привлекаемо къ активному и отвѣтственному участию въ *государственной жизни* и государственной власти.

Я выражаю это еще иначе: Ленинъ смогъ разрушить русское государство въ 1917 г. именно потому, что въ 1730 г. курляндская герцогиня Анна Юанновна восторжествовала надъ княземъ Дмитріемъ Михайловичемъ Голицынымъ. Это отсрочило политическую реформу въ Россіи на 175 лѣтъ и обусловило собой ненормальное, извращенное отношеніе русскаго образованнаго класса къ государству и государственности.

Въ самомъ дѣлѣ: шляхетство послѣ неудачи конституціонныхъ стремленій 1730 г. получило цѣлый рядъ льготъ и прерогативъ. Узелъ крѣпостного права затягивается все туже и туже, и съ нимъ растутъ другія дворянскія привилегіи. Укрѣпленіе и усиленіе крѣпостного права есть то возмѣщеніе, которое власть даетъ дворянству за отказъ въ политическихъ правахъ. Это есть какъ бы непосредственное слѣдствіе неудачи конституціоналистовъ 1730 г., но это характерно для всего соотношенія между властью и дворянствомъ (а съ дворянствомъ почти вполнѣ совпадалъ въ то время образованный классъ) на всемъ пространствѣ XVIII вѣка. И въ первой половинѣ XIX вѣка отсрочка политической реформы и отсрочка отмѣны крѣпостного права взаимно обусловлены.¹⁾

Между тѣмъ, въ этихъ двухъ отсрочкахъ — ключъ къ объясненію того, что мы пережили за послѣдніе два года. Слишкомъ поздно свершилась въ Россіи политическая реформа; слишкомъ поздно произошла отмѣна крѣпостного права. И поэтому, когда наступилъ въ Россіи конституціонный строй, — между образованнымъ классомъ и государствомъ, т. е. государственностью, лежала длинная историческая полоса взаимной отчужденности, тѣмъ болѣе роковая, что за это время образованный классъ измѣнилъ уже свой составъ и свою природу. Въ то же время массы населенія еще слишкомъ недавно вышли изъ рабскаго состоянія. Интеллигенція выросла во вра-

¹⁾ Личное крѣпостное право возможно и необходимо было отмѣнить въ концѣ XVIII или въ началѣ XIX в. Сложность всей крестьянской проблемы въ Россіи въ связи съ экономическимъ существомъ крѣпостного хозяйства я пытался разяснить въ своей книгѣ „Крѣпостное хозяйство“ (Москва 1913 г., изд. Сабашниковыхъ.)

ждѣ къ государству, отъ котораго она была отчуждена, и въ идеализаціи народа, который былъ вчерашнимъ рабомъ, но котораго, въ силу политическихъ и культурныхъ условій и своего и его развитія, она не знала. Въ самомъ дѣлѣ, съ первой четверти XIX в. образованный классъ начинаетъ борьбу съ государственной властью за участіе въ государственной жизни. Эту борьбу ведетъ сперва почти исключительно дворянская интеллигенція, выступившая въ 1825 г. въ лицѣ декабристовъ.

Политическая реформа и реформа освобожденія крестьянъ, казалось бы, стояли на очереди въ царствованіе Александра I. Но власть упустила инициативу изъ своихъ рукъ, и произошелъ первый въ Россіи революціонный взрывъ. А потомъ кругъ образованныхъ людей расширяется, и они все болѣе и болѣе подпадаютъ подъ вліяніе самыхъ широкихъ, самыхъ передовыхъ общечеловѣческихъ идей. Русская интеллигенція подъ прямымъ воздѣйствіемъ западноевропейской соціальной мысли становится соціалистической и въ то же время радикально-демократической. Она вращается почти исключительно въ сферѣ отвлеченныхъ идей политическаго и соціальнаго равенства, потому что, охраняя въ неприкосновенности принципъ неограниченной монархіи, историческая власть логически вынуждается не допускать интеллигенцію къ реальной государственной жизни и практической общественной работѣ. Между тѣмъ кадры интеллигенціи все растутъ и растутъ, жизнь все усложняется и усложняется, какъ въ Россіи, такъ и на западѣ. Въ царствованіе Александра II, въ первой половинѣ 60-хъ годовъ, и въ особенности въ началѣ 80-хъ годовъ ставится вопросъ о политической реформѣ. Въ началѣ 60-хъ годовъ его ставитъ дворянское движеніе, въ началѣ 80-хъ годовъ онъ вытекаетъ изъ борьбы радикальной, соціалистически настроенной интеллигенціи съ самодержавнымъ правительствомъ и идейно ставится передовыми земскими элементами. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ власть не можетъ рѣшиться на политическую реформу. Въ 1881 г. самодержавная власть была очень близка къ этой реформѣ, но царубійство 1-го Марта производитъ и въ правительствѣ и въ обществѣ такую реакцію, что мысль о политической реформѣ от-

брасывается. Между тѣмъ, по состоянію умовъ въ интеллигенціи, тогда еще не было поздно для того, чтобы умѣренная политическая реформа — а только такая была возможна и разумна въ Россіи — была разумно и съ удовлетвореніемъ воспринята интеллигенціей. Кругъ „недовольныхъ“ былъ тогда сравнительно узокъ, и это было благопріятно для спокойнаго проведенія реформы. То же слѣдуетъ сказать и о началѣ царствованія Николая II. И тутъ власть могла взять инициативу въ свои руки, и „общество“ удовлетворилось бы умѣренной реформой. Но опять эта возможность была упущена, и по мѣрѣ отсрочки реальной реформы отвлеченныя требованія интеллигенціи все возрастали. Въ этотъ процессъ вклинилась японская война, во время которой невозможность обходиться безъ народнаго представительства, безъ свободы печати, вообще безъ того, что зовется конституціей, стала совершенно ясной. Къ сожалѣнію, и тогда власть не взяла своевременно инициативы реформы въ свои руки и дала ее *вынудить* у себя политической забастовкой, носившей почти стихійный характеръ.

Октябрьская революція 1905 г., протекшая, дѣйствительно, въ общемъ мирно и безкровно, могла принести Россіи реально политическую свободу и народное представительство въ формахъ, соотвѣтствующихъ ея культурному уровню, и въ то же время внести успокоеніе и удовлетвореніе въ умы, но при двухъ условіяхъ, которыя оба не были выполнены. Первое состояло въ томъ, чтобы власть искренно и безповоротно встала на почву тѣхъ конституціонныхъ принциповъ, которые она провозгласила. Второе въ томъ, чтобы образованный классъ въ то же время понялъ, что послѣ введенія народнаго представительства и (хотя бы частичнаго) осуществленія гражданскихъ свободъ опасность политической свободѣ и соціальному міру угрожаетъ уже не отъ исторической власти, а отъ тѣхъ элементовъ „общественности“, которые во имя болѣе радикальныхъ требованій желаютъ продолжать революціонную борьбу съ исторической властью. Это значило, что для русскихъ либеральныхъ элементовъ, скажемъ прямо, для выдвинувшейся тогда на первый планъ партіи народной свободы или кадетской, съ 17 Октября 1905 г. и, въ особенности, со времени созыва первой Думы, опасность была уже не справа,

а слѣва. Этого однако партія народной свободы не поняла, въ чемъ я вижу ея основную, я бы сказалъ историческую ошибку или грѣхъ. Въ то же самое время власть не понимала, что всякая борьба съ умѣренными элементами, которымъ она сама же, переворотомъ 3-го Іюня 1907 г., т. е. измѣненіемъ избирательнаго закона въ Государственную Думу вопреки Основнымъ Законамъ, предоставила рѣшающую роль въ народномъ представительствѣ, есть нелѣпое поощреніе революціонныхъ теченій въ странѣ. Не слѣдуетъ забывать, что власть за все время существованія 3-ей и 4-ой Государственныхъ Думъ не желала никогда настоящимъ образомъ, искренно и послѣдовательно, опереться даже на партію октябристовъ. Этимъ она ослабляла себя, ослабляла партію октябристовъ и усиливала все „лѣвое“ въ странѣ.

Вѣковымъ отчужденіемъ отъ государства, обусловленнымъ крайнимъ запозданіемъ политической реформы, въ интеллигенціи создавался и поддерживался революціонизмъ. Наступила война. И тутъ опять повторилось то же самое. Власть не видѣла, что первымъ и главнымъ ея союзникомъ должны являться всѣ государственно мыслящіе элементы въ странѣ. А съ другой стороны, значительная часть государственно мыслящихъ элементовъ не понимала, что, каковы бы ни были ошибки и прегрѣшенія власти, все-таки врагъ слѣва, въ затаившемся, но работавшемъ въ значительной мѣрѣ на средства и подъ диктовку внѣшняго врага, Германіи, интернационалистическомъ социализмѣ и инородческомъ ненавистничествѣ Россіи. Власть и общество вели между собою болѣе или менѣе открытую борьбу, а враги Россіи учитывали эту борьбу, какъ элементъ ея слабости и гибели. Власть была ослѣплена, но такъ же, и еще больше, была ослѣплена общественность, не видѣвшая огромной опасности въ революціонизмѣ, который просачивался въ народныя массы, разлагалъ ихъ духовно и подготовлялъ крушеніе государства.

Когда въ Государственной Думѣ гремѣли рѣчи противъ правительства, ораторы Думы не отдавали себѣ отчета въ томъ, что совершалось внѣ Думы, въ психикѣ антигосударственныхъ элементовъ и въ народной душѣ. Просто большая часть русскаго интеллигентнаго общества не понимала народ-

ной психологіи и не учитывала трагической важности момента. Ей казалось, что она во имя патриотизма обязана вести борьбу съ правительствомъ. Но, конечно, сейчасъ для всякаго ясно, что единственнымъ разумнымъ, съ исторической точки зрѣнія, образомъ дѣйствія была величайшая сдержанность. Это слѣдуетъ сказать и о Государственной Думѣ и о печати.

Наступила революція. Ея размахъ, ея первыя проявленія обнаружили ея истинную природу. Революція была крушеніемъ государства и арміи. Она сдѣлала невозможнымъ продолженіе войны. Тѣ оппозиціонные элементы, которые въ Государственной Думѣ во имя патриотизма произносили рѣчи противъ правительства, наивно думали, что революцію народныя массы произвели во имя болѣе успѣшнаго продолженія войны. Между тѣмъ, поскольку въ революціи участвовали народныя и, въ частности, солдатскія массы, она была не патриотическимъ взрывомъ, а самовольно погромной демобилизаціей и была прямо направлена противъ продолженія войны, т. е. была сдѣлана ради прекращенія войны. Вотъ почему въ революціи такой успѣхъ имѣлъ пресловутый бессмысленный лозунгъ: „безъ аннексій и контрибуцій“.

Патриотическая идея революціи оказалась какимъ то интеллигентскимъ недоразумѣніемъ передъ лицомъ этой самовольно-погромной демобилизаціи. Такимъ образомъ, подлинная природа революціи рѣшительно разошлась съ тѣмъ, что въ ней воображала себѣ русская интеллигенція. Вообще подлинный ликъ революціи оказался совсѣмъ не тѣмъ, о какомъ мечтала русская интеллигенція, даже социалистическая. Логиченъ въ революціи, вѣренъ ея существу былъ только большевизмъ и потому въ революціи побѣдилъ онъ.

Но значительная часть русской интеллигенціи не имѣла мужества признать свои революціонныя заблужденія, изобличенныя жизнью. Нѣкоторая часть ея даже сознательно пріяла ужасную реальность этой антигосударственной и антиобщественной революціи и продолжала ее идеализировать по формулѣ „постольку — поскольку“, не желая понять, что эта революція есть цѣлостное, законченное въ себѣ явленіе, которое требуетъ къ себѣ такого же цѣлостнаго отношенія.

Революція эта была антипатриотична, противонаціональна

и противогосударственна и потому она съ логической и психологической необходимостью привела къ распаду арміи и къ разрушенію государства. Она была сочетаніемъ отвлеченныхъ радикальныхъ идей, на которыхъ воспиталась интеллигенція, съ анархическими, разрушительными и своекорыстными инстинктами народныхъ массъ. Она была пугачевщиной во имя социализма. Поэтому она такимъ разрушительнымъ смерчемъ пронеслась по странѣ. Въ концѣ концовъ она, подобно пугачевщинѣ, вылилась въ форму военной организаціи, осуществляющей гражданскую войну. Начавъ съ провозглашенія мира, съ отрицанія и разрушенія арміи, эта социалистически-интернационалистическая организація съ неслыханнымъ упорствомъ начала войну, всѣмъ ей жертвуя и ради самосохраненія все подчиняя социалистическому милитаризму. Обѣщаніе немедленнаго мира превратилось въ реальность непрерывной войны. Уничтоженіе арміи привело къ превращенію всего государства въ красную армію.

Были два выхода изъ того положенія, которое создалось логическимъ завершеніемъ этой революціи въ большевизмѣ: либо большевизмъ будетъ преодолѣнъ извнѣ, какой то внѣшней по отношенію къ нему силой, либо онъ будетъ преодолѣнъ изнутри, силами, развившимися въ немъ самомъ, подобно французской революціи, которая изъ себя родила революціонную армію и ея политическаго вождя.

Одно время казалось, что исторія безповоротно рѣшила вопросъ въ первомъ смыслѣ. Сейчасъ положеніе уже измѣнилось, и проблема русской революціи и контрреволюціи чрезвычайно усложнилась. Насколько въ своихъ первыхъ шагахъ, въ настроеніяхъ массъ, въ поведеніи интеллигенціи русская революція была непохожа на великую французскую, настолько, восторжествовавъ, она начинаетъ объективно перерождаться въ смыслѣ, въ извѣстной мѣрѣ сближающемъ ее съ французскими событіями конца XVIII и начала XIX вѣковъ. Русская революція не похожа на французскую. Но русская контрреволюція, сейчасъ смятая и залитая революціонными волнами, повидимому должна войти въ какое то неразрывное соединеніе съ нѣкоторыми элементами и силами, выросшими уже на почвѣ революціи, но ей глубоко чуждыми и даже противо-

положными. Въ этомъ самопреодоленіи русской революціи, и *только въ немъ*, могутъ обнаружиться нѣкоторыя черты сходства между русскимъ и французскимъ революціоннымъ процессомъ. Но тѣмъ не менѣе нужно прежде всего отдать себѣ отчетъ въ глубинѣ различій обоихъ процессовъ.

Французская революція не только провозглашала идеи, но несмотря на реакцію, къ которой она привела, въ этой реакціи и осуществила свои идеи. Не то въ русской революціи. Все, что отъ нея останется, противорѣчитъ идеямъ, ею провозглашеннымъ. Она провозгласила социализмъ, но въ дѣйствительности она есть опытное опроверженіе социализма. Въ области аграрной она провозгласила отрицаніе частной земельной собственности, но самымъ важнымъ психологическимъ ея результатомъ является развитіе собственническихъ чувствъ и собственнической тяги народныхъ массъ къ землѣ, развитіе, которое ни къ чему другому, какъ къ утвержденію крестьянской собственности, привести не можетъ.

Она провозгласила отрицаніе арміи, а между тѣмъ она логически привела къ тому, что армія пріобрѣла въ жизни государства первенствующее значеніе. Она ниспровергла монархію и провозгласила народовластіе, а въ то же время сейчасъ диктаторская власть, опирающаяся на военную силу, есть единственная возможная для Россіи форма государственной власти. Съ другой стороны, и въ народныхъ массахъ и въ интеллигенціи идея монархіи сейчасъ весьма сильна, и есть многочисленные убѣжденные монархисты, которыхъ сдѣлала монархистами именно революція. Словомъ, ничего изъ идей этой революціи не осуществилось, а все, что подлинно осуществляется, противорѣчитъ ея идеямъ.

Вотъ почему русскую революцію 1917 и слѣдующихъ годовъ слѣдуетъ сближать, по ея характеру и по соотношенію въ ней идей и дѣйствительности, не только и даже главнымъ образомъ не съ великой французской революціей, а съ русской смутой XVI—XVII в.в., ибо въ нынѣшней русской революціи, какъ и въ первой смутѣ, осуществляется нѣчто, съ этимъ движеніемъ, какъ таковымъ, ничего общаго не имѣющее.

Мы не прозираемъ съ полной ясностью въ будущее и

русская революція—въ конечномъ своемъ результатѣ—стоитъ передъ нами неразрѣшенной загадкой. Но какими-бы путями ни пошло возстановленіе Россіи,—два лозунга, какъ намъ кажется, должны стать руководящими для стремленій и дѣйствій русскихъ патріотовъ, въ ихъ отношеніи къ прошлому и будущему Родины. И эти лозунги: *новая жизнь и старая мощь*. Нельзя гнаться за возстановленіемъ того, что оказалось несостоятельнымъ предъ лицомъ самой жизни, и въ этомъ смыслѣ мы стремимся къ *новой* жизни. Но въ то же время можно и должно трепетно любить добытое кровью и жертвами многихъ поколѣній могущество Державы Россійской. Мы никогда не считали Россію колоссомъ на глиняныхъ ногахъ. Ибо если-бы мы это считали, то какъ-бы мы вѣрили въ возстановленіе Россіи? А это значитъ, что мы вѣримъ въ подлинность той мощи, которой обладала историческая Россія. И новую жизнь Россіи поэтому мы не отдѣляемъ отъ ея старой мощи.

Петръ Струве.

Бѣлыя мысли.

[Подъ Новый Годъ]

Близится время, когда на исполинскихъ Часахъ Господнихъ [они помѣщаются въ сердцѣ вселенной, но гдѣ — неизвѣстно] пробьется двѣнадцатью ударами смерть Старому и рожденіе Новому. Проще говоря, кончается 1920 и наступаетъ 1921 годъ.

Въ такіе дни хочется подвести итогъ.

Впрочемъ его, итогъ, нечего подводить: вотъ онъ у меня передъ глазами.

Яркое солнце. Долина. Вдоль рѣчки-ручья выстроились бѣлые домики. Я знаю, что это палатки. Но издали онѣ кажутся домиками. Онѣ стоятъ аккуратненькими кварталами и кажутся городкомъ. Вотъ, по ту сторону рѣки — Корниловцы, Марковцы, Дроздовцы, Алексѣевцы . . . По эту кавалерія . . .

Все это появилось здѣсь, среди совершенно пустынныхъ горъ, словно по волшебству . . . Этотъ сказочно — игрушечный бѣлый городокъ — это и есть „итогъ“ . . . Итогъ трехлѣтнихъ страданій, борьбы, пламенной Вѣры, неугасимой Надежды и неисчерпаемой Любви . . .

Любви къ Россіи . . .

* * *

Что же это — много или мало? Рыдать-ли, или благодарно молиться? Смерть ли Стараго или рожденіе Новаго — этотъ бѣлый городокъ?

* * *

И то, и другое . . .

* * *

Здѣсь умираетъ нашъ Старый Грѣхъ... Здѣсь нѣтъ мѣста ни Сѣрымъ, ни Грязнымъ... Ихъ мало пришло сюда... Они остались гдѣ то... А тѣ, что еще есть, — уйдутъ.

Здѣсь умираетъ нашъ старый грѣхъ: Сѣрость и Грязь.

* * *

Здѣсь рождается Новое.

Здѣсь рождается Бѣлый Городокъ, гдѣ въ бѣлыхъ домикахъ будутъ только настоящіе бѣлые, — бѣлоснѣжные...

* * *

Много ли это или мало? Что же это... „большой“ итогъ?

* * *

Большой...

* * *

Эта горсть въ теченіе трехъ лѣтъ смогла бороться одновременно на три фронта. Красные засыпали ее снарядами... Сѣрые своимъ тупымъ равнодушіемъ создавали вокругъ нея вязкую гущу, сковывавшую движенія... Грязные грязью залѣпливали глаза, уши, ротъ... И все же эта горсточка бѣлыхъ не дала себя сломить, не дала себя задушить, не позволила себя загрязнить...

Вотъ они здѣсь...

Ихъ мало, но они бѣлые...

Они бѣлые, какъ и прежде... Они бѣлѣе прежняго.

И это — много...

Это итогъ не только большой, это итогъ величавый.

* * *

Эта горсточка бѣлыхъ, эта новая столица на берегахъ безымянной рѣчки, этотъ бѣлый городокъ, — онъ или уже побѣдилъ, или побѣдитъ.

* * *

Онъ *уже* побѣдилъ въ томъ случаѣ, если Россіи суждено возродиться . . . черезъ Безуміе Красныхъ . . .

* * *

Скажутъ: что за вздоръ!

Нѣтъ, это не вздоръ — это такъ . . .

* * *

Вы никогда не замѣчали, что Сыпной Тифъ и Бѣлая Мысль свободно и невозбранно переходятъ черезъ фронтъ?

* * *

Странно, какъ вы этого не замѣтили. Вы говорите: „сыпной тифъ — да, но наши идеи — ничего подобнаго!“

* * *

А я вамъ говорю, что наши идеи перескочили къ Краснымъ раньше, чѣмъ ихъ эпидеміи къ намъ. Развѣ вы не помните, какова была Красная Армія, когда три года тому назадъ ген. Алексѣевъ положилъ начало Нашей? Комитеты, митинги, сознательная дисциплина, — всякій вздоръ! А теперь? когда мы уходили изъ Крыма? Вы хорошо знаете, что теперь это была армія, построенная такъ же, какъ арміи всего міра... какъ наша . . .

Кто же ихъ выучилъ? *Мы* выучили ихъ, — мы, Бѣлые. *Мы* били ихъ до тѣхъ поръ, пока выбили всю военно-революціонную дурь изъ ихъ головъ. *Наши* идеи, перебѣжавъ черезъ фронтъ, покорили *ихъ* сознание.

Бѣлая Мысль побѣдила и, побѣдивъ, создала Красную Армію...

Невѣроятно, но фактъ.

* * *

Но отчего, скажутъ, мы все-таки въ Галлиполи, а не въ Москвѣ?

Почему мы не воспользовались тѣмъ временемъ, когда Красные въ военномъ отношеніи еще не мыслили „по бѣлому“ и потому были безсильны?

Потому, что насъ одолѣли Сѣрые и Грязные... Первые — прятались и бездѣльничали, вторые — крали, грабили и убивали не во имя тяжкаго долга, а собственнаго ради садистскаго, извращеннаго, грязно-кроваваго удовольствія...

* * *

Но вѣдь Красная Армія подъ своимъ краснымъ знаменемъ работаетъ ради „Интернаціонала“, т. е. работаетъ для распространенія по всему міру Краснаго Безумія!

* * *

Это или такъ или не такъ...

* * *

Допустимъ первое. Допустимъ, что это такъ. Въ такомъ случаѣ мы еще съ ними скрестимъ оружіе. Бѣлая Армія (наша русская), въ союзѣ съ другими бѣлыми арміями, будетъ вести бой, чтобы сломить, уничтожить Красное Безуміе.

* * *

Допустимъ и второе... Допустимъ, что это не такъ... Допустимъ, что имъ, Краснымъ, только *кажется*, что они сражаются во славу Интернаціонала... На самомъ же дѣлѣ, хотя и *безсознательно*, они льютъ кровь только для того, чтобы возстановить „Богохранимую Державу Россійскую“... Они своими красными арміями (сдѣланными „по бѣлому“) движутся во всѣ стороны только до тѣхъ поръ, пока не дойдутъ до твердыхъ предѣловъ, гдѣ начинается крѣпкое сопротивленіе другихъ государственныхъ организмовъ... Это и будутъ естественныя границы Будущей Россіи... Интернаціональ „смоется“, а границы останутся...

* * *

Если такъ, то что это такое?

* * *

Это — то же самое... *Если это такъ*, то это значитъ, что Бѣлая Мысль, прокравшись черезъ фронтъ, покорила ихъ Подсознаніе... Мы заставили ихъ красными руками дѣлать Бѣлое Дѣло.

Мы побѣдили...

Бѣлая Мысль побѣдила...

* * *

Но, Боже мой! вѣдь они уничтожили, разорили страну!... Люди гибнутъ милліонами, потому что они продолжаютъ свои проклятые, бѣсовскіе соціалистическіе опыты, Сатанинскую Вивисекцію надъ несчастнымъ русскимъ тѣломъ...

Это что же значитъ?

* * *

Это значитъ, что *на этомъ* направленіи Бѣлая Мысль еще не побѣдила.

Еще не пришло время... И люди гибнутъ, и Всеобщая, Явная, Равная, Прямая Нищета носится надъ Свято-Грѣшной Русской землей, заметая свой слѣдъ проклятіями и слезами...

Чтобы сократить страданія своихъ братьевъ, Бѣлая Армія три года безъ счета лила свою кровь... Она думала, она надѣялась, что Бѣлое Оружіе работаетъ скорѣе и вѣрнѣе, чѣмъ Бѣлая Мысль.

И если будетъ на то Господня Воля, мы еще разъ бросимся въ бой...

На помощь погибающимъ...

* * *

Во всякомъ случаѣ, Бѣлый Городокъ — новая русская столица надъ безымянной рѣчкой среди пустынныхъ горъ — можетъ встрѣтить Новый Годъ съ ясной душой...

Если Бѣлые *еще* не побѣдили, ихъ рано или поздно поведутъ въ бой...

А если ихъ не поведутъ, то, значитъ: они *уже* побѣдили...

Значить: въ Станѣ Красныхъ уже настолько окрѣпла
Бѣлая Мысль, что возстановленіе Россіи придетъ черезъ
Красное Безсмысліе...

* * *

Бѣлая Мысль побѣдитъ во всякомъ случаѣ...

* * *

Такъ было — такъ будетъ...

Галлиполи,
подъ Новый Годъ.

В. Шульгинъ.

Воспоминанія князя Евгенія Николаевича Трубецкого.

Предисловіе.

Настоящія „Воспоминанія“ покойнаго отца моего — князя Евгенія Николаевича Трубецкого, являются частью задуманнаго имъ описанія всей своей жизни. Начало этой работы было положено, какъ сказано во введеніи, въ самые дни февральской революціи 1917 года. Это были воспоминанія о дѣтствѣ. Они носятъ интимно-семейный характеръ и не предназначены для печати, а лишь для семьи и близкихъ родственниковъ. Въ то время отецъ и не предполагалъ еще приступать къ послѣдовательному описанію всей своей жизни.

Весною и лѣтомъ 1919 года онъ написалъ другую часть этихъ воспоминаній: „Путевыя замѣтки бѣженца“, гдѣ описывается уже послѣдній періодъ его жизни: бѣгство изъ Москвы отъ большевиковъ, пребываніе и политическая работа на Украинѣ и, наконецъ, жизнь и переживаемыя впечатлѣнія на территоріи Вооруженныхъ Силъ Юга Россіи.

Послѣ этой работы у отца окончательно созрѣла мысль воспроизвести послѣдовательно воспоминанія о всей своей жизни, причемъ ранѣе написанныя воспоминанія о дѣтствѣ и „Путевыя замѣтки бѣженца“ должны были сюда войти, составляя общее цѣлое.

Начавъ съ гимназическихъ годовъ жизни — съ 1874 года, онъ довелъ свои воспоминанія до первыхъ

годовъ профессорской дѣятельности, кончая началомъ девятидесятихъ годовъ прошлаго вѣка, и былъ прерванъ въ срединѣ декабря 1919 года, за мѣсяць до своей смерти, отъѣздомъ изъ Новочеркаска по причинѣ наступленія большевиковъ.

Кв. А. Трубецкой.

Константинополь.

1921 г. 6/19 января.

Часть I. Гимназическіе и студенческіе ГОДЫ.

Ростовъ Д. 1 ноября 1919.

Два съ лишнимъ года тому назадъ, когда въ Петроградѣ въ концѣ февраля пальба на улицахъ возвѣстила конецъ старой Россіи, во мнѣ зародилась непреодолимая потребность вспомнить лучшіе дни пережитаго прошлаго, чтобы въ этихъ воспоминаніяхъ найти точку опоры для вѣры въ лучшее будущее Россіи. Тогда я вспомнилъ свѣтлыя радостныя картины моего дѣтства. Съ тѣхъ поръ во мнѣ періодически возрождается потребность вспоминать — т. е. не просто воспроизводить пережитое, а вдумываться въ его смыслъ. Въ минуту, когда старая Россія умираетъ, а новая нарождается на ея мѣсто, понятно это желаніе отдѣлить непреходящее, неумирающее отъ смертнаго въ этой быстро уносящейся дѣйствительности. Къ воспоминаніямъ предрасполагають и внѣшнія условія жизни въ революціонную эпоху.

Человѣку вообще свойственно вспоминать, когда онъ стоитъ лицомъ къ лицу со смертью; говорятъ, что умирающіе вспоминають въ нѣсколько минутъ всю свою жизнь; эго воспоминаніе для нихъ — и воскресеніе прожитой жизни, и судъ совѣсти надъ нею. Когда два года тому назадъ я началъ писать воспоминанія подъ аккомпаниментъ пулемета, трещавшаго надъ крышей моей гостиницы, мнѣ казалось, что въ положеніи умирающаго находится вся Россія. — Те-

перь, наоборотъ, я возобновляю прерванную нить воспоминаній въ минуту, когда самая острая опасность уже миновала. Предстоящія трудности велики, чаша страданій еще не испита до дна. и однако грядущее возрожденіе Россіи уже достовѣрно. Но интересъ къ прошлому вызывается все тѣмъ же мотивомъ, все той же яркой интуиціей смѣны жизни и смерти. Тогда среди начавшагося вихря разрушенія передо мною всталъ тревожный вопросъ, — что не умретъ, что уцѣлѣетъ въ Россіи. Теперь, въ измѣнившейся исторической обстановкѣ, измѣнилась не сущность вопроса, а только способъ его постановки. Разрушеніе уже совершившійся фактъ, и мы спрашиваемъ себя, что оживетъ изъ разрушеннаго, какая жизнь возродится изъ развалинъ.

I. Начало школьнаго возраста. Гимназія Креймана.

Осенью 1874 года мой старшій братъ Сергѣй и я поступили въ третій классъ московской частной гимназіи Фр. Ив. Креймана. Ему было въ то время двѣнадцать, а мнѣ — одиннадцать лѣтъ, и наше поступленіе въ школу было первымъ нашимъ выходомъ изъ дѣтской.

Начало школьнаго возраста для ребенка есть первое его соприкосновеніе съ общественной жизнью. До школы вся жизнь его протекаетъ въ частномъ домашнемъ кругу, гдѣ онъ носитъ *домашнее* уменьшительное имя. Переходъ въ школьную среду, гдѣ это дорогое интимное имя вдругъ забывается и замѣняется официальнымъ наименованіемъ *по фамиліи* — не изъ легкихъ для мальчика. Помнится, когда вмѣсто привычныхъ именъ „Сережа и Женя“, насъ называли „Трубецкой I и Трубецкой II“, а иногда и съ прибавкой „князь“, — меня обдавало какимъ-то холодомъ. Иногда, впрочемъ, это ощущеніе холода смѣнялось чувствомъ гордости, потому что величаніе по фамиліи напоминало мнѣ, одиннадцатилѣтнему, что я

уже „большой“, но въ общемъ все-таки было жутко. Жутко было и отъ соприкосновенія со школьной дисциплиной.

До вступленія въ школу не было существа на свѣтѣ, передъ которымъ я не чувствовалъ бы себя въ правѣ развалиться или облокотиться на столъ обѣими руками. А тутъ, вдругъ, это, казалось мнѣ, неестественное вытягиваніе въ струнку передъ директоромъ и передъ каждымъ учителемъ, который ко мнѣ обратится! — Непонятной, невразумительной показалась на первыхъ порахъ и мысль о коллективной отвѣтственности. Какъ это, вдругъ, я буду страдать за чужую шалость. Когда нашъ классъ былъ какъ-то разъ „оставленъ безъ отпуска“, т. е. задержанъ на нѣсколько часовъ въ гимназіи за какую-то шалость, я былъ серьезно обиженъ и пытался отпроситься домой, ссылаясь на то, что мы съ братомъ въ этотъ день „приглашены на вечеръ къ знакомымъ“. Когда товарищи вознегодовали, а инспекторъ укоризненно сказалъ: „школа — не частный домъ, Трубецкой“, мнѣ стало стыдно чуть не до слезъ, и я просилъ инспектора, чтобы меня одного наказали, а весь классъ отпустили, что вызвало насмѣшки.

Нелегко мнѣ было привыкнуть и къ нѣкоторымъ проявленіямъ духа времени въ школьной средѣ, которыя меня непосредственно задѣвали. Въ семьѣ я былъ воспитанъ въ понятіяхъ о „равенствѣ всѣхъ людей передъ Богомъ“. Мои первые друзья были крестьянскіе мальчишки, съ которыми я бѣгалъ и игралъ въ бабки, и я не имѣлъ понятія о какихъ либо сословныхъ перегородахъ. Я слышалъ, что моего отца и насъ — мальчиковъ — иногда титуловали, но не сознавалъ въ титулѣ какого-либо отличія отъ прочихъ людей, думая, что это — просто несущественная прибавка пяти буквъ къ фамиліи. — И, вдругъ, когда я попалъ въ школьную среду, гдѣ мальчишки съ раннихъ лѣтъ любятъ щеголять своимъ „демократизмомъ“, — слово „князь“ сразу получило какое-то непонятно

обидное для меня значеніе. — „Князь, аристократъ“ — величали меня съ какимъ-то насмѣшливымъ почтеніемъ. — Всякій дразнилъ „княземъ“. — Мнѣ было больно; что же тутъ дурного, что я князь, и чѣмъ я виноватъ, что я такъ родился? За что меня попрекаютъ происхожденіемъ? Уже здѣсь въ школѣ я почувствовалъ какой-то аристократизмъ „черной кости“ — въ этихъ попрекахъ и въ этомъ желаніи быть „прежде всего демократомъ“, которое неестественно сказывалось уже въ маленькихъ мальчуганахъ. Особенно на первыхъ порахъ приходилось круто; были и особые стишки, которыми насъ изводили:

князь
упалъ въ грязь
стукнулся лбомъ
сдѣлалсяъ

Потомъ съ теченіемъ времени все это перемѣнилось, и мы стали большими друзьями съ товарищами. Насъ соединило то сообщество ученья и шалостей, которое составляетъ суть школьнаго товарищества. Сословныя перегородки, явившіяся въ началѣ, были побѣждены и исчезли; словно онѣ только затѣмъ и появились, чтобы исчезнуть. Въ этомъ сказывается большое и благодѣтельное воспитательное вліяніе всесловной школы.

Вѣяніе духа времени ярко окрашивало и низы, и верхи школы. „Низы“, т. е. школьники, хотѣли быть демократичны, именно *хотѣли*, потому что гимназія Креймана, гдѣ платили повышенную плату за ученье, по существу вовсе не была демократична. Поразительно, что въ казенной калужской гимназіи, гдѣ я впоследствии учился, было куда меньше этого показного самоутверждающагося демократизма, и къ титулу относились куда проще. А въ верхахъ школы духъ времени отражался другой своей стороною. Въ тѣ дни, въ самый разгаръ дѣйствія Толстовской системы, было въ полномъ ходу *увлеченіе классицизмомъ*. На демон-

стративномъ утвержденіи этого классицизма гимназія Креймана дѣлала карьеру. Поэтому она представляла типическій образецъ, на которомъ ярко, рельефно обрисовывались частью достоинства, но еще въ большей степени недостатки системы.

Надо отдать справедливость Францу Ивановичу Крейману въ томъ, что онъ прекрасно подбиралъ педагогическій персоналъ. Между учителями, преподававшими намъ, были хорошіе и даже превосходные. Они давали намъ все, что могли, и умѣли даже заинтересовать насъ—мальчиковъ третьяго и четвертаго класса — въ такихъ сухихъ, скучныхъ матеріяхъ, какъ древніе языки. Въ значительной степени благодаря имъ, я сохраняю о классической гимназіи воспоминаніе, какъ о хорошей школѣ мышленія.

Въ воспитаніи формальной способности мышленія заключается не только главное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и единственное ея достоинство. Съ раннихъ лѣтъ вынуждается мальчикъ отвлекаться умомъ не только отъ родныхъ ему словъ, но и отъ всей современной ему структуры рѣчи; этимъ воспитывается и закаляется прежде всего *способность отвлеченья*, гибкость ума, способность его становиться на чужую точку зрѣнія. Усвоеніе духа древняго языка, воскрешеніе давно умершихъ формъ рѣчи сообщаетъ мысли ту широту, которая составляетъ свойство истиннаго образованія. Поэтому классическая гимназія представляетъ собою незамѣнимую *подготовительную ступень* для гуманитарнаго образованія, для изученія словесности, исторіи, философіи. Если бы классическая гимназія давала хотя бы скромные начатки этого гуманитарнаго образованія, она была бы превосходной школой. Проникновеніе въ духъ древнихъ языковъ было бы чрезвычайно цѣннымъ даромъ, если бы оно служило началомъ проникновенія въ духъ древней культуры.

Къ сожалѣнію, именно этого не было въ нашей русской гимназіи. Средство въ ней стало цѣлью. Она была почти исключительно грамматическою школой, ко-

торая воспитывала формальную способность мышления, приучая умъ къ отвлеченію, но вмѣстѣ съ тѣмъ не давала ему рѣшительно никакого содержанія. Я помню тотъ своеобразный филологическій спортъ, который увлекалъ насъ — мальчиковъ 12 — 14 лѣтъ — въ четвертомъ классѣ, когда мы писали латинскія extempore или распаковывали замысловатую „косвенную рѣчь“ въ классическомъ произведеніи Цезаря; помнится, тѣ лучшіе ученики, которые не списывали, а работали самостоятельно, испытывали при этомъ удовольствіе, знакомое любителямъ шахматныхъ задачъ, кастетовъ и ребусовъ; въ предѣлахъ небольшой кучки первыхъ учениковъ было даже соперничество въ этомъ спортѣ, — кто лучше выразится по-латыни или лучше переведетъ Цезаря. Для начала это неплохо; но въ томъ то и бѣда, что въ огромномъ большинствѣ нашихъ гимназій, если не во всѣхъ, это начало оставалось безъ продолженія. Увлекаться грамматическими упражненіями для мальчиковъ старше четвертаго класса становилось труднымъ и даже просто невозможнымъ. А между тѣмъ въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ школа дальше грамматическаго упражненія не шла. За 6 лѣтъ пребыванія въ классической гимназій я что то не помню осмысленнаго чтенія писателей.

Въ гимназій Креймана я былъ только три года и не знаю, какъ тамъ велось преподаваніе въ старшихъ классахъ, начиная съ V-го. Но отсутствіе смыслового чтенія древнихъ писателей является общимъ недостаткомъ толстовской гимназій, для которой древній писатель былъ лишь предлогомъ для грамматическихъ упражненій. Читая классиковъ, ученики учились стилю: все ихъ вниманіе искусственно устремлялось на вопросъ, почему употреблена такая-то форма рѣчи, а не другая. Самая мысль писателя при этомъ забывалась. Да если бы о ней и помнили, задача растолковать ученикамъ какого-нибудь Тита Ливія, Фукидида или Тацита — не по плечу учителю средней руки: для этого, помимо знанія языка, требуется большое исто-

рическое и литературное образование. Неудивительно, что средній учитель дѣлалъ лишь то, что доступно ремесленнику, т. е. занимался оборотами рѣчи и оставлялъ мысли въ сторонѣ.

Нетрудно представить себѣ послѣдствія такого способа веденія дѣла. Помнится, въ гимназій мы читали цѣлый годъ Фукидида, а въ теченіе другого года — діалогъ Лахесъ Платона. Но только въ студенческіе годы, когда я заинтересовался греческой философіей, а въ связи съ ней — греческой исторіей, я узналъ содержаніе діалога Лахесъ и открылъ, что въ произведеніи Фукидида идетъ рѣчь о Пелопонезской войнѣ. Все прочитанное для меня, какъ и для моихъ товарищей, было лишь безсвязнымъ собраніемъ словъ, предложеній и текстовъ, которые переводились и подвергались грамматическому разбору.

Недостатки грамматической школы у насъ въ Россіи являлись въ каррикатурномъ преувеличенномъ видѣ, благодаря вмѣшательству высшихъ соображеній политической мудрости въ школьное дѣло. Школа эта, по какому-то странному недоразумѣнію, считалась оплотомъ благонадежности. Предположеніе это могло возникнуть лишь постольку, поскольку древніе писатели читались *съ пропускомъ смысла*. Вѣдь эти самые древніе, которые должны были играть роль противоядія противъ революціоннаго духа времени, — полны прославленіемъ республиканскихъ доблестей и демократическихъ учрежденій; выраженіе ненависти къ тиранамъ у нихъ — ходячее общее мѣсто. Какъ ни мало удѣлялось въ нашихъ занятіяхъ мѣста смыслу писателей, мы все-же кое что слышали про Гармодія и Аристокитана: имена этихъ тираноубійць произносились учениками классической школы съ уваженіемъ.

Но это были лишь случайно удержанные памятью отрывки, — остатки какого-то содержанія древней культуры, которая въ общемъ оставалась намъ совершенно чуждою. Классическая школа угнетала своей безсодержательностью, своею пустою отвлеченностью.

И въ этой отвлеченности всякій школьникъ чувствовалъ *фальшь*, какую-то постороннюю ученію и потому безнравственную цѣль. Мальчиками одиннадцати-двѣнадцати лѣтъ мы уже чувствовали это вмѣшательство политики въ веденіе школы и изъ-за этого теряли къ ней уваженіе.

Въ гимназіи Креймана это вмѣшательство было очень замѣтно. Гимназія, которая, какъ сказано, дѣлала карьеру на классицизмѣ, отъ времени до времени устраивала парадные ученическіе спектакли на всѣхъ языкахъ, но непременно съ какой-либо классической пьесой на какомъ-либо древнемъ языкѣ въ видѣ перваго номера. Помню, на примѣръ, парадное представленіе „Эдипа въ Колонѣ“ Софокла на греческомъ языкѣ въ биткомъ набитомъ гостями актовомъ залѣ гимназіи, въ греческихъ костюмахъ, а послѣ „Эдипа“ — русскую, французскую и нѣмецкую пьесы, разыгранныя учениками. Въ газетахъ послѣ этого фельетонисты писали про „вавилонское столпотвореніе въ классической гимназіи.“ Нечего и говорить о томъ, что на спектаклѣ, кромѣ родителей и учениковъ, присутствовали педагогическіе авторитеты и власти округа. Для нихъ именно устраивалась эта пышная демонстрація. Не знаю, какое впечатлѣніе она производила на постороннихъ зрителей; но для насъ-учениковъ — было ясно, что она устраивается напоказъ не только безъ пользы для дѣла, но съ явнымъ ущербомъ какъ для ученія, такъ и для школьной дисциплины. Помню безконечныя репетиціи греческаго хора, старательно разучивавшаго музыку Мендельсона, и столь же безконечныя репетиціи пьесъ. Ради этихъ репетицій ученики освобождались отъ уроковъ. Другіе, не участвовавшіе въ пьесахъ, бѣгали просто напросто глазѣть на репетиціи. Отвлекались отъ дѣла и учителя языковъ, ставившіе свои пьесы. Въ концѣ концовъ недѣли за двѣ до представленія, спектакль совсѣмъ забивалъ ученіе. Помню, какъ подъ предлогомъ „репетицій“ цѣлый классъ разбѣгался — кто поглазѣть

въ актовъй залъ, кто просто прятался, и учитель, найдя свой классъ пустымъ, бѣгалъ по корридору, розыскивая своихъ учениковъ, торжественно приводилъ и водворялъ на мѣсто немногихъ случайныхъ пойманныхъ, а потомъ начиналъ „ученье“, которое не клеилось подъ доносящіеся издали звуки Мендельсона. Мы всѣ, конечно, были рады этой „свободѣ“, т. е. крушенію школьнаго порядка и возможности не готовить уроки. Но и помимо ущерба для ученія, результатъ этимъ достигался самый антипедагогическій. Отъ мала до велика мы всѣ отлично понимали, что мы обязаны нашей свободой школьной политикѣ Франца Ивановича, которому нужно во что бы то ни стало показать свой классическій *товаръ лицомъ* передъ начальствомъ и передъ высшимъ обществомъ Москвы. И въ душу закрадывались сомнѣнія въ самыхъ принципахъ и основахъ школы. Не знаю, какъ это случилось, но торжественный классическій спектакль въ гимназіи, съ пьесой, непонятной девяносто девяти процентамъ учениковъ, и нужный только для *начальства*, остался для меня на всю жизнь олицетвореніемъ самаго духа и сущности толстовской гимназіи.

Положимъ, не все тутъ можно относить на счетъ толстовской школы. Многое составляетъ индивидуальное свойство самого Франца Ивановича. Помню, какъ бывало онъ приходилъ въ нашъ разбушевавшійся четвертый классъ. Водворялась глубокая тишина. Францъ Ивановичъ покачивалъ головой, утюжилъ бакенбарды и торжественно произносилъ: „печчально четвертый классъ“ —; потомъ — долгая пауза, шагъ впередъ, перстъ, подъятый въ воздухъ, и патетическій возгласъ фальцетомъ: „никакихъ стремленій нѣтъ“. А мы внутренно хохотали: не было между нами того мальчугана, который бы не чувствовалъ внутренней фальши этого паѳоса.

Францъ Ивановичъ вообще былъ актеромъ, который дѣлалъ вещи напоказъ; но школьная политика

того времени сдѣлала его *актеромъ классицизма*. Въ этомъ несомнѣнная вина толстовской тенденціи и *толстовской системы*.

Рядомъ съ „новыми вѣяніями“, демократическими и реакціонно классическими, намъ пришлось столкнуться въ гимназій Креймана и съ остатками дореформеннаго быта добраго стараго времени. Былъ тамъ одинъ извѣстный педагогъ — учитель древнихъ языковъ, издававшій классиковъ и иныя учебныя книги для школъ — не то германецъ, не то чехъ, плохо говорившій по русски. Въ четвертомъ классѣ мнѣ съ братомъ пришлось учиться у него латинскому языку. Въ первое полугодіе онъ отнесся къ намъ необыкновенно ласково и ставилъ высокія отмѣтки. Во второмъ полугодіи, когда братъ остался одинъ въ классѣ (я былъ боленъ воспаленіемъ въ легкихъ), отношеніе къ нему педагога вдругъ рѣзко измѣнилось безъ всякихъ видимыхъ причинъ. Педагогъ систематически ставилъ двойки, топалъ ногами, кричалъ, бросалъ тетрадку брата на полъ. Весь классъ недоумѣвалъ, чѣмъ вызвано это явное преслѣдованіе. Мы рассказали объ этомъ старшему нашему брату Петру, учившемуся раньше у того же педагога въ одной изъ казенныхъ московскихъ гимназій, и дѣло выяснилось. Оказалось, что ровно то же произошло и съ братомъ Петромъ, но только съ характернымъ продолженіемъ. Когда ласковое обращеніе смѣнилось преслѣдованіемъ, дядюшка, у котораго жили дѣти отъ перваго брака моего отца, вступилъ въ объясненія съ педагогомъ. Тотъ ему сказалъ, что братъ „отсталъ отъ класса“, нуждается въ частныхъ урокахъ, и самъ взялся ихъ давать за плату, считавшуюся по тогдашнему времени высокою. „Уроки“ свелись къ чистой комедіи. Педагогъ приходилъ на домъ, шутилъ, болталъ съ братомъ минутъ десять и уходилъ, получая исправно деньги.

А братъ съ тѣхъ поръ сталъ „успѣвать“, т. е. получать хорошія отмѣтки. Мои родители не пожелали прибѣгнуть къ этому способу для насъ и предпочли

оставить насъ обоихъ на второй годъ въ четвертомъ классѣ, — меня по болѣзни, а брата Сергѣя за компанію. Потомъ уже намъ пришлось учиться у хорошихъ и вполнѣ порядочныхъ учителей. Вообще этотъ случай явнаго взяточничества — единственный, который мнѣ приходилось наблюдать за все время прохожденія мною гимназическаго курса. Разумѣется, гимназія Креймана не можетъ считаться отвѣтственной за продѣлки педагога, о которыхъ ея директоръ могъ не знать; но и помимо этого, она представляла собою мало привлекательнаго. Въ ней нашли себѣ выраженіе скорѣе отрицательныя, чѣмъ положительныя стороны тогдашняго школьнаго режима.

Калужская казенная гимназія, гдѣ я воспитывался съ V-го класса по VIII-й включительно — съ 1877 по 1881 годъ, оставила во мнѣ куда лучшее воспоминаніе.

Но прежде чѣмъ перейти къ этому періоду моей жизни, я хочу рассказать о нѣкоторыхъ моихъ внѣшкольныхъ переживаніяхъ въ Москвѣ съ 1874 по 1877-й годъ.

II. Музыкальная жизнь въ Москвѣ въ 1875—1877 годахъ.

Переходъ отъ дѣтства къ отрочеству, помимо поступленія въ школу, ознаменовался для меня съ братомъ двумя крупными событіями. Это было для насъ начало пробужденія музыкальнаго пониманія и начало пробужденія національнаго сознанія. Въ 1875 — 76 году мы начали посѣщенія симфоническихъ концертовъ, квартетныхъ собраній и консерваторскихъ спектаклей. А съ 1876 года мы съ братомъ были захвачены переживаніемъ той русско-славянской національной драмы, которая привела къ восточной войнѣ 1877 — 1878 года.

Не знаю, отчего эти два факта какъ-то неразрывно связались въ одно въ моихъ воспоминаніяхъ

— подъемъ музыкальный и подъемъ національный, — можетъ быть оттого, что русская музыка тогда была областью могучаго національнаго творчества. Въ то время уже гремѣла слава Чайковскаго, коего вещи исполнялись почти въ каждомъ концертѣ, и уже блистало созвѣздіе такъ называемой „могучей петербургской кучки“ — Римскаго-Корсакова, Бородина, Балакирева и Кюи.

Говорили и о Мусоргскомъ, но онъ тогда считался чѣмъ то вродѣ музыкальнаго Козьмы Пруткова — композиторомъ остроумнымъ и „забавнымъ“, но не серьезнымъ. Да и по отношенію къ „могучей кучкѣ“ не было большого пониманія. О Римскомъ-Корсаковѣ, который впоследствии сталъ для меня олицетвореніемъ жизнерадостной русской сказки, старшіе вокругъ меня говорили, что онъ „серьезенъ, но скучноватъ“, а на Бородина, Балакирева и Кюи съ сомнѣніемъ покачивали головою.

Вся эта музыка казалась въ то время „черезчуръ радикальной“. За то Чайковскій царствовалъ, и всякое его появленіе на концертной эстрадѣ было бурнымъ триумфомъ.

Помню, что его произведенія меня двѣнадцати — тринадцати лѣтъ не только увлекали, но прямо-таки волновали. Я съ ранняго дѣтства слышалъ много классической музыки — Гайдна, Моцарта, Бетховена; мало того, уже въ дѣтствѣ я чувствовалъ эту музыку и по своему ее понималъ, насколько это было доступно ребенку. Но 12 — 13 лѣтъ мнѣ было стыдно признаться, что Чайковскаго я люблю еще больше. А это было такъ. И не одинъ я, маленькій мальчикъ, — въ то время и многіе изъ старшихъ совершенно такъ же любили Чайковскаго больше Бетховена и стыдились въ этомъ признаваться. Что это было за явленіе? Почему этотъ композиторъ, который теперь кажется намъ наполовину увядшимъ и осуждается почти всѣми до преувеличенія, въ то время такъ же преувеличенно восхищались?

Разбираясь въ воспоминаніяхъ моего отрочества, я чувствую, что увлеченье Чайковскимъ во мнѣ не было исключительно музыкальнымъ: онъ волновалъ мое *національное чувство*. Я любилъ его, какъ что-то родное, какъ поэтическое воспоминаніе о русской деревнѣ, о которой я—школьникъ—мечталъ въ теченіе долгихъ зимнихъ мѣсяцевъ.

Замѣчательно, что теперь даже съ этой точки зрѣнія Чайковскій меня не удовлетворяетъ; то, что воодушевляло меня въ отроческіе годы, какъ народное русское, теперь кажется мнѣ народничаньемъ, чѣмъ то поддѣльнымъ: музыкальное ухо нерѣдко оскорбляется вмѣшательствомъ италіанщины въ русскія мелодіи Чайковскаго.

И странное дѣло, эта полу-народная музыка въ то время совершенно заслоняла для меня подлинную народную мелодію Бородина и Римскаго-Корсакова. Происходило ли это отъ дѣтскаго непониманія? Нѣтъ, такъ же судили и такъ же чувствовали въ то время взрослые.

Тутъ былъ какой то общій недостатокъ и въ музыкальномъ воспріятіи, и въ воспріятіи родины, какая то *народническая фальшивая нота въ музыкѣ*, которую почти совершенно не слышало тогдашнее музыкальное ухо. Слышали ее лишь тѣ, непонятые тогда композиторы, которые возвели русскую музыку на болѣе высокую ступень творчества. Замѣчательно, что это народничанье, которое теперь разоблачено и которое раньше привлекало больше всего въ Чайковскомъ, составляетъ не положительную, а скорѣе отрицательную сторону его собственнаго творчества. Намъ продолжаютъ нравиться именно тѣ его произведенія, гдѣ нѣтъ этой претензіи на народность („Франческо да Римини“, патетическая симфонія*). Можетъ быть, здѣсь кроется объясненіе преувеличеннаго разочарованія въ Чайковскомъ.

*) Въ видѣ примѣра прошу вспомнить пляску мужиковъ и другія „пейзанная“ мелодіи изъ „Евгенія Онѣгина“ (хоръ дѣвушекъ).

Когда то русское общество, вмѣстѣ съ нимъ, отождествляло свое „стремленіе въ народъ“ съ самимъ народомъ, а теперь не можетъ простить ему собственныхъ своихъ юношескихъ увлеченій, которыя онъ слишкомъ ярко олицетворялъ! Сами не замѣчая, мы не любимъ его столько же за недостатки въ его музыкѣ, сколько за *сентиментально — слащавое воспріятіе русскаго народа.*

Общественныя и національныя переживанія оказываютъ безъ сомнѣнія огромное и *далеко не достаточно осознанное вліяніе* на музыкальное воспріятіе. Музыкальная душа приноситъ въ концертный залъ все то, чѣмъ она живетъ. И эти извнѣ принесенныя переживанія причудливо переплетаются съ музыкальною мелодіей. Иногда они дѣлаютъ душу воспріимчивой къ ней, а иногда, наоборотъ, заслоняютъ музыкальныя красоты. Высшія воспріятія, разумѣется, тѣ, въ которыхъ душа освобождается отъ рабства времени и отъ преходящихъ увлеченій, гдѣ она радуется *сверхнародной, сверхвременной красотѣ.*

Помню въ отроческіе мои годы минуты и часы этой *безотносительной* радости. Ими я всего больше обязанъ покойному Н. Г. Рубинштейну, который былъ въ тѣ дни душою, живымъ центромъ всего музыкальнаго дѣла въ Москвѣ. И не только Рубинштейнъ-піанистъ меня увлекалъ и уносилъ, но не въ меньшей степени — Рубинштейнъ - дирижеръ, истолкователь симфоній и оперъ. Я помню въ его исполненіи наполнявшія душу свѣтлой, дѣтскою радостью симфоніи Гайдна. Эти были мнѣ *до дна* понятны. Помню и симфоніи Бетховена, которыя тогда были мнѣ менѣе понятны: ихъ глубина еще недоступна отроческимъ годамъ. Помню, наконецъ, захватившее меня цѣликомъ исполненіе нѣкоторыхъ оперъ на ученическихъ спектакляхъ въ консерваторіи, въ особенности исполненіе безсмертнаго „Фрейшюца“ Вебера — мнѣ было тогда двѣнадцать лѣтъ; съ тѣхъ поръ я никогда въ жизни не видалъ этой оперы. Но у меня остались въ памя-

ти каждая ея сцена, каждый ея звукъ. И это оттого, что я не только слышалъ, я въ теченіе цѣлаго года *переживалъ* эту оперу, благодаря тому, что я присутствовалъ не только на самомъ спектаклѣ, но и на многихъ ея репетиціяхъ. Я съ жадностью ловилъ всѣ замѣчанія Рубинштейна и потому зналъ не только какъ нужно, но и то, *какъ не нужно* исполнять „Фрейшюца“. Едва ли что-нибудь можетъ болѣе способствовать музыкальному развитію, чѣмъ такія репетиціи подъ управленіемъ геніальнаго руководителя-дирижера и въ то же время режиссера. Помню, какъ въ его передачѣ увертюра воспроизводила таинственную жизнь лѣса съ отдаленными звуками охотничьяго рога — волторны. Помню, какъ въ звукахъ вставалъ передо мной во весь ростъ мрачный образъ „чернаго охотника“, — лѣснаго діавола-Самгеля. Помню мистическій ужасъ „Волчьей долины“. Образы эти потомъ преслѣдовали меня днемъ и ночью, въ темной комнатѣ и особенно — въ лѣсной чащѣ, когда смеркнется: музыкальное воспоминаніе — источникъ сильнаго наслажденія — непосредственно переходило въ гнетущій ночной страхъ. Нужно было быть великимъ чародѣемъ искусства, чтобы такъ врѣзаться въ дѣтскую душу этотъ музыкальный образъ ада и ту радость освобожденія отъ ада, которая звучитъ въ заключительномъ хорѣ „Фрейшюца“! Кто слышалъ эту оперу въ исполненіи Рубинштейна и въ особенности на его репетиціяхъ, тотъ потомъ, закрывши глаза, можетъ слышать ее въ теченіе всей своей жизни. Вотъ и сейчасъ на разстояніи сорока четырехъ лѣтъ, отдѣляющихъ меня отъ этого спектакля, я могу отдыхать отъ тяжелыхъ переживаній современной русской драмы, внутренне воспроизводя въ мысли и въ слухъ эти глубокіе, таинственные звуки темнаго лѣса и эту радость объ озарившемъ жизнь послѣ пережитаго ада — солнечномъ лучѣ! Вотъ что значитъ *музыкальный подъемъ надъ временемъ*. Какъ безконечно благодарно должно быть наше поколѣніе тѣмъ, кто далъ намъ его почувствовать.

Этотъ подъемъ, уносившій меня въ дѣтствѣ, былъ въ то время общимъ. Это была какъ-разъ эпоха поразительныхъ и могучихъ завоеваній музыки въ Россіи. Когда я началъ посѣщать симфоническіе концерты въ Москвѣ, все было полно воспоминаній о томъ, какъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ Н. Г. Рубинштейнъ создавалъ огромное дѣло изъ ничего. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ еще не было симфоническаго оркестра: симфоніи тогда исполнялись на нѣсколькихъ рояляхъ.

Потомъ явился оркестръ и хоръ, но концерты вначалѣ были пусты. До того музыка была иноземной гостьей въ Россіи и была знакома русской публикѣ почти исключительно въ видѣ итальянской оперы. И вдругъ поразительное оживленіе: въ 1875 — 76 году, когда я началъ посѣщать концерты, начинавшіеся въ 9 ч. вечера, намъ приходилось пріѣзжать съ восьми вечера, чтобы имѣть возможность найти сидячее мѣсто въ залѣ. Позднѣе, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, публика забиралась въ этотъ обширный залъ Дворянскаго Собранія уже съ 7 часовъ. Итальянская опера въ Императорскомъ Большомъ театрѣ въ то время доживала свои послѣдніе дни. Въ самомъ началѣ восьмидесятыхъ годовъ она была замѣнена оперой русской.

На этихъ концертахъ чувствовалась какая-то жизнерадостная атмосфера, особая легкость духа, которая позднѣе исчезла. Что это такое было? Достаточно вспомнить хронологію музыкальнаго движенія въ Россіи съ шестидесятыхъ по восьмидесятые годы, чтобы почувствовать его глубокую жизненную связь съ „эпохой великихъ реформъ“. Раньше русскаго національнаго движенія въ музыкѣ не существовало. Былъ одинокій геній — Глинка, переросшій своихъ современниковъ на полстолѣтія, но они его не понимали: русская мелодія его „Руслана“ оставалась имъ недоступной. Почему? Да потому, что тогдашнее культурное русское общество было отдѣлено отъ русской

народной пѣсни всею своею жизнью. И лишь немногимъ лучшимъ людямъ дано было видѣть, какъ живутъ и слышать, о чемъ поютъ по ту сторону перегородки, отдѣлявшей русское образованное общество отъ народа. Когда Тургеневъ въ своихъ „Пѣвцахъ“ далъ почувствовать своимъ современникамъ, что такое русская народная пѣснь, это было для нихъ настоящимъ откровеніемъ.

Нужно ли удивляться, что въ шестидесятыхъ годахъ, когда перегородка рухнула, у русскаго національнаго творчества выросли крылья! Какъ не понять, что именно въ это время композиторы стали особенно чутки къ народной русской пѣснѣ, и что именно тогда одни изъ нихъ стали искать народъ, а другіе его нашли!

Эпохи національнаго подъема бываютъ вообще эпохами повышенной чуткости. Поэтому неудивительно, что въ то время усилилась воспріимчивость не только къ мелодіи національной, но и къ мелодіи міровой. Берліозъ и Вагнеръ, пріѣзжавшіе въ Москву въ срединѣ шестидесятыхъ годовъ, были удивлены и обрадованы тѣмъ сочувственнымъ откликомъ, который они тамъ встрѣтили. Они почувствовали вѣяніе духа жизни въ нашей духовной атмосферѣ.

Помню волнующій мигъ, когда музыкальная мелодія явно для всѣхъ сплелась съ мучительными національными переживаніями того времени.

Среди произведеній Чайковскаго есть одно, мало знакомое и въ особенности мало понятное современному русскому обществу — „Русско-Сербскій маршъ“. Теперь слушатели отнеслись бы къ нему по меньшей мѣрѣ равнодушно. А между тѣмъ въ 1876 году оно вызвало цѣлую бурю восторга. Оно и не удивительно: Русско-Сербскій маршъ представляетъ собою произведеніе полу-музыкальное, полу-публицистическое: въ немъ выразились теперь забытыя чаянія русскаго національнаго движенія того времени.

Въ тѣ дни мы всѣ отъ мала до велика съ напря-

женнымъ вниманіемъ и глубокимъ волненіемъ слѣдили за событіями на Балканскомъ полуостровѣ, гдѣ послѣ возстанія Босніи и Герцоговины Сербія и Черногорія вступили въ неравную вооруженную борьбу съ Турціей. Въ рядахъ сербовъ, предводительствуемыхъ рускимъ генераломъ Черняевымъ, сражались русскіе добровольцы; по всей Россіи, даже въ захолустныхъ деревушкахъ, собирались щедрыя пожертвованія въ пользу сербовъ.

Даже простой народъ, начавшій въ ту пору усиленно читать газеты, былъ взволнованъ борьбой православныхъ противъ „поганныхъ“. Я помню, какъ въ одной сельской церкви въ Области Войска Донского, послѣ проповѣди, гдѣ священникъ призывалъ народъ оказать помощь единовѣрцамъ-славянамъ, было собрано на моихъ глазахъ семьдесятъ пять рублей въ пользу сербовъ и черногорцевъ. И вотъ, когда стали получаться извѣстія о катастрофическомъ положеніи на фронтѣ, — русское общественное мнѣніе стало единодушно требовать вмѣшательства Россіи въ войну. Правительство на это долго не соглашалось, а цензура неоднократно пыталась принудить печать къ молчанію. И вотъ, какъ-разъ въ эту пору Чайковскому удалось высказать въ своемъ „Русско-Сербскомъ маршѣ“ больше, чѣмъ можно было высказывать въ тогдашнихъ газетныхъ передовыхъ статьяхъ.

Маршъ начинается грустной славянской мелодіей; потомъ этотъ скорбный мотивъ угнетеннаго славянства смѣняется бойкимъ русскимъ маршемъ: это казаки и добровольцы идутъ на помощь. И въ самомъ концѣ марша въ видѣ пророчества раздаются побѣдные звуки русскаго національнаго гимна. Гвалтъ и ревъ, которые послѣ этого поднялись въ залѣ, не поддаются описанію. Вся публика поднялась на ноги; многіе повскакивали на стулья; къ крикамъ „браво“ примѣшивались крики „ура“. Маршъ заставили повторить, послѣ чего та же буря поднялась сызнова. Благодаря невозможности распространить цензуру на музыкальныя произведенія,

Чайковскому удалось устроить то, что казалось въ то время невозможнымъ, — внушительную общественную демонстрацію. Это была одна изъ самыхъ волнующихъ минутъ въ 1876 году. Въ залѣ многіе плакали! Это на моей памяти едва-ли не единственный концертъ, который получилъ значеніе политическаго событія.

III. Восточная война 1877—1878 года.

Намъ теперь трудно перенестись на точку зрѣнія русскаго общества въ 1876—1877 году, — до того тогдашняя политическая и общественная атмосфера была непохожа на современную. Это была атмосфера крестоваго похода въ буквальномъ смыслѣ слова, потому что война, о которой тогда мечтали и которой такъ рѣшительно требовали отъ правительства патріотически настроенные люди, была въ буквальномъ и точномъ смыслѣ слова войной креста противъ полумѣсяца. И этой мыслью о войнѣ жили всѣ отъ мала до велика. Мы, школьники четвертаго класса — прочитывали всѣ газеты, какія попадали въ руки. Мои родители получали цѣлыхъ двѣ газеты — „Московскія Вѣдомости“ и издававшійся въ Петербургѣ „Голосъ“. Но мнѣ этого показалось мало, и я истратилъ свой собственный рубль, чтобы подписаться, хотя бы на одинъ мѣсяць, на патріотическую газету „Русскій Міръ“. Между нами — мальчуганами — война была всепоглощающей, единственной темой, вокругъ которой вращались всѣ разговоры. Статьи и рѣчи Ив. С. Аксакова въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда онѣ печатались, были и у насъ главными событіями дня; а мысль о водруженіи Креста на храмъ Св. Софіи была одной изъ самыхъ популярныхъ въ школѣ. Съ волненіемъ и раздраженіемъ обсуждали мы въ антрактахъ между уроками дѣйствія правительства, негодовали противъ „дипломатовъ“ за ихъ антинаціональную „петербургскую“ политику и за ихъ стремленіе сдержать порывъ народ-

наго чувства. Александръ II былъ въ то время весьма любимъ во всѣхъ слояхъ русскаго общества; но его колебанія и уступки западнымъ недоброжелателямъ Россіи — австрійцамъ и англичанамъ — порою вызвали и во взрослыхъ и въ насъ — дѣтяхъ движеніе нетерпѣнія. Когда, наконецъ, турки были остановлены въ своемъ движеніи на Бѣлградѣ ультиматумомъ императора Александра II, наступили дни всеобщаго ликованія. Русское общество, вынудившее Царя къ этому шагу вопреки его волѣ и въ особенности вопреки желанію правительства, торжествовало побѣду. И мы дѣти тоже радостно чувствовали, что одержана большая побѣда, *наша* побѣда. Когда Государь явился въ Москву и произнесъ въ кремлевскомъ дворцѣ свою знаменитую рѣчь съ фразой: „я самъ москвичъ и горжусь Москвой“, не только присутствующіе были потрясены до слезъ. Я помню, какъ радостныя слезы вызывались самымъ чтеніемъ рѣчи. Тутъ были и умиленіе и чувство національной гордости: послѣ долгихъ униженій Россіи было, наконецъ, удовлетворено чувство національнаго достоинства.

Тогда не было того раздвоенія въ образованномъ русскомъ обществѣ, которое сказалось такъ рѣзко въ дни японской войны, — „пораженцевъ“ не было вовсе; объ „интернационалистахъ“ тоже еще не было слышно. Была только немногочисленная группа такъ называемыхъ „петербургскихъ космополитовъ“ изъ аристократіи и сановниковъ, не хотѣвшихъ войны; къ нимъ густая масса русскаго общества относилась стихійно враждебно. Сомнѣнія въ патріотизмѣ Россіи и въ особенности въ патріотизмѣ простого русскаго народа въ то время не возникали; наоборотъ, идеализація русскаго мужика и русскаго солдата въ то время доходила до той степени преклоненія, которую теперь даже трудно себѣ представить. Простой народъ считался тогда главнымъ носителемъ, первоисточникомъ патріотизма, а отсутствіе патріотизма, согласно славянофильской формулѣ, признавалось грѣхомъ людей, „отор-

ванныхъ отъ народа“. Конечно, было не мало иллюзій въ этомъ настроеніи, но единодушіе было поразительное.

Оно стало еще единодушнѣе, когда началась война, всѣми давно желанная. Чтеніе Высочайшаго манифеста объ объявленіи войны Турціи — одно изъ самыхъ значительныхъ моихъ переживаній за всю мою жизнь. Мнѣ было тогда всего тринадцать лѣтъ, но ощущать Россію всѣмъ существомъ съ такой силой, какъ я ощущалъ ее тогда, мнѣ пришлось потомъ всего только одинъ разъ въ жизни — въ 1914 году, въ началѣ великой европейской войны. Помню, какъ мы съ братомъ Сергѣемъ тщетно усиливались тогда проникнуть въ Успенскій соборъ. Я былъ такъ притиснутъ толпой къ стѣнѣ, что чуть не лишился чувствъ. Я едва дышалъ. Мнѣ казалось: вотъ еще минута, и я упаду. Но надо мною на синемъ фонѣ весенняго неба горѣли золотыя главы соборовъ, и раздавался тотъ глубокій басъ колокола Ивана Великаго, отъ котораго пробѣгаетъ морозъ по кожѣ и дребезжатъ стекла въ окнахъ. И я чувствовалъ: вотъ торжество высшей Божьей правды, которую призвана осуществить на землѣ Россія! Что жъ изъ того, что вотъ сейчасъ меня раздавятъ, и меня уже больше не будетъ. Развѣ не счастье умереть въ такую минуту!

Въ Успенскій соборъ такъ и не удалось проникнуть, и мнѣ пришлось выслушать манифестъ въ Архангельскомъ соборѣ. Но я до сихъ поръ не знаю, проигралъ я отъ этого или выигралъ. Помню то сильное впечатлѣніе, какое произвели на меня въ эту минуту собранныя въ соборѣ гробницы Московскихъ Царей. Словно въ ихъ лицѣ всѣ умершія раньше поколѣнія, вся русская старина приобщалась къ великому дѣлу Россіи современной. И всѣ поколѣнія объединены подъ церковнымъ сводомъ въ мысли и торжествѣ Креста, которому должна служить Россія, освобождая отъ растерзанія христіанскіе народы во имя Христова! Чувство преемственной связи поколѣній, сознанье един-

ства Россіи старой и новой въ Церкви и черезъ Церковь, — вотъ что чувствовалось въ эту великую минуту, вотъ о чемъ гудѣлъ на весь міръ соборный колоколъ, которому вторилъ въ храмѣ густой басъ дьякона, читавшаго манифестъ! Съ тѣхъ поръ всякій разъ, когда я слышу звукъ этого колокола, во мнѣ воскресаетъ сознаніе нерушимаго единства мертвыхъ и живыхъ, единства Россіи въ Церкви и черезъ Церковь. Чувство это пробуждается всегда при видѣ московскихъ соборовъ; но особенно сильно захватываетъ оно во время пасхальной утрени и въ дни великихъ историческихъ минутъ народной жизни. И теперь, созерцая умомъ издалека эти соборы, сейчасъ занятые и оскверняемые хулителями изъ латышей и евреевъ, испытываешь то же ощущеніе *неумирающей жизни*, какъ и въ прежніе счастливые дни, когда Россія была велика, едина и свободна. *Та Россія, которая вѣками сознавала и утверждала свое единство подъ стѣнью этихъ храмовъ, не можетъ умереть!* И каковы бы ни были издѣвательства хулителей, каковы бы ни были впереди испытанія и препятствія, *эта Россія воскреснетъ!* Она жила и будетъ жить для вѣчности!

Впослѣдствіи, въ дни религіознаго охлажденія, намъ стала мало понятна духовная атмосфера прежнихъ восточныхъ войнъ. Въ дни міровой войны мы слышали преимущественно разсужденія о стратегической и экономической необходимости завоеванія проливовъ для Россіи. Потомъ, въ дни революціи, этимъ воспользовалась революціонная пропаганда, которая успѣла внушить народнымъ массамъ мысль о чисто имперіалистическихъ побужденіяхъ нашей войны съ Турціей. Не то было въ 1876—1877 году: тогда о какихъ-либо матеріальныхъ выгодахъ для Россіи не было рѣчи ни въ лагерь сторонниковъ, ни въ лагерь противниковъ войны. Освобожденіе единовѣрныхъ и родственныхъ намъ по крови народовъ изъ подъ мусульманскаго ига выдвигалось, какъ единственная цѣль

войны. Территориальныя приобрѣтенія, сдѣланныя впоследствии, были *результатомъ* военныхъ успѣховъ, но отнюдь не цѣлью военныхъ дѣйствій. Война была отъ начала до конца *безкорыстной, романтической*. Ея побужденія будутъ болѣе понятными теперь поколѣнію, пережившему великое религіозное движеніе, вызванное революціей. И только тогда, когда мы поймемъ и почувствуемъ эти побужденія, Россія вновь станетъ Россіей: ея національное единство держится исключительно той духовной связью, которая связываетъ преемственный рядъ поколѣній. Революція наглядно показала, что забвеніе этой связи влечетъ за собой утрату родины: вотъ почему теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, необходимо о ней вспомнить!

Въ моихъ отроческихъ воспоминаніяхъ вся война 1877-1878 года окрашивается тѣми переживаніями, которыя мнѣ дано было испытать въ Кремлѣ, при чтеніи манифеста. Отъ начала и до конца она была проявленіемъ крѣпкаго національнаго единства. Тогда не было и тѣни тѣхъ взаимныхъ подозрѣній, которыя теперь отравляютъ отношенія между классами. Наоборотъ, это была эпоха небывалаго сближенія между образованными классами и народомъ: была твердая почва для общенія, былъ и общій языкъ для взаимнаго пониманія. Оно и понятно: *цѣль войны* — освобожденіе *своихъ православныхъ* отъ иновѣрныхъ мучителей — была непосредственно понятна народнымъ массамъ, а потому всякій образованный чловѣкъ, который говорилъ съ простымъ крестьяниномъ и солдатомъ на эту тему, былъ для него *свой*. Этимъ объясняется и тотъ фактъ, что русскій солдатъ въ то время дѣлалъ чудеса, которыя послѣ этого, къ сожалѣнію, не повторялись. Изъ всѣхъ описаній военныхъ дѣйствій подъ Плевной, на Шипкѣ и въ особенности зимняго перехода черезъ Балканы, мнѣ врѣзалась въ память одна черта: всѣ описывавшіе свидѣтельствовали, что солдаты и офицеры были тогда *одно*. Общія страданія и лишенія не вызывали ни ропота, ни

взаимныхъ подозрѣній, не отталкивали ихъ другъ отъ друга, а, наоборотъ, сближали. И это потому, что не было сомнѣній въ правдѣ и святости того общаго дѣла, которому служили тѣ и другіе. А между тѣмъ въ тѣ дни, когда интендантство одѣвало солдатъ куда хуже, чѣмъ теперь, и кормило ихъ гнилымъ мясомъ, да червивыми сухарями, сколько было поводовъ обвинять власть въ предательствѣ! Къ какимъ только подозрѣніямъ не давали повода тяжелыя неудачи въ началѣ войны, вызванныя плохой организаціей и непростительными ошибками начальства, совершенно не знавшаго силъ противника. Но патриотизмъ солдата и офицера выдержалъ тогда самыя тяжкія испытанія, потому что онъ утверждался на крѣпкой духовной основѣ!

Настроеніе фронта находилось въ полномъ соотвѣтствіи съ настроеніемъ тыла. Въ началѣ войны я наблюдалъ это настроеніе въ Москвѣ, потомъ въ деревнѣ въ Московской губерніи, потомъ въ Калугѣ, гдѣ, вслѣдствіе переѣзда туда моей семьи, я поступилъ въ гимназію съ осени 1877 года. И за весь годъ войны я не помню ни одного проявленія той деморализаціи, которая замѣчалась въ дни войны японской или въ дни нашихъ неудачъ во время великой европейской войны. Я помню энтузіазмъ въ началѣ войны, когда въ городахъ и деревняхъ жадно ловили извѣстія, восторженно привѣтствуя всякій геройскій подвигъ и устраивая триумфальныя встрѣчи поѣздамъ съ ранеными. Потомъ я вспоминаю минуты тяжелой скорби и мучительной тревоги во время плевненскихъ неудачъ и шипкинскихъ дней, когда, казалось, русская армія находится на волоскѣ отъ гибели. Одни молились, другіе приходили въ ярость, говоря о преступномъ легкомысліи властей, третьи безмолвно и тихо страдали. И всѣ, кто могъ, жертвовали и помогали устройству санитарной помощи. Словомъ, это было то настроеніе, которое всѣмъ намъ такъ знакомо по 1914 году. Но той апатіи и индифферентизма, кото-

рые замѣчались въ болѣе позднія даты великой европейской войны, не было и слѣда. Все время чувствовалось бодрое настроеніе молодой, свѣжей и крѣпкой націи, которая не слишкомъ довѣряетъ своему правительству и даже, по русскому обычаю, отчасти его критикуетъ, но за то полна вѣры въ себя и въ свое будущее.

Деморализація пришла уже потомъ, *послѣ окончанія* побѣдоносной войны, когда побѣдоносныя войска наши были остановлены у воротъ Константинополя враждебнымъ намъ вмѣшательствомъ Англии и Австріи, которое грозило уничтожить всѣ результаты нашихъ побѣдъ! Тогда русское общество не могло простить Александру II-ому, зачѣмъ онъ внялъ этимъ угрозамъ. Его обвиняли въ малодушіи и безхарактерности. Осуждали и великаго князя главнокомандующаго, который, по мнѣнію многихъ, долженъ былъ дерзнуть, послушаться приказа и на свой страхъ и рискъ войти въ Константинополь. Деморализація достигла крайняго предѣла, когда малярія и тифъ во время стоянки въ Санъ-Стефано, у воротъ Константинополя, стали косить больше жертвъ, чѣмъ непріятельское оружіе во время войны, и въ это время Россія пошла на судъ передъ ареопагомъ великихъ державъ, собравшихся на Берлинскій конгрессъ. Деморализація была вызвана миромъ, а не войною.

И все-таки, даже послѣ заключенія мира, я помню минуты свѣтлаго подъема. Это было при встрѣчѣ побѣдоносныхъ войскъ, возвращавшихся въ Россію изъ Турціи. Вспоминается мнѣ, на примѣръ, день торжественнаго вступленія Кіевскаго Гренадерскаго полка на постоянную стоянку въ городъ Калугу. Весь городъ высыпалъ ему навстрѣчу. Въ учебныхъ заведеніяхъ были отмѣнены уроки; и наша гимназія въ полномъ составѣ двинулась на площадь, гдѣ происходилъ полковой парадъ. Потомъ съ утра до вечера на улицахъ шелъ народный праздникъ, закончившійся иллюминаціей. Гостей поили, кормили, качали, кричали имъ

„ура“ при каждой встрѣчѣ. Помню, какъ мы — гимназисты — въ этотъ день гордились „плевненскими героями“: Кіевскій полкъ принадлежалъ какъ разъ къ той славной второй гренадерской дивизіи, которая играла главную роль при взятіи Плевны.

Среди молодежи въ то время не было и слѣда тѣхъ антимилитаристическихъ теченій, которыя потомъ отравили не только наши университеты, но и гимназіи. Мы всѣ были объединены чувствомъ восторга и благоговѣнія передъ великимъ ратнымъ подвигомъ русскаго солдата и офицера. Словомъ, и въ побѣдахъ своихъ, и въ неудачахъ и разочарованіяхъ, въ мирѣ, какъ и въ войнѣ, Россія все-таки чувствовалась нами, какъ *единая* и притомъ *великая* нація. Національное чувство тогда ничѣмъ не было оскорблено или унижено. Испытанія, какъ и побѣда, только усиливали внутреннее объединеніе. Съ тѣхъ поръ за всю мою жизнь я не помню столь безграничнаго и радостнаго ощущенія *національнаго здоровья*. Куда оно дѣвалось потомъ? Какъ могла зародиться и развиваться въ послѣдующія десятилѣтія та роковая болѣзнь, которая теперь разрушила Россію? Увы, первые признаки этой болѣзни стали сказываться почти тотчасъ вслѣдъ за окончаніемъ войны. Но объ этомъ придется говорить уже въ послѣдующихъ частяхъ этихъ воспоминаній.

IV. Гимназическіе годы въ Калугѣ.

Вслѣдствіе разстройства дѣлъ моего отца, онъ вынужденъ былъ искать службы въ провинціи и въ 1876 году былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Калугу. Это и было причиною нашего общаго туда переѣзда, который состоялся осенью 1877 года.

Уже во второмъ полугодіи 1876 — 77 года мы съ братомъ покинули гимназію Креймана и стали готовиться подъ руководствомъ приходящихъ на домъ учителей къ экзамену въ казенную калужскую гим-

назію. Весной мы выдержали экзамень въ пятый классъ и осенью туда поступили. Съ этой минуты начинается новый періодъ нашей школьной жизни, о которомъ я вспоминаю съ несравненно большимъ удовольствіемъ, чѣмъ о гимназіи Креймана.

Весь духъ школы былъ здѣсь совсѣмъ другой, чѣмъ тамъ. Недостатки толстовской гимназіи, конечно, чувствовались и здѣсь, но, по сравненію съ гимназіей Креймана, въ значительно смягченной формѣ. Здѣсь въ Калугѣ были нѣкоторые учителя — чиновники. Чиновниками были въ частности директоръ и инспекторъ, хотя оба были въ сущности не дурные люди. Но въ калужской гимназіи не было карьеристовъ. Странное дѣло, въ отличіе отъ *частной* гимназіи Креймана, — въ этой *казенной* гимназіи никто не дѣлалъ карьеры на классицизмѣ, а потому и всѣ отношенія были проще и естественнѣе. Въ нихъ не только не было фальши; напротивъ, въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ учителей была та сердечная теплота, благодаря которой и по выходѣ нашемъ изъ гимназіи между нами сохранилась тѣсная духовная связь до самой ихъ смерти. Я имѣю въ виду въ особенности учителя древнихъ языковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нашего класснаго наставника — Емельяна Ивановича Городскаго и нашего законоучителя — протоіерея Александра Ивановича Ростиславова.

Первый — галичанинъ, уніать, обратившійся въ православіе, былъ человѣкъ совершенно исключительной доброты; онъ горячо привязался къ нашему классу, который ему пришлось вести вплоть до окончанія гимназическаго курса, быть нашимъ ходатаемъ во всякія трудныя минуты жизни, горой стоялъ за насъ, когда намъ грозило какое-либо суровое наказаніе, но при этомъ совершенно не подозрѣвалъ обо всѣхъ нашихъ школьныхъ продѣлкахъ и безгранично намъ вѣрилъ въ безпредѣльной наивности своей чистой души. И надо отдать намъ справедливость, — мы всячески злоупотребляли этимъ довѣріемъ.

Захочется, бывало, кому-нибудь уйти домой до окончания урока, Емельянъ Ивановичъ всегда вѣритъ выдуманной болѣзни; мнѣ однажды случилось лежать у него на урокъ. Меня закрывала парта, и я думалъ, что останусь незамѣченнымъ. Но Емельянъ Ивановичъ увидалъ и заволновался. „То что съ Вами, Трубецкой. А — а, онъ боленъ, шатается, пойдите домой, ложитесь въ кровать сейчасъ“. Я не заставилъ себѣ повторять два раза этого приглашенія и съ радостью пошелъ домой, хотя былъ совершенно здоровъ. Въ другой разъ на письменномъ латинскомъ экзаменѣ надзиравшій за нами учитель замѣтилъ, что я черезчуръ усердно поглядываю въ тетрадь сосѣда и отсадилъ меня на кафедру. Узнавъ объ этомъ, Городскій негодовалъ на педагога. „То оскорбилъ подозрѣнiемъ Трубецкого“. Бѣдный! Онъ не зналъ, что въ его классѣ только лѣнивый не списываетъ у товарищей.

Шуму и шалостей въ классѣ у него было сколько угодно; это его утомляло, потому что онъ страдалъ чахоткой и всегда мучительно кашлялъ. Но къ „мѣрамъ строгости“ онъ былъ рѣшительно неспособенъ. Я отличался особенно безпокойнымъ нравомъ, но тѣмъ не менѣе былъ очень имъ любимъ. Какъ то разъ я долго отсутствовалъ по болѣзни, а потомъ, явившись въ классъ, съ мѣста началъ шумѣть. „А, то Трубецкой пришелъ, то опять начнутся безобразія“, — жалобно произнесъ Емельянъ Ивановичъ и закашлялъ. Я устыдился и затихъ. Только этой добротой онъ насъ и держалъ: совѣстно было утомлять больного, и былъ нѣкоторый страхъ „подвести Емельяна передъ начальствомъ“ чрезмѣрнымъ шумомъ, какъ говорили у насъ въ классѣ. И чѣмъ больше мы выросали, тѣмъ бережнѣе къ нему относились. Какъ то разъ, болтая съ нами между уроками, онъ проговорился, что „мечта его жизни — имѣть альбомъ съ музыкой“. Эта мысль намъ запала. И вотъ, окончивъ экзаменъ зрѣлости, мы явились къ нему всѣмъ классомъ и подарили аль-

бомъ съ фотографическими карточками. Когда, вдругъ, изъ альбома раздалась музыка. Емельянъ Ивановичъ былъ такъ растроганъ, что не могъ сказать ни единого слова, убѣжалъ въ другую комнату и расплакался.

Какъ педагогъ, онъ отличался совершенно исключительною по тогдашнему времени чертою: онъ не любилъ грамматики и никогда ее не спрашивалъ, обращая вниманіе исключительно на практическое умѣнье читать классиковъ и переводить съ русскаго на древніе языки. Иначе говоря, онъ пренебрегалъ именно тѣмъ, на чемъ тогда дѣлали карьеру. Не знаю, какъ это случилось, но мы у него въ самомъ дѣлѣ недурно переводили писателей, даже экспромтомъ. Я говорю — „не знаю какъ“, потому что готовилъ у него урокъ только тотъ, кто хотѣлъ. Бывало кто — нибудь одинъ приготовить дома классика, а потомъ передъ урокомъ прочтетъ его и переведетъ вслухъ товарищамъ. Съ этимъ мы и выходили отвѣчать урокъ. И отвѣчали ничего, благополучно. Огъ времени до времени, впрочемъ, каждый дѣлалъ переводъ самостоятельно, такъ что умѣли переводить *всѣ*. Когда во мнѣ пробудился интересъ къ греческой философіи, оказалось, что я достаточно подготовленъ къ тому, чтобы читать Платона и Аристотеля по гречески (конечно, съ помощью „нѣмца“ въ трудныхъ мѣстахъ), а по-латыни читалъ даже совсѣмъ свободно. И это несмотря на то, что Емельянъ Ивановичъ „не спрашивалъ грамматики.“ Явное доказательство того, до чего ходячее въ то время увлеченіе ею было преувеличено. Но все таки и безъ грамматики чтеніе классиковъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно производилось у насъ, было занятіемъ довольно-таки никчемнымъ: *смыслъ* прочитаннаго все-таки пропускался. И это не потому, чтобы этого хотѣлъ Емельянъ Ивановичъ. Но задача — проникнуть въ смыслъ древней литературы была не по силамъ ни ему, ни кому либо вообще изъ тѣхъ *среднихъ* педагоговъ, которые въ гимназіяхъ составляютъ подавляющее большинство. Все, что онъ могъ дать, онъ

далъ, — умѣнье переводить классиковъ и даже читать довольно свободно. Но какая уйма времени тратилась въ тогдашней классической гимназiи, чтобы достигнуть только этого. Я не только не сомнѣваюсь въ томъ, что можно добиться тѣхъ же результатовъ въ гораздо меньшій срокъ, я имѣю на это наглядное доказательство.

Перейдя въ VI классъ гимназiи, я заболѣлъ серьезно кровохарканiемъ; и родители мои, опасаясь чахотки, взяли меня домой на отдыхъ, намѣреваясь оставить меня на второй годъ: поэтому учителей для меня они не пригласили. Но мысль объ оставленiи на второй годъ настолько мнѣ претила, что я сталъ заниматься, дѣлая всѣ тѣ приготовленiя, которыя задавались въ классѣ моему брату. На весь гимназическiй курсъ я тратилъ *ровно три часа въ день*, переводилъ самостоятельно и даже письменно всѣхъ классиковъ, которые читались въ моемъ классѣ. Товарищи, поддерживавшіе со мною отношенiя черезъ брата, даже пользовались моими переводами. Въ результатѣ мои занятiя сократились на цѣлыхъ *пять часовъ*, такъ какъ обыкновенно ученикъ просиживаетъ пять часовъ въ классѣ, а затѣмъ еще часа три готовить уроки. И въ концѣ концовъ весною 1879 года я выдержалъ экзамень въ седьмой классъ на однѣхъ пятеркахъ. Останься я въ гимназiи, я былъ бы подготовленъ куда хуже, въ виду гимназическаго обычая — работать по древнимъ языкамъ несамостоятельно!

Главная масса времени тратилась совершенно непроизводительно на древніе языки; прочіе предметы были въ загонѣ, а между тѣмъ многіе другіе предметы давали для развитiя значительно больше, особенно когда учителя были съ огонькомъ.

Я упомянулъ здѣсь имя протоіерея А. И. Ростиславова. Это былъ человекъ, который дѣйствительно дѣлалъ свое дѣло съ любовью и увлеченьемъ, необыкновенно талантливо и живо рассказывалъ, въ особенности церковную исторію, въ которой былъ весь-

ма начитанъ. Къ сожалѣнію, я не извлекъ изъ его уроковъ всего, что могъ, потому что въ VI и VII классѣ продѣлывалъ мой нигилистическій періодъ, который въ VIII классѣ закончился. Но все-таки я достаточно его слушалъ, чтобы имѣть возможность оцѣнить рѣдкую свѣжесть ума и горячность души этого человѣка, всегда воодушевлявшагося разговоромъ, сколько бы разъ не приходилось рассказывать. И этимъ онъ увлекалъ классъ. Съ учениками у него также нерѣдко устанавливались сердечныя отношенія, тѣмъ болѣе, что онъ былъ любимый духовникъ тѣхъ, которые сохранили вѣру. Въ этомъ качествѣ я узналъ его ближе, когда я возвратился къ вѣрѣ. Наши отношенія продолжались даже по окончаніи университетскаго курса. Уже въ то время, когда, будучи кандидатомъ правъ, я отбывалъ воинскую повинность далеко отъ Калуги за городомъ, я былъ несказанно тронутъ посѣщеніемъ батюшки Ростиславова, который пришелъ туда навѣстить меня пѣшкомъ.

Вспоминая калужскую гимназію на разстояніи сорока съ лишнимъ лѣтъ, я вообще удивляюсь тому, какія силы были у насъ тогда въ захолустной провинціальной школѣ. Былъ у насъ тамъ, на примѣръ, совсѣмъ не заурядный учитель русскаго языка — Владиміръ Алексѣевичъ Яковлевъ, который преподавалъ намъ исторію словесности въ пятомъ классѣ. Онъ далъ намъ всѣмъ, а въ частности мнѣ — сильный толчокъ ко вдумчивому чтенію русскихъ поэтовъ. А его бесѣды въ классѣ по поводу нашихъ русскихъ сочиненій болѣе, чѣмъ какіе-либо другіе уроки, двигали наше умственное развитіе. Онъ имѣлъ обыкновеніе заставлятъ прочитывать вслухъ какое-либо одно изъ написанныхъ на заданную тему сочиненій, сопровождая чтеніе разборомъ, за которымъ съ живымъ интересомъ слѣдилъ весь классъ, послѣ чего дѣлалъ замѣчанія о каждомъ изъ нашихъ сочиненій въ отдѣльности. Мы всѣ очень многому научились изъ этихъ замѣчаній относительно того, какъ надо и какъ не надо

писать. А ожиданіе, что сочиненіе можетъ быть прочитано вслухъ передъ классомъ, вызывало соревнованіе и побуждало къ удвоенному старанію. Всякому хотѣлось „не ударить лицомъ въ грязь передъ классомъ“; чтеніе сочиненій ожидалось съ волненіемъ, тѣмъ болѣе, что замѣчаніямъ Владиміра Алексѣевича всѣ очень вѣрили.

Къ сожалѣнію, не везло въ то время выдающимся людямъ въ педагогической средѣ. Чиновниковатый директоръ, привыкшій царствовать въ педагогическомъ совѣтѣ гимназіи, не любилъ Яковлева за самостоятельность, а подчасъ и рѣзкость сужденій и жаловался на него начальству. Начальство „для блага службы“ перевело Яковлева въ какой-то уѣздный городъ, а онъ „для блага службы“ подалъ въ отставку. Для насъ это была невознаградимая потеря, и три старшихъ класса послали Яковлеву прочувствованный адресъ. Ему же эта отставка послужила на пользу: она ускорила его приготовленіе къ магистерскому экзамену, которое раньше откладывалось имъ въ долгій ящикъ; въ непродолжительномъ времени онъ занялъ кафедру въ одномъ изъ нашихъ южныхъ университетовъ, кажется, въ Новороссійскомъ. Не поладилъ съ начальствомъ и былъ переведенъ въ уѣздное захолустье и любимый нами Городскій. Но это случилось уже по выходѣ нашемъ изъ гимназіи.

Преподаваніе математики въ Калужской гимназіи также было поставлено очень хорошо. Въ нашемъ классѣ былъ превосходный и очень знающій преподаватель — математикъ, полякъ — Юліанъ Станиславовичъ Козляновскій, умѣвшій заставлять насъ работать. Такіе преподаватели, какъ онъ, Яковлевъ и Ростиславовъ, — сдѣлали бы честь любой гимназіи. Если эти люди не дали намъ всего, что по своимъ личнымъ качествамъ они могли бы дать, — виноваты въ этомъ не они, а тѣ общія условія русской школы и русской жизни, которыя парализовали ихъ усилія, а Яковлева прямо — таки вышвырнули за бортъ. Но прежде, чѣмъ

перейти къ этимъ общимъ условіямъ, я долженъ дать здѣсь еще одну характеристику.

Во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ мы такъ или иначе, съ грѣхомъ пополамъ, учились. Но былъ одинъ предметъ, по которому мы, начиная съ V-го, по VIII-ой классъ рѣшительно ничего не дѣлали.

Это былъ французскій языкъ. У насъ не было обычая даже брать съ собой французскія учебныя книги въ классъ. Никто никогда не зналъ даже, что намъ задано: я даже не помню, задавались ли намъ когда-нибудь какія-либо приготовленія по французскому языку. Это было возможно частью благодаря своеобразному отношенію толстовской гимназіи къ новымъ языкамъ, частью же благодаря личности преподавателя. Федоръ Федоровичъ Бидо, такъ звали нашего швейцарца учителя, не любилъ занятій, и весь урокъ его сводился къ разговорамъ съ нами. „Я нахожу, что съ молодежью надо быть снисходительно“, говаривалъ онъ въ оправданіе своего образа дѣйствій. И урокъ превращался въ балаганъ, несмотря на почтенный видъ старца преподавателя. Когда мы у него лежали въ классѣ, онъ предлагалъ подушку: „monsieur, voulez vous un coussin?“ Доходило до того, что къ нему являлись въ классъ съ намалеванными на мундирѣ орденами. Когда же безобразіе становилось слишкомъ шумнымъ, онъ говорилъ: „тише, господа, сейчасъ инспекторъ придетъ“.

Однажды на его урокѣ случился анекдотъ, ярко характеризующій бытъ тогдашней провинціальной гимназіи. Братъ мой, любившій балагурить, завелъ съ Бидо разговоръ о Швейцаріи „зачѣмъ у васъ тамъ, Федоръ Федоровичъ, Монбланъ стоитъ, только дорогу преграждаетъ: никому отъ него ни прохода, ни проѣзда, вѣдь это безпорядокъ! Вотъ до чего доводитъ республиканскій образъ правленія. То-ли дѣло у насъ: кабы завелся въ Россіи гдѣ-либо эдакій Монбланъ, тотчасъ исправникъ, либо губернаторъ распорядился бы убрать его прочь съ дороги: и ни-

какого Монблана бы не было“. Федоръ Федоровичъ заступился за свою родину: „нитшево ви не понимайтъ, у насъ порядокъ больши Вашъ“. Мы, разумѣется, тотчасъ забыли объ этомъ разговорѣ въ числѣ множества другихъ, ему подобныхъ, если бы не разыгравшееся по его поводу „событіе“. На слѣдующій урокъ Бидо пришелъ мрачный и гнѣвно потребовалъ книгъ для занятій. „Что Вы, Федоръ Федоровичъ“, отвѣчали мы ему, „вѣдь книгъ у насъ который годъ въ заводѣ нѣтъ; да что же случилось, наконецъ?“ „Случилось то, — что послѣ прошлаго урока наши отношенія должны рѣзко измѣниться. Въ первый разъ въ жизни я на старости лѣтъ подвергся изъза Васъ выговору. Нѣтъ, я больше не могу имѣть къ Вамъ довѣрія.“ И Бидо разсказалъ, въ чемъ дѣло. Оказалось, что кто-то изъ родителей, услышавъ о происходившемъ у насъ въ классѣ разговорѣ, пожаловался директору. Директоръ вызвалъ старика и сдѣлалъ ему форменный разносъ. „Я понимаю“ — сказалъ онъ, „что Вы, какъ швейцарскій гражданинъ, можете держаться республиканскаго образа мыслей; но до свѣдѣнія моего дошло, что Вы ведете съ учениками въ классѣ недопустимыя бесѣды о преимуществахъ республики передъ монархіей. Я рѣшительно предлагаю Вамъ впредь воздерживаться отъ политическихъ разговоровъ въ классѣ.“ Инцидентъ окончился извиненіями съ нашей стороны, послѣ чего мы поднесли Бидо прочувствованный адресъ на французскомъ языкѣ. Старикъ былъ окончательно растроганъ и оставилъ мысль о „занятіяхъ“. Разговоры продолжались въ прежнемъ видѣ, но только о Монбланѣ и о Швейцаріи мы говорить избѣгали. Однако, впоследствии уже по окончаніи гимназіи карьера Бидо окончилась неблагополучно. Кто-то донесъ о томъ, какъ онъ „занимается“ съ учениками, и его „убрали“ въ какой-то уѣздный городъ. Изъ трехъ случаевъ примѣненія этой кары къ моимъ учителямъ это былъ единственный не совсѣмъ несправедливый.

Полицейское направленіе, характеризовавшее русскую школу и всю дѣятельность министерства народнаго просвѣщенія, ярко сказалось въ этомъ эпизодѣ. Въ Калугѣ оно вообще смягчалось провинціальнымъ благодушіемъ. Однако, и здѣсь полицейскій духъ иногда проявлялся въ отталкивающихъ формахъ. Практиковался у насъ, на примѣръ, такъ называемый „внѣшкольный надзоръ надъ учащимися“. Онъ возлагался на надзирателей гимназіи — людей безъ образованія и внушавшихъ въ общемъ мало уваженія учащимся. Ихъ умственный и нравственный уровень былъ невысокъ: иначе, конечно, и не могло быть въ виду грошоваго жалованія, которое они получали. Былъ, на примѣръ, надзиратель, извѣстный своимъ пристрастіемъ къ спиртнымъ напиткамъ. Если ему случалось уличить гимназиста въ посѣщеніи пивной, лучшей способъ избѣжать отвѣтственности заключался въ томъ, чтобы его самого завлечь въ пивную и тамъ поднести ему стаканчикъ — другой. Тогда онъ, разумѣется, *не доносилъ*. Посылались эти господа каждый вечеръ въ мѣста, наиболѣе посѣщаемыя гимназистами — зимою въ театръ, а весною и осенью на бульваръ. А на другой день директоръ отчитывалъ или наказывалъ всѣхъ, замѣченныхъ въ безобразіяхъ, въ несоблюденіи формы, куреніи и т. п. гимназическихъ проступкахъ. Гимназисты знали, что это результатъ донесеній Михаила Петровича и издѣвались. Являлся, на примѣръ, гимназистъ на бульваръ нарочно съ огромнымъ турецкимъ чубукомъ. На другой день его вызывалъ директоръ и дѣлалъ замѣчаніе за недозволенное гимназисту „хождение съ тросточкой“. А гимназистъ уличалъ надзирателя во лжи, доказывая, что у него въ рукахъ была не тросточка, а купленный у военно-плѣннаго турка чубукъ. „Вотъ, молъ, какъ надзираетъ Михаилъ Петровичъ.“ Однажды, когда вслѣдствіе донесенія одному изъ товарищей серьезно попало, мы отправились всѣмъ классомъ „отчитывать Михаила Петровича“. Въ результатъ вышелъ инцидентъ, который врѣзался мнѣ

въ память, какъ яркая характеристика тогдашнихъ школьныхъ нравовъ.

Михаиль Петровичъ, когда мы его окружили и всѣмъ классомъ стали требовать объясненія, съ перепуга началъ кричать. Мы обидѣлись и тоже возвысили голосъ. Гимназисты младшихъ классовъ, не разобравъ, въ чемъ дѣло, подняли гамъ, явно сочувственный намъ, — что-то вродѣ кошачьяго концерта. Михайло Петровичъ побѣждалъ жаловаться начальству на насъ, а мы — на Михаила Петровича. Онъ обвинялъ насъ въ „бунтѣ“, мы — восьмиклассники — жаловались, что онъ „кричитъ на насъ, какъ на маленькихъ пригостишекъ“. Директоръ и инспекторъ не на шутку переполошились. Съ первыхъ же словъ намъ стало ясно, что директоръ заподозрилъ въ этомъ столкновении „политическую подкладку“. Онъ объявилъ намъ, что обо всемъ этомъ случаѣ онъ „доложитъ педагогическому совѣту“. Мы съ трудомъ удерживали улыбку, зная, что „педагогическій совѣтъ“ сводится къ волѣ директора. Къ счастью нашему инцидентъ совпалъ съ „диктатурою сердца“ Лорисъ-Меликова и съ управленіемъ либеральнаго министра А. А. Сабурова въ нашемъ министерствѣ. Директоръ счелъ нужнымъ показать „гуманное обращеніе“.

На другой день къ великой нашей радости урокъ физики былъ отмѣненъ. Директоръ объявилъ: „Совѣтъ всѣмъ вамъ сбавилъ по баллу за поведеніе“ и началъ длинное увѣщаніе не вѣрить тому, что пишутъ газеты: „вѣдь это же“, говорилъ онъ, „чисто денежная спекуляція, рассчитанная на легковѣріе молодежи. Вотъ вы, теперь на школьной скамьѣ, какого требуете себѣ почтенія, какъ щепетильны насчетъ вѣжливаго съ вами обращенія. А кончите курсъ, поступите на службу, — какими будете почтительными чиновниками“. Потомъ онъ взялъ тонъ сердечнаго о насъ попеченія. Такъ прошелъ часъ; мы молчали, не зная, чего онъ отъ насъ хочетъ. Вдругъ кто-то догадался. Раздался голосъ: „Благодаримъ Васъ, Петръ Сергѣевичъ“. Ди-

ректоръ просіялъ и сказалъ, что онъ со своей стороны „будеть ходатайствовать передъ Совѣтомъ о смягченіи намъ кары“. Съ этими словами онъ выбѣжалъ изъ класса и ровно черезъ пять минутъ вернулся съ извѣстіемъ: „Совѣтъ рѣшилъ не сбавлять вамъ балла за поведеніе“. Мы опять благодарили; и когда онъ ушелъ, послѣдовалъ единодушный взрывъ веселаго настроенія по поводу внезапнаго измѣненія настроенія совѣта.

Особенно остро съ полицейской точки зрѣнія стоялъ вопросъ о русскихъ сочиненіяхъ. Русское сочиненіе гимназиста въ то время было пробнымъ камнемъ благонадежности не только для него самого, но и для его учителя. Не у насъ въ гимназіи, а въ округѣ, по словамъ учителей, неоднократно повторялись случаи увольненія или перевода учителя за признакъ „вольнаго духа“ въ сочиненіяхъ его учениковъ. Опасность была велика, въ особенности въ виду неопредѣленности такихъ понятій, какъ „вольный духъ“ и „благонадежность“. Помнится, въ это самое время калужскій директоръ народныхъ училищъ нашелъ въ одной школѣ раскрашенныя картины съ изображеніемъ звѣрей и на этомъ основаніи заподозрилъ учителя въ „дарвинизмѣ“. Неудивительно, что учителя относились къ нашимъ сочиненіямъ съ нѣкоторымъ трепетомъ. Гимназисты, любившіе щеголять ученостью, охотно ссылались на Бокля, Спенсера и иныхъ болѣе или менѣе заподозрѣнныхъ писателей. Они не рѣшались ссылаться на Добролюбова и Писарева, которые были запрещены цензурою, изъ опасенія, что за это можно вылетѣть изъ гимназіи. Еще опаснѣе цитать были „мысли“. И вотъ, учителя жили въ вѣчномъ опасеніи, что пріѣдетъ окружной инспекторъ, потребуетъ ученическія тетрадки на прочтеніе и взыщетъ за „мысли“ не съ авторовъ, а съ ихъ наставниковъ. Мы — гимназисты — прекрасно это понимали и издѣвались надъ нелюбимыми учителями.

Какъ разъ послѣ удаленія любимаго всѣми Яко-

влева, преподаваніе русскаго языка перешло въ руки неспособному, неумному и вдобавокъ несимпатичному преподавателю изъ семинаровъ, А. Н. Троицкому, который раздражалъ насъ тѣмъ, что задавалъ темы, частью прописныя, вродѣ „Не все то золото, что блеститъ“, частью глупыя („Былъ ли Гомеръ слѣпъ“? и „Почему греки представляли его слѣпымъ“?), частью фарисейскія, напр. „О вредѣ готовыхъ переводовъ при приготовленіи уроковъ по древнимъ языкамъ“. Особенно возмутила насъ послѣдняя тема, вынуждавшая кривить душой. Между нами почти не было такихъ, которые бы не воспользовались готовымъ переводомъ при возможности это сдѣлать. Я пробовалъ объясниться съ учителемъ, но только вызвалъ этимъ рѣзкости съ его стороны. Тогда я и нѣкоторые другіе товарищи стали мстить и издѣваться. Одни задавались вопросомъ, какъ можно рѣшить, былъ ли Гомеръ слѣпъ, когда неизвѣстно, существовалъ ли онъ въ дѣйствительности. Другіе по вопросу о готовыхъ переводахъ доказывали, что они „вредны для глазъ“, такъ какъ обыкновенно напечатаны мелкимъ шрифтомъ, третьи, и я въ томъ числѣ, работая на тему „не ропщите“, доказывали, что ропоть полезенъ, ибо онъ служитъ „факторомъ прогресса“. Для вразумленія я ссылался на Сабурова и Лорисъ-Меликова, которые даютъ просторъ „свободному выраженію общественнаго мнѣнія“.

Учитель не на шутку испугался. Когда пришло время раздавать сочиненія и разбирать ихъ — мое сочиненіе не было выдано мнѣ обратно. Я былъ очень разочарованъ, т. к. ждалъ разбора, какъ случая поглумиться. На мой вопросъ, гдѣ сочиненіе, я получилъ отвѣтъ: „спросите директора“. До этого дѣло не дошло, потому что самъ директоръ вызвалъ меня въ свой кабинетъ и распустилъ, какъ слѣдуетъ. Какъ умный человѣкъ, онъ, впрочемъ, понялъ, въ чемъ дѣло. Но въ послѣдующее время онъ опасался моихъ выходовъ. Передъ экзаменомъ зрѣлости онъ специально прислалъ мнѣ сказать, чтобы я ничего „эдакаго“ въ

сочиненіи не писалъ, а то попадетъ мнѣ за это въ округъ. А по окончаніи экзамена, когда мы съ братомъ уже студентами были у директора съ визитомъ, онъ разоткровенничался. — „Вотъ вамъ ваше сочиненіе на память. А Сабуровъ-то, Сабуровъ-то вашъ въ отставку вылетѣлъ. Признайтесь, пустой былъ человѣкъ. Вотъ, Александръ Николаевичъ Троицкій, когда вы, бывало, напишете такое сочиненіе, прибѣжить ко мнѣ разстроенный и спрашиваетъ: „что мнѣ дѣлать? Что мнѣ теперь дѣлать?“ А я ему въ отвѣтъ: „отдайте его мнѣ“. — Ну вотъ, получите Ваше произведеніе обратно“.

Надо сказать, что въ эпоху Сабурова и Лорисъ-Меликова задача нашей школьной администраціи была спеціально трудная. Она не могла повѣрить, что „критерія благонадежности“ для оцѣнки учителей и учениковъ больше не существуетъ, но чувствовала, что этотъ критерій въ чемъ-то измѣнился. Какъ, въ какомъ направленіи, на долго ли, — все это было неясно, и гимназическое начальство въ тревогѣ заметалось. Ранѣе того, при Толстомъ, все было просто и ясно. Латинская грамматика, на примѣръ, признавалась предметомъ „благонадежнымъ“. Одинъ изъ классныхъ наставниковъ Калужской гимназіи въ исполненіе возложенной на него по должности обязанности — составлять характеристики своихъ учениковъ, писалъ между прочимъ: *„ученикъ VII-го класса Л. держится либеральнаго образа мыслей, что видно изъ того, что онъ явно пренебрегаетъ латинской грамматикой“*. И вдругъ, при Сабуровѣ начальство стало требовать, чтобы при чтеніи классиковъ обращали вниманіе болѣе на смыслъ, чѣмъ на букву. Тутъ было отчего растеряться бѣдному учителю, тѣмъ болѣе, что будущее было неясно. Вотъ теперь при Сабуровѣ—либеральное направленіе. А что будетъ дальше при слѣдующемъ министрѣ? Поблагодарить-ли онъ насъ, если мы теперь запустимъ грамматику? Для средняго, рутиннаго педагога отставка Сабурова была большимъ облегченіемъ. Но окончательно успокоился онъ только

по назначеніи въ министры Делянова. Тогда всѣмъ стало ясно, что теперь — „все пойдетъ по старому“.

V. Нигилистическій періодъ. Калуга въ семидесятихъ годахъ.

Фальшь толстовской гимназіи давала себя опредѣленно чувствовать въ Калугѣ, какъ и въ Москвѣ. И чѣмъ лучше были отдѣльныя лица изъ педагогическаго персонала, съ которыми мы соприкасались, тѣмъ яснѣе становилось для насъ — учениковъ старшихъ классовъ — зло той системы, которой должны были такъ или иначе подчиняться даже лучшія лица. Ея полицейскій духъ, которому приносились въ жертву интересы преподаванія, былъ для насъ совершенно очевиденъ. Такой фактъ, какъ увольненіе лучшаго преподавателя — Яковлева — именно за то, что онъ былъ живой человѣкъ, а не чиновникъ, не могъ не произвести на насъ сильнаго впечатлѣнія. Да что говорить объ отдѣльномъ учителѣ, когда въ то время вся *русская литература* была подъ подозрѣніемъ. Съ одной стороны, изученіе этой литературы доводилось только до *Гоголя*! Даже на изученіе Лермонтова при восьмилѣтнемъ гимназическомъ курсѣ „не хватало времени“. А съ другой стороны, цѣлая уйма времени убивалась на совершенно безплодное и бессмысленное чтеніе классиковъ. Почему и зачѣмъ? Въ VII-мъ и VIII-мъ классѣ мы были убѣждены, что это дѣлалось *нарочно*, чтобы отвлечь насъ отъ окружающей жизни, отъ политики, отъ модныхъ въ то время естественныхъ наукъ. Мы видѣли ясно, что не сами по себѣ классики дороги высшему начальству, что они въ его рукахъ — *только орудіе полицейскихъ цѣлей*.

Нужно ли удивляться, что при этихъ условіяхъ отъ насъ ускользнуло и то доброе, что было въ классицизмѣ? Мы относились къ нему огульно отрицатель-

но; мы перенесли на него все то недовѣріе и ненависть, которая внушала намъ толстовская система.

Презрѣніе къ гимназіи, господствовавшее среди наиболѣе развитыхъ учениковъ, поддерживалось фактами, повседневно наблюдаемыми. Прежде всего, насъ не могъ не поразить необыкновенно низкій уровень развитія первыхъ учениковъ гимназіи — тѣхъ, что попадали на „золотую доску“. Многие изъ нихъ были круглыми невѣждами: при умѣнии безукоризненно правильно писать *mensam* по-латыни и по-гречески, они часто не имѣли понятія о Лермонтовѣ, Тургеневѣ, Гончаровѣ, не говоря уже о Толстомъ и Достоевскомъ: встрѣчались между ними совершенные тупицы, которые и о Пушкинѣ, и о Гоголѣ имѣли понятіе лишь въ предѣлахъ требованій гимназическаго курса. Насъ не могъ не поразить тотъ фактъ, что, переходя изъ гимназіи въ университетъ, товарищи наши подвергались полной переоцѣнкѣ: первые оказывались послѣдними, а послѣдніе первыми. Окончившіе съ золотою медалью гимназію къ величайшему своему изумленію потомъ проваливались на университетскихъ экзаменахъ и горько жаловались на „несправедливость профессора“.

Все это не могло не укрѣпить насъ въ убѣжденіи, что гимназическое ученіе — бесплодное толченіе воды, что преподается намъ наука неподлинная, ненастоящая, и что истинное знаніе есть именно то, которое въ гимназіи или не преподается вовсе или является въ ней запретнымъ плодомъ. Результаты толстовской гимназіи были прямо противоположны тѣмъ, коихъ она добивалась. Если бы естественныя науки не подвергались гоненію въ средней школѣ, онѣ, разумѣется, не пользовались бы тамъ и малой долей той популярности, какою онѣ пользовались.

Будучи гимназистами VI-го класса, мы были убѣждены, что *истинная наука* — только естествознаніе. Разумѣется, тутъ происходило полное смѣшеніе положительной науки съ философіей; мыслящіе ученики старшихъ классовъ гимназіи думали, что только путемъ

изученія естественныхъ наукъ можно составить себѣ научное міросозерцаніе.

Помню, какъ мы съ братомъ увлекались попыткой Бокля преобразовать исторію путемъ внесенія въ нее методовъ естественно-научнаго изслѣдованія. Мы зачитывались Дарвиномъ и Спенсеромъ, пытались ознакомиться съ анатоміей человѣческаго тѣла по купленному братомъ анатомическому атласу. Помнится, моя мать, съ тревогою слѣдившая за нашими умствованіями, внушала намъ мысль, что нехорошо жить однимъ умомъ, надо жить больше *сердцемъ*, на что мой братъ отвѣчалъ: „что такое сердце, мама: это полый мускуль, разгоняющій кровь внизъ и вверхъ по тѣлу“.

Предшествовавшее намъ поколѣніе увлекалось матеріализмомъ Бюхнера, а изъ отечественныхъ „авторитетовъ“ зачитывалось запрещенными въ то время произведеніями Добролюбова и Писарева. Я засталъ только остатки этого увлеченія, коего ни я, ни братъ мой совершенно не переживали. Въ то время вульгарный матеріализмъ былъ выгѣсненъ позитивизмомъ Конта и Милля, съ которыми мы познакомились по изложенію Милля и Льюиса уже въ VI-мъ классѣ. Но различіе это было въ сущности шатко. Помнится, я съ одной стороны усвоилъ себѣ Кантовское ученіе о непознаваемой „сущности вещей“, а съ другой стороны увлекался ученіемъ Спенсера, у котораго „позитивизмъ“ совмѣщался съ полу-матеріалистическимъ ученіемъ о сущности существующаго и, въ частности, съ матеріалистическимъ ученіемъ о превращеніи физической энергіи въ мысль. Въ VI классѣ мальчиками пятнадцати-шестнадцати лѣтъ мы опредѣленно исповѣдовали позитивизмъ спенсеровскаго типа.

Это было, разумѣется, полный разрывъ со всѣмъ, что считалось у насъ „казенщиной“ и, стало быть, не съ одной только гимназической наукой. Гимназія подготовила этотъ кризисъ, воспитавъ въ насъ систематически недовѣріе ко всему, что преподавалось намъ съ малолѣтства. Ея пустая отвлечен-

ность, обрекавшая мысль на полную безсодержательность, и въ особенности ея полицейскій духъ подготовили почву для этого „нигилистическаго“ настроенія. Но одной гимназіей его, разумѣется, объяснить нельзя. Въ эпидемическомъ безвѣріи тогдашней мыслящей молодежи отражалось дѣйствіе не только обще-русскихъ, но и обще-міровыхъ причинъ. Помнится, первыя сомнѣнія въ вѣрѣ возникли у меня очень рано, уже четырнадцати лѣтъ, подъ вліяніемъ чтенія Бѣлинскаго, коимъ я увлекался уже въ V-мъ классѣ гимназіи. Въ ту пору сомнѣнія меня волновали, особенно въ безсонныя ночи, когда мысль о томъ, что нѣтъ Бога, повергала меня въ трепетъ и заставляла дрожать въ моей постели. Потомъ уже въ VI классѣ, когда я попалъ на Бокля, Милля, Спенсера, переходъ къ безвѣрію совершился внезапно и *въ ту минуту*, казалось, необыкновенно легко. Разумѣется, эта кажущаяся *легкость* объясняется тѣмъ, что болѣзненные ощущенія были испытаны гораздо раньше, и на самомъ дѣлѣ вѣра была подточена уже давно! Помнится, въ послѣднюю минуту особенно сильнае впечатлѣніе произвелъ на меня *тонъ* увлекавшихъ меня писателей, которые рассматривали религію, какъ что-то давно поконченное, близкое къ суевѣрію или какъ пережитокъ отсталаго способа мышленія „теологическаго періода“.

Боязнь „быть отсталымъ“ и преувеличенное преклоненіе передъ „послѣднимъ словомъ науки“ вообще характерное свойство очень юныхъ некритическихъ умовъ. Подъ этой маской скрывается, въ дѣйствительности, рабская зависимость молодого ума отъ того авторитета, чье слово признается „послѣднимъ“. Въ мое время юный студентъ, писавшій рефератъ о Контѣ, обрушивался противъ своего оппонента и взывалъ къ профессору: „господинъ профессоръ, уймите эгого господина, что онъ противъ Конта мнѣ говоритъ“. А будучи уже профессоромъ, когда мнѣ приходилось на семинаріяхъ возражать противъ высшаго въ то время студенческаго авторитета — Карла Маркса, мнѣ

приходилось встрѣчаться съ юными первокурсниками, которые со снисходительной улыбкой замѣчали: „вѣдь Марксъ, г. профессоръ, — послѣднее слово науки“. „Почему вы знаете, что не предпослѣднее“, спрашивалъ я обыкновенно въ этихъ случаяхъ.

Въ юномъ возрастѣ, сколько я замѣчалъ, этотъ послѣдній доводъ сильно дѣйствуетъ. Кто пережилъ не одно, а хотя бы два-три „послѣднихъ слова“, для того уже нѣтъ незыблемыхъ авторитетовъ: онъ утрачиваетъ вѣру въ „послѣднія слова“ вообще и начинаетъ оцѣнивать человѣческія мысли по существу, независимо отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ онѣ были высказаны. Для меня и брата моего Сергѣя эта грань наступила очень рано, еще въ гимназіи, когда мы принялись за серьезное изученіе философіи и въ особенности—исторіи философіи.

Собственно позитивный періодъ нашъ продолжался только въ VI-мъ и лишь частью въ VII мъ классѣ, гдѣ мы окончательно въ немъ разочаровались. Но объ этомъ я расскажу въ дальнѣйшемъ. Необходимо сначала остановиться на обстановкѣ, въ которой происходило все это философствованіе. Я сохранилъ весьма благодарное воспоминаніе о Калугѣ, гдѣ мнѣ пришлось провести мои юные годы—четыре года въ гимназіи и каникулярные мѣсяцы за всѣ университетскіе годы. Это одинъ изъ небольшихъ, но за то одинъ изъ самыхъ очаровательныхъ русскихъ губернскихъ городовъ, какіе я знаю. Трудно себѣ представить болѣе подходящее мѣсто для спокойной, сосредоточенной умственной работы. Въ Москвѣ уже въ отроческіе годы въ нашъ умственный міръ врывалась пестрая масса внѣшнихъ впечатлѣній. Были среди этихъ внѣшнихъ впечатлѣній такія, которыя оплодотворяли и окрыляли душу, напримѣръ, музыкальныя воспріятія, о которыхъ я уже говорилъ. Но за то въ московской жизни было чрезвычайно много такого, что разсѣивало умъ; тамъ куда труднѣе сосредоточивать свои мысли. Изъ калужской гимназіи мы, оба брата, вышли съ продуман-

нымъ, вполнѣ опредѣленнымъ міросозерцаніемъ. Въ главномъ и основномъ оно съ тѣхъ поръ не мѣнялось. Я сильно сомнѣваюсь, чтобы въ Москвѣ этотъ процессъ самоопредѣленія мысли могъ завершиться такъ быстро.

При обиліи московскихъ развлеченій трудно было бы найти время и для тѣхъ значительныхъ *познаній* по исторіи философіи, которыя мы пріобрѣли въ Калугѣ за гимназическіе годы. Въ Калугѣ все располагало ко внутренней работѣ мысли: съ одной стороны — скудость внѣшнихъ развлеченій жизни городской, а съ другой стороны, тѣ дивныя красоты русской природы, которыми мы были окружены.

Калуга—городъ настолько маленькій, что въ ней есть мѣста, откуда деревня видна со всѣхъ четырехъ концовъ. Плохенькій театръ, въ которомъ мы почти не бывали, потому что послѣ Московскаго Малаго театра чувствовали, насколько въ немъ неважно играютъ, — вотъ почти все, что давалъ этотъ городъ по части „художественныхъ наслажденій“. Раза три за наше пребываніе пріѣзжалъ концертировать Рубинштейнъ — по приглашенію моего отца, съ которымъ онъ былъ друженъ. Рѣдко, рѣдко, тоже по приглашенію отца, пріѣзжали давать концерты профессора Московской Консерваторіи, — Гржимали, Пабстъ, Фитценгагенъ. Пріѣзды эти были для насъ сущими праздниками и оставляли впечатлѣніе тѣмъ болѣе глубокое, что они были рѣдки. Зато въ остальное будничное время умственная жизнь должна была питаться изнутри, а не извнѣ. Тутъ не было выбора: или самоуглубленіе, полный уходъ изъ окружающаго міра въ мысль, или мертвящая скука, отъ которой дѣваться некуда.

Въ такомъ маленькомъ городѣ знаешь почти всякаго жителя, почти всякаго прохожаго на улицѣ; знаешь кого, гдѣ и въ какой часъ встрѣтишь и кто что скажетъ.

Дни тянутся сѣрой, однообразной чередой, почти не отличаясь другъ отъ друга. Поэтому на разстоя-

ни многихъ лѣтъ отдѣльные годы какъ-то сливаются въ одну сѣрую неразличимую массу, такъ что порой трудно бываетъ вспомнить, что случилось раньше и что позже: точная хронологія возможна лишь по отношенію къ сравнительно немногимъ яркимъ событіямъ внѣшней и въ особенности внутренней жизни.

Есть въ провинціи лица, которыя какъ бы всѣмъ существомъ своимъ олицетворяютъ этотъ безпросвѣтный сѣрый фонъ губернской жизни. Вотъ, на примѣръ, старичекъ Владиміръ Степановичъ, нашъ другъ, часто посѣщавшій насъ по вечерамъ, отъ котораго такъ и вѣетъ добротой и скукой. Для меня онъ остается на всю жизнь классическимъ образцомъ жизни безъ событій. Весь разговоръ его либо осужденіе настоящаго съ его нигилизмомъ, дарвинизмомъ и прочими „измами“, либо напряженная, съ трудомъ дающаяся попытка вспомнить прошлое, въ которомъ вспомнить нечего. Рассказываетъ онъ, на примѣръ, безъ конца, какъ однажды у него въ горлѣ першило: „случается эдакъ, иногда въ горлѣ чешется и отъ этого кашель бываетъ. — Позвольте, въ какомъ это было году — въ семидесятомъ, нѣтъ, виновать, въ шестьдесятъ девятомъ“, — старикъ начинаетъ старательно припоминать, въ которомъ именно году по пути въ Калугу его продулъ вѣтеръ, и у него стало першить въ горлѣ. Молодежь, его слушая, бывало, кусаетъ губы, чтобы не расхохотаться, и начинаетъ самый изводящій для него разговоръ о Дарвинѣ. „А вотъ, Владиміръ Степановичъ, Дарвинъ то говоритъ, что котъ произошелъ отъ медвѣдя“. Владиміръ Степановичъ оживляется, начинаетъ поносить Дарвина, вскакиваетъ и бѣгаетъ по комнатѣ, комически подражая плавающимъ движеніямъ бѣлаго медвѣдя, чтобы доказать всю невозможность превращенія медвѣдя въ кота. А мы потѣшаемся и дразненія ради пугаемъ старика нашими познаніями въ области ученія „о происхожденіи челоуѣка отъ обезьяны“. Владиміръ Степановичъ начинаетъ раздражаться, но черезъ день-другой опять

заходить вечеромъ, чтобы опять начать разговоръ о томъ, что было въ семидесятомъ, нѣтъ, позвольте, въ семьдесятъ первомъ году, а мы опять шпигуемъ его Дарвиномъ. При всемъ томъ мы любимъ старика и чувствуемъ, что онъ также насъ любитъ.

Поразительная черта, общая большинству нашихъ калужскихъ старыхъ друзей, это — отсутствіе настоящаго и связанная съ этимъ склонность жить въ прошломъ. Въ прошломъ жила посѣщавшая насъ старая дѣва Софья Семеновна, которая мечтала о тѣхъ дняхъ, когда она была молода, красива и выѣзжала одинъ годъ въ Петербургъ въ свѣтъ, чтобы потомъ на всю жизнь окунуться въ безпредѣльную скуку провинціи съ неудовлетворенной мечтой о любви и счастьи. „Сорокъ пять лѣтъ огонь неугасимый горитъ въ груди“, говорила она о себѣ. „Да, вамъ, мужчинамъ, хорошо, оттого что самъ Богъ былъ мужчина“. Когда, однажды, кто то во время великаго поста вспомнилъ при ней извѣстную великопостную молитву: „духъ же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любви даруй ми“, Софья Семеновна вдругъ вскипѣла: „ахъ, не напоминайте мнѣ про цѣломудріе, сорокъ пять лѣтъ этимъ страдаю“. И вокругъ Софьи Семеновны все напоминало о какомъ-то широкомъ размахѣ жизни въ прошломъ. Жила она въ старинномъ барскомъ домѣ, гдѣ былъ великолѣпный залъ съ хорами для музыки — остатокъ той крѣпостной эпохи, когда дворянство въ Калугѣ задавало пиры и балы. Въ этомъ великолѣпномъ домѣ Софья Семеновна коротала дни съ разорившимся старикомъ-отцемъ и съ необыкновенно глупой теткой, которую она стихійно ненавидѣла.

Прошлымъ жилъ и старѣющей сѣдой красавецъ Тургеневскаго типа, Николай Сергѣевичъ, когда-то блестящій кавалеръ и сердцеѣдъ, либераль сороковыхъ годовъ съ воспоминаніемъ о томъ, кажется, единственномъ моментѣ въ его жизни, когда онъ въ качествѣ петрашевца „пострадалъ за убѣжденія“, былъ приговоренъ къ смертной казни, но помилованъ и

отданъ въ солдаты, послѣ чего выслужилъ Георгія и получилъ полное прощеніе. Помню девяностолѣтняго старика Семена Яковлевича, олицетворенное воспоминаніе о двѣнадцатомъ и четырнадцатомъ годѣ, о походѣ въ Парижъ и объ Александрѣ Первомъ.

Помню двухъ древнихъ старухъ, къ коимъ насъ посылали дважды въ годъ съ визитами на Рождество и Пасху. Онѣ тоже „вспоминали“ про двѣнадцатый годъ, явно путая лицъ и поколѣнія: „Помните ли вы, мой дорогой, какъ мы съ вами въ двѣнадцатомъ году отъ французовъ въ телѣгѣ спасались“, говорила старуха посетителю на Новый Годъ. „Извините, Вы смѣшиваете“ — отвѣчалъ онъ, — „это было съ моимъ дѣдомъ!“ Калуга въ мои юные годы была какимъ то живымъ архивомъ, точнѣе говоря, собраніемъ людей, сданныхъ въ архивъ. Центромъ воспоминаній этихъ людей было ушедшее, канувшее въ вѣчность довольство барско-дворянской жизни.

Теперь уже почти нѣтъ въ Калугѣ этихъ вспоминающихъ людей, живущихъ блестящимъ дворянскимъ прошлымъ. О быломъ говорятъ уже не люди, а только камни и стѣны — уютные дома въ прекрасномъ стилѣ Empire, съ хорами, колоннами и чудно раскрашенными потолками. Не знаю, всѣ ли эти красоты уцѣлѣли послѣ пронесшагося надъ Калугой вихря революціи. Къ счастью, лучшее изъ художественныхъ красотъ калужскихъ домовъ было увѣковѣчено журналомъ „Старые годы“. Мнѣ же пришлось застать въ Калугѣ кое-какіе остатки той эпохи, когда стѣны еще гармонировали съ лицами. Въ дополненіе къ сказанному объ этой эпохѣ вспоминаю, что у насъ былъ исключительно старомодный губернаторъ. Испуганный „духомъ времени“, онъ въ каждой мысли подозрѣвалъ тотъ „духъ критики, который ведетъ къ нигилизму и социализму“. Всего новаго онъ боялся, какъ огня. Даже о произведеніяхъ Чайковскаго, въ частности о „Франческо-да Римини“, онъ при мнѣ однажды воскликнулъ: „да это — нигилизмъ въ музыкѣ“.

Былъ у насъ и архіерей, какихъ теперь нѣтъ — подвижникъ-монахъ святой жизни — человѣкъ совершенно древній по возрѣніямъ. Однажды архимандритъ, читавшій публичную лекцію о религіи, подвергъ ее цензурѣ владыки. Когда дошли до фразы — „а безъ религіи человѣкъ — скотина“, владыка сказалъ коротко и ясно: „еще хуже скотины“.

Раньше въ дѣтствѣ мнѣ приходилось сталкиваться со стариною въ Москвѣ. Но въ Москвѣ рядомъ съ этимъ чувствовалось могучее біеніе пульса недавно народившейся новой жизни. Такого сгущеннаго впечатлѣнія старины, замороженной и консервированной, какъ въ Калугѣ, я въ Москвѣ никогда не испытывалъ. Нельзя сказать, чтобы и въ Калугѣ эта старина была нетронута современностью. Нѣтъ, она была не только тронута, но сломлена и разбита жизнью. Но это были не мертвые обломки старины, а живописныя развалины, которыя *еще жили въ лицахъ*.

Былъ еще въ Калугѣ въ то время одинъ послѣдній остатокъ стараго размаха старинной барской жизни. За городомъ, въ сосѣдствѣ съ чудной Лавреньевской рощей изъ вѣковыхъ сосенъ стоитъ очаровательная усадьба Еmpire „Желѣзники“, гдѣ жила тогда старушка Делянова съ двумя дѣвцами — дочерьми, радушно принимавшая весь городъ и устраивавшая въ своемъ живописномъ домѣ любительскіе спектакли и балы, причемъ на хорахъ ея зала дѣйствительно гремѣла военная музыка. У меня отъ этихъ вечеровъ осталось воспоминаніе о безмятежно весело проведенныхъ часахъ, о танцахъ до поздней ночи и о возвращеніи домой послѣ ужина уже утромъ въ саняхъ, на тройкахъ, подъ радостный звукъ бубенчиковъ!

Въ общемъ же отъ калужской окружающей жизни у меня осталось впечатлѣніе не живого дѣйствія, а какого-то сна, частью пріятнаго и благодушнаго, но подчасъ томительно скучнаго. Скукой были пропитаны насквозь въ особенности мѣста общественныхъ увеселеній, — городской бульваръ и загородный садъ.

Сами по себѣ оба эти мѣста были прелестны — какъ бульваръ съ террасой и очаровательнымъ видомъ на Оку, такъ и загородный садъ съ его вѣковыми елями, расположенный на высокихъ холмахъ, откуда открывался видъ еще болѣе широкой, съ рѣкой Яченкой и дивнымъ сосновымъ боромъ. Скуку наводила не эта родная и безконечно милая природа, а гуляющая публика, являвшаяся въ нарядахъ „на музыку“ и чинно маршировавшая подъ звуки безконечно надоѣвшаго марша: за десять лѣтъ моего пребыванія въ Калугѣ никогда не мѣняли этотъ маршъ, исполнявшійся жиденькимъ струннымъ оркестромъ. Почти не мѣнялись и номера „блестящаго фейерверка“, который сжигался въ концѣ: римскія свѣчи назывались почему-то „дамскій капризъ или мемфеферы“. За „капризомъ“ слѣдовалъ „огненный рыцарь или орлеанская дѣва“. Иногда летѣлъ нагрѣтый спиртомъ аэростатъ со слономъ. Дама притворно-наивно спрашивала у устроителя, настоящій ли будетъ слонъ, и получала отвѣтъ: „нѣтъ-съ, но очень похожъ-съ“. Иногда же, когда публика выражала неудовольствіе, въ афишѣ слѣдующаго гулянья объявлялось: „все будетъ представлено въ наилучшемъ видѣ, чтобы оправдаться передъ почтеннѣйшей публикой, а также господъ пиротехниковъ“.

И лица, посѣщавшія эти гулянья, были всегда одни и тѣ же: одна и та же влюбленная парочка; одна и та же гимназистка, которая, проходя мимо меня, бросала короткую фразу: „парле, же ву земъ“, обиженный *прежній* антрепренеръ гуляній, собирающій клику гимназистовъ, чтобы освистать новаго антрепренера, и наконецъ — офицеръ, цѣлый вечеръ пьющій ягодныя воды, ухаживая за продавщицей, все это въ концѣ концовъ настолько пріѣдается отъ повторенія изъ года въ годъ, что перестаетъ смѣшить и развлекать. Все вмѣстѣ взятое, публика, маршъ, фейерверкъ — сливается въ впечатлѣніе безконечной пустоты, щемящей душу тоски, отъ которой дѣться некуда. И, однако, когда устанешь отъ занятій, волей не волей пойдешь на

бульваръ или въ садъ—искать человѣческаго общества и встрѣчаешь тамъ почти всѣхъ гимназическихъ товарищей, которые появлялись тамъ въ хорошіе весенніе, лѣтніе и осенніе дни. Бульваръ въ провинціи является, въ особенности весною, настоящимъ мѣстомъ духовнаго общенія учащихъ, въ особенности старшихъ возрастовъ. И это до нѣкоторой степени скрашиваетъ его скуку, особенно въ будни, когда нѣтъ гуляній. Во время экзаменовъ на бульваръ идутъ вечеромъ узнавать, кто выдержалъ и кто провалился на письменномъ экзаменѣ, въ полной увѣренности, что тамъ точно все извѣстно; на бульварѣ каждый узнаетъ послѣднюю интересующую его городскую сплетню, въ частности сплетню, касающуюся гимназическихъ учителей и начальства. Но зато на бульварѣ же завязываются и „умные разговоры“ между гимназистами. Тамъ поднимаются всѣ вопросы міросозерцанія; тамъ рѣшается вопросъ, — есть ли Богъ; тамъ разсуждаютъ и о томъ, есть ли цѣли въ жизни и для чего нужно жить. Одинъ говоритъ — для искусства, другой, прочитавшій „утилитаризмъ“ Милля, говоритъ — „для счастья“. Завязывается оживленный споръ на эту тему между шестиклассниками. Вдругъ раздается рядомъ протяжный зѣвокъ восьмиклассника Василя Ивановича, — *нигилиста*, который называетъ себя „человѣкомъ Базаровскаго типа“ и пользуется большимъ авторитетомъ среди товарищей. „Ну, опять о цѣляхъ заговорили“. И Василій Ивановичъ, грузно поднявшись, уходитъ. А шестиклассники сконфуженно умолкаютъ: они почувствовали, что разговоръ „о цѣляхъ жизни“ доказываетъ большую отсталость.

Разговоръ этотъ у насъ имѣлъ цѣлую исторію. Собираясь на бульварѣ, гимназисты трехъ старшихъ классовъ вздумали издавать журналъ „Гимназистъ“, который вышелъ всего въ двухъ номерахъ и затѣмъ остановился за недостаткомъ содержанія, потому что „писатели“ въ одной — двухъ маленькихъ статьяхъ успѣли высказать все, что надумали, кто чѣмъ былъ

умень. Помню въ этомъ журналѣ особенно двѣ характерныя статьи: одну—фельетонъ, гдѣ авторъ жаловался, что кругомъ царить „какой то застой общественной жизни“; другую—Василія Ивановича о томъ, что вопросъ „о цѣляхъ“ — пустой разговоръ. Нелѣпо спрашивать, *для чего* я живу, говорилъ онъ, — умѣстно спрашивать только, *почему* я живу. Живу я потому, что моему папенькѣ захотѣлось побаловаться съ моею маменькой и, взаимно услаждаясь, они и не думали обо мнѣ. Стало быть вопросъ „для чего“ я родился — явно нелѣпъ и не заслуживаетъ вниманія.

Василій Ивановичъ былъ старше меня годами и двумя классами. Онъ получалъ французскій журналъ *Revue philosophique* и былъ въ восьмомъ классѣ начитаннѣе, чѣмъ я въ VI-омъ. Поэтому онъ былъ для меня большимъ авторитетомъ. „Умные разговоры“ съ нимъ меня занимали, волновали, раззадоривали мое юношеское самолюбіе. Встрѣчи съ Василиемъ Ивановичемъ были однимъ изъ тѣхъ привлеченій, которыя заставляли меня ходить на бульваръ. Но продолжалось это всего одинъ годъ. Василій Ивановичъ кончилъ гимназію и поступилъ въ университетъ, а я перешелъ въ VII классъ, гдѣ началъ серьезно заниматься исторіей философіи и переросъ нигилизмъ настолько, что разговоры Василія Ивановича „о цѣляхъ“ стали казаться мнѣ дѣтскими. Я очень скоро окончательно ушелъ изъ сферы его вліянія.

Все это вмѣстѣ взятое — и гимназія, съ ея ненавистной „казенщиной“, и „бывшіе люди“, живущіе воспоминаніями, и бульваръ, и наивные юношескіе разговоры, и навѣянный всею окружающею обстановкою нигилизмъ — оставляло въ душѣ ощущеніе глубокаго неудовлетворенія. Куда уйги отъ этого давящаго чувства пустоты? Только во внутрь, только въ міръ мысли.

Князь Евг. Н. Трубецкой.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ книги вольныхъ сонетовъ:
„Томленіе Духа“.

* * *

Ты призовешь меня на судъ загробный —
И спросишь, гдѣ я былъ, — когда въ дыму кровей
Плоть человѣческая гибла — злобной
Иль нелюбовной волею людей —

Въ тѣхъ схваткахъ личныхъ воль, — въ тѣхъ все-
народныхъ войнахъ,
Вдругъ схваченныхъ (чьей волею?) въ одну,
Еще невысказанную на землѣ войну, —
Гдѣ былъ я?.. Боже силъ! о Боже дѣлъ нестройныхъ,

Невысказанныхъ и непосильныхъ! я
Рыдалъ одинъ подъ тѣнью бытія,
Мечталъ о счастья и томился скукой. —

Я отрицалъ Тебя за то, что Ты явилъ
Въ кровяхъ и гибеляхъ разливъ вселенскихъ силъ —
И смерти не сдержалъ блуждающую руку!

* * *

Люблю лѣса, поля, разгулы моря,
Просторъ — и блескъ зеленый, голубой, —
Весь Божій міръ — весь явный міръ земной,
И не люблю унынья, слезъ и горя.

Я не люблю томительности дней —
 Дней тѣсноты, заботы и насилья;
 Земли не называю смертной пылью:
 Люблю обилье хлѣбное полей,

Медвяныхъ травъ пахучее раздолье,
 Грибовъ и ягодъ — напоенный лѣсъ,
 И счастье птицъ — въ безвольности небесъ,
 И вздохи рыбъ, и моря своеволие...

И смерти не хочу — чтобы исчезъ
 Въ бездольности весь этотъ міръ чудесъ!

* * *

Свѣчей янтарный блескъ предъ темнотой иконъ,
 Молитвъ и возгласовъ вздыханья —
 И ладана предъ гробомъ колыханья, —
 О Господи! Весь этотъ жаркій стонъ

Предъ таинствомъ Твоимъ... О утоли рыданья —
 Предъ гробомъ, предъ крестомъ, предъ кровью, —
 предъ Твоей, —

Весь этотъ страшный міръ воспоминанья
 О смерти, о любви — для смерти, для людей!

Отецъ Небесный, въ звѣздахъ пребывающій!
 Ты слышишь крикъ мечты — къ Тебѣ взывающей:
 Все свято — все, что создано Тобой, —

И все навѣкъ очерчено судьбой...
 Да будетъ все, что есть, — навѣкъ однимъ Тобой,
 Твоей любовью — въ міръ пребывающей!

Въ сумеркахъ культуры.*)

Культура, русская культура. Чѣмъ-то далекимъ и прекраснымъ вѣетъ отъ этихъ словъ.

Правда, мы сейчасъ унижены и загнаны, — бѣженцы, выброшенные изъ привычнаго уклада жизни, поглощенные мыслью объ удовлетвореніи первичныхъ потребностей человеческого тѣла; — но пусть огрубѣли и очерствѣли въ многолѣтней военной обстановкѣ наши сердца, пусть привычная жестокость гражданской смуты опустошила и исказила наши души; пусть гнетъ повседневности притупилъ въ насъ чувство прекраснаго и истиннаго, и мы отвыкли отъ переживаній творчества, отъ науки, искусства; пусть духъ разрушенія еще витаетъ надъ нами, властвуетъ надъ нашими думами — и все же у кого изъ насъ не дрогнетъ что-то тамъ, внутри, въ святая святыхъ нашего сознанія при звукѣ этихъ словъ.

Сквозь тусклый безразличный туманъ надоѣвшаго однообразія ежедневныхъ будней, въ далекомъ, казалось, уже заглохшемъ тайникѣ души, внезапно затеплился и встрепенулся полузатухшій уголекъ воспоминаній; сквозь немолчный ропотъ притупляющихъ и изступляющихъ житейскихъ заботъ зазвучать еще неяснымъ и невнятнымъ, но ласкающимъ, манящимъ призывомъ какіе-то, казалось, навсегда умолкшіе дорогіе голоса; сквозь опустившуюся на насъ тяжелую дремоту, черезъ, казалось, непроницаемую завѣсу пережитаго забрежжать еще далекія, еще смутныя, но близящіяся, тянущіяся къ намъ родныя тѣни. Точно орошенные живительной влагой лепестки смятаго цвѣтка, расправляются подъ брызгами воспоминаній встрепенувшіяся душевныя силы. Еще мгновеніе, и ушла ку-

*) Настоящая статья была набрана для перваго номера журнала „Русская Культура“, имѣвшаго выйти въ ноябрѣ 1920 г. въ г. Симферополь.

да-то гнетущая современность, яснымъ сосредоточеннымъ огнемъ загораются глаза, расходятся привычныя морщины, расправляются застарѣлыя, тяжелыя складки волненій и скорби. Вы — наединѣ съ собой и съ прошлымъ, такимъ недавнимъ и уже безвозвратнымъ.

Съ той остротой внутренняго зрѣнія, съ какой передъ лицомъ смерти развертывается въ одно мгновеніе прожитая жизнь, — передъ нами, переступившими нѣкую роковую черту, въ какой-то новой цѣлостной картинѣ воскресаетъ бывшее. Отраженнымъ ровнымъ свѣтомъ озарено оно, отчетливо вырисовывается рисунокъ, спокойно ложатся свѣтъ и тѣни. Своя и точно чужая жизнь, или, лучше сказать, своя жизнь, но пережитая въ иномъ воплощеніи. Вы зритель, и вы-же участникъ; передъ вами встаютъ образы какъ бы изъ другого міра, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, вы знаете, что это вы же сами, вы чувствуете это до боли, до слезъ. Если бы снова, дѣйствительно, вернулся, воскресъ этотъ міръ! Сколько недосказанныхъ словъ, недопѣтыхъ пѣсенъ, недодуманныхъ мыслей, невоспринятыхъ красотъ, сколько начатаго и недоконченнаго. Какъ передъ полусказочнымъ Перъ Гюнтомъ, прошлое встаетъ во всей его непоправимости, съ тѣмъ различіемъ, что ушла не ваша отдѣльная личная жизнь, а ушла какая-то общая жизнь, ушла эпоха, ушла культура, ваша, родная вамъ, близкая, со всей ея неизъяснимой, неповторяемой красотой.

Сколько уродливости и мрака таила въ себѣ прежняя русская жизнь, какой паутиной пошлости она была окутана, сколько вражды и злобы вносили мы въ нее, но ушли куда-то вдаль черныя тѣни, не кипитъ больше злоба, не бурлитъ раздраженная желчь; спокойно смотримъ мы на бывшие споры и распри. Мелкими и случайными кажутся онѣ намъ теперь, передъ громадностью совершившагося. Съ улыбкой взираемъ мы на нихъ: кто „съ улыбкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ“, кто съ усмѣшкой безразличія, а кто — съ той тихой, ясной, прощающей улыбкой, которая является сіяющимъ отраженіемъ подлиннаго, великаго, преображающаго душу страданія. Надъ братской могилой Россійской Имперіи потухли прежнія страсти, и предъ мятущейся стихіей встревоженнаго хаоса померкли прежнія бури. Не ихъ ищетъ

душа, смятенная и усталая. Она ищетъ покоя и отдыха, она тянется къ красотѣ, она жаждетъ живительнаго прикосновенія къ ней, стремится передъ ней забыться въ нѣмомъ благоговѣніи хотя бы мгновеннаго созерцанія.

И образъ за образомъ встаютъ великія тѣни.

Вздымается величественный Петербургъ, художественное воплощеніе Императорской Россіи, прямолинейный и холодный ея властелинъ. Окутанный дрожащей золотистой мглою улетающихъ тумановъ, уносящійся неясными очертаніями въ въ смутную, сливающуюся даль, напоенный какой-то призрачной фантастической красотой, жуткимъ маревомъ высится Петербургъ надъ ушедшей Россіей. На костяхъ десятковъ тысячъ безгласныхъ строителей, чудомъ непреклонной воли царственнаго зодчаго вознесся Петербургъ „изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ“, и вотъ, годъ за годомъ, десятилѣтіе за десятилѣтіемъ, вѣкъ за вѣкомъ, повинуюсь завѣту непобѣдимаго владыки, несла Россія на величавый гранитный алтарь великодержавія свои лучшія силы, отдавая ихъ въ жертву богу европейской культуры. Проклятія и благословенія несутся къ нему изъ глубинъ подвластной ему шестой части свѣта; то гордостью и любовью, то трепетнымъ смятеніемъ и бурной ненавистью горятъ сердца подневольныхъ ему милліоновъ, — безстрастный и непреклонный, какъ судьба, стоитъ каменный исполинъ, и нерушимъ зарокъ, давшій ему господство надъ зачарованной Россіей. Но раздастся, наконецъ, завѣтное слово свободы, падутъ гранитныя оковы, разожмутся каменные объятія, рушатся дивныя чары; проснется и всколыхнется замороженная страна, и, подъ напоромъ взметнувшихся силъ выросшаго великана, разлетятся въ осколки обратившіяся въ темничную ограду мертвыя стѣны. Настанетъ роковой день освобожденія: „Петербургу быть пусто.“

И день насталь, давно всѣми жданный, одними со страхомъ, другими съ надеждой, predeterminedный всѣмъ прошлымъ, неотвратимый, какъ приговоръ, и все-же внезапный, даже незамѣченный въ своемъ появленіи, сознанный лишь въ безпредѣльномъ ужасѣ свершившагося.

Выдержала Россія тяжелую руку мятежнаго царя, взнуздавшаго ея первобытную волю, вынеслась съ нимъ изъ глу-

бинъ Азіи на порогъ Европы. Острымъ взоромъ геніальнаго дикаря окинули мы всѣ красоты многовѣковаго европейскаго міра, постигли его сущность, проникли въ его тайны, освоились въ немъ, какъ дома, полюбили, какъ вторую родину:

Намъ внятно все, и острый галльскій смыслъ,
 И сумрачный германскій геній . . .
 Мы помнимъ все — парижскихъ улицъ адъ,
 И венеціанскія прохлады,
 Лимонныхъ рощъ далекій ароматъ
 И Кельна дымныя громады . . .

Но что же, перешагнули мы окончательно грань, отдѣляющую Европу отъ Азіи, влились полностью въ европейское море, срослись органически съ европейской жизнью?

Безповоротенъ разрывъ съ прежнимъ берегомъ, но пристали ли мы къ новому? Нѣтъ. Мы ни Азія, ни Европа, полу-Азія, полу-Европа, „не принадлежимъ ни къ западу, ни къ востоку, не имѣемъ преданій ни того, ни другого“, живемъ безъ историческихъ воспоминаній, безъ уваженія къ прошлому, безъ яснаго ощущенія путей будущаго; имѣемъ двѣ родины и ни одной, стоимъ раздѣленные, обращенные другъ къ другу хребтами: „овіи же зрятъ къ востоку, овіи же къ западу“; въ высшихъ проявленіяхъ культурнаго быта — достойные сыны Европы, равняющіеся съ ней, опережающіе ее, а массовой повседневной жизнью погруженные въ косность: по уши въ грязи, сидимъ съ глазами, обращенными къ небу.

И на западѣ ли это небо? Безконечно дорога и близка намъ Европа, но не кладбище ли это дорогихъ намъ покойниковъ? И почему намъ такъ претятъ мѣщанскія будни европейской цивилизаціи? Потому ли, что мы дикари, постигающіе культуру, но не вошедшіе въ нее, или потому, что уже отлетѣлъ духъ живой отъ стараго міра и, для насъ, вольныхъ сыновъ первобытныхъ степей, чуждымъ, мертвеннымъ ужасомъ вѣетъ отъ его роскошнаго, но уже тронутаго тлѣніемъ тѣла?

Не историческій ли удѣлъ Россіи — „ея отрѣшеніе отъ всѣхъ связей разомъ: отъ религіи, отъ преданій, отъ авторитета“? Не кроется ли глубокой внутренней смыслъ въ задержавшемся своеобразіи исконныхъ формъ русскаго хозяй-

ственного строя и въ томъ сокровенномъ родствѣ, которое связываетъ нашъ примитивный деревенскій коллективизмъ съ социалистической религіей западноевропейскаго пролетаріата? И не наступитъ-ли день, когда перекликнется, наконецъ, русскій мужикъ съ европейскимъ пролетаріемъ, наполняя ужасомъ буржуазный міръ, когда сольются западъ и востокъ въ грозномъ кличѣ: „да здравствуетъ смерть и да воцарится будущее“? Страшный духъ разрушенія заключенъ въ нѣдрахъ русской жизни, но не таится ли въ немъ великая интуиція грядущаго созидающаго духа, и не въ томъ ли мессіанскій удѣлъ Россіи, чтобы возвѣститъ міру эту новую жизнь? Кто мы, безнадежно отсталые ученики, въ лихорадочномъ рвеніи догоняющіе своихъ учителей, или творцы новой эпохи, открывающейся на смѣну гніющей, умершей цивилизаціи? Кто мы? Азіаты, робко стучащіеся въ двери Европы, или народъ будущаго, поглощающій Европу, будь то, въ творческомъ актѣ вселенскаго міропониманія народа-богоносца, будь то, въ разрушительномъ актѣ скиѣскаго нашествія, во имя нарождающейся новой жизни?

Въ этихъ колебаніяхъ между самоуничженіемъ робкаго ученика и самомнѣніемъ владыки будущаго мятется русская мысль. Гдѣ истина? Съ напряженной, страстной тревогой вглядываются выразители русской общественной мысли въ знакомыя, дорогія, близкія и, одновременно, чуждыя и непроницаемыя черты породившаго ихъ народа, вслушиваются въ глухой, немолчный сливающійся гулъ многомилліонной стихіи. Но русскій народъ — Сфинксъ не только для Европы, но и для породнившейся съ нею русской интеллигенціи. Безъ отвѣта остаются обращенные къ нему вопросы: народъ молчитъ. Жуть охватываетъ отъ этого молчанія. Неужели нѣтъ жертвы, способной искупить неповинный грѣхъ взаимнаго непониманія? Неужели непоправимо, навѣки оборваны нити, связующія интеллигенцію съ народомъ, и осуждена на увяданіе лишенная корней интеллигенція, и обреченъ на вѣковое варварство лишенный органовъ мысли и слова народъ? Вѣдь на всякую жертву готова самоотверженная русская интеллигенція, вплоть до самоотрицанія, вплоть до самоистребленія. Ибо, какъ можно понять

аскетическое опрощеніе русской интеллигенціи и отшельническое хожденіе ея въ народъ, если не признать здѣсь отказа отъ себя, отъ вскормившей ея культуры, во имя единенія съ народомъ, и какъ можно понять и простить революціонный паѳосъ русской интеллигенціи, если не видѣть въ немъ фанатическаго обряда самосожженія.

Но безплодны всѣ жертвы. Народъ безмолствуетъ; непроницаемъ его затуманенный ликъ. Безповоротно разошлись пути, лишь близится и ширится бездна, разверзающаяся между народомъ и его интеллигенціей, и, кажется, ничѣмъ уже не заполнить этого зіяющаго провала, хотя бы цѣной обращенія въ обломки и развалины всего, вѣками созданнаго на русской землѣ.

Одинокой, отверженной, еще страшной, но уже обезсиленной громадой виситъ Петербургъ, чуждый до невѣроятія, до неправдоподобія русскому народу, близкій до неразрывности, до боли, до ненависти русской интеллигенціи. Отлетѣлъ отъ Петербурга духъ творящей воли, вызвавшей его изъ подъ земли, потускнѣлъ взлетающій силуэтъ Мѣднаго Всадника; не символомъ жизни и побѣды, а надгробнымъ изваяніемъ царитъ онъ надъ Невой, и, какъ знаменіе безнадежности замирающей борьбы, виднѣется грузная, осѣвшаая, мѣшковатая фигура царственнаго потомка Великаго Петра. И онъ, какъ Мѣдный Всадникъ — передъ пропастью, но не впередъ въ дерзновенномъ вдохновеніи несется онъ: онъ пытается осадить назадъ, попятить коня, удержать его и удержаться съ нимъ на краю раскрывающейся пучины. Напрасно, нѣтъ пути назадъ въ судьбахъ великаго народа, и обреченъ на гибель всадникъ, заколебавшійся надъ пропастью. Пробилъ часъ Петербурга, свершился неисповѣдимый судъ исторіи. Уже не гордый властелинъ предъ нами, не живая глава живой могущественной державы, а умолкшій, опустѣвшій, заросшій мхомъ памятникъ, величавый памятникъ великой ушедшей эпохи.

Петербургъ — памятникъ старины; не „старый Петербургъ“, а нашъ Петербургъ! Не „старые годы“, а наши годы — ушедшая эпоха. Странно писать эти строки, страшно прочесть написанное. Мы — и исторія. Современность, омер-

тѣвша въ исторической законченности, оставшаяся позади насъ, за какой-то глубокой, непереходимой межой. Трагическій жребій выпалъ намъ: жить и сгорѣть на грани двухъ эпохъ, отдѣленныхъ не длительнымъ процессомъ перевоплощенія, а стихійнымъ обваломъ. Да и что это—эпоха русской исторіи или исторіи міра? Причудливо переплелись судьбы нашей родины съ явленіями космическаго порядка, и въ грандіозной картинѣ крушенія то и дѣло мелькаютъ черты, знаменующія сдвиги въ самыхъ глубинахъ человѣческаго духа. Намъ, наблюдателямъ мозаичныхъ частицъ этой исполинской картины, не дано разглядѣть зародышей будущаго въ разложившейся современности, и подъ гнетомъ и бременемъ мучительныхъ вопросовъ и сомнѣній душа ищетъ отдыха и успокоенія въ прошломъ, ищетъ забвенія настоящаго въ воспоминаніяхъ прошлаго.

И, образъ за образомъ, встаютъ опять великія тѣни.

Лучезарный Пушкинъ — „наше все“, воплотившій въ себѣ всю многогранность русской дѣйствительности и, въ актѣ творческаго преображенія, возведшій ее въ перлъ созданія; все понявшій и все простившій въ русской жизни, совлекшій съ нея покровъ будничной пошлости и показавшій намъ въ художественномъ освѣщеніи и сокровенныя ея тайны. Послѣ Пушкина нѣтъ мѣста унынію, нѣтъ мѣста невѣрію въ Россію. Пушкинъ не доказалъ, а открылъ и показалъ такую красоту русской души, такое величіе простой русской жизни, такое богатство духовныхъ силъ ея, что въ явленіи Пушкина находитъ свое оправданіе и высшее примиреніе вся русская дѣйствительность. Много горькихъ упрековъ можно предъявить русской жизни, много жестокихъ и тягостныхъ истинъ можно сказать о ней: недаромъ, такой безысходной тоской вѣетъ отъ многихъ лучшихъ страницъ нашей литературы и такой мрачный ужасъ обвѣваетъ многіе эпизоды нашей исторіи. Но пусть соберутся самые строгіе и неподкупные судьи. Пусть предъ ними, во всей неприкрашенной дѣйствительности, развернется обвинительный актъ русскаго прошлаго, пусть свидѣтелями выступятъ лучшіе изобразители русской обывательской пошлости, пусть изъ гробовъ укоризненнымъ хоромъ прозвучатъ всѣ умолкшіе голоса обличителей Россіи, —

достаточно вызвать образъ Пушкина, чтобы замерло на устахъ присяжныхъ готовое сорваться непоправимое слово приговора и, какъ греческіе судьи умолкли въ художественномъ восторгѣ предъ обнаженной Фриной, такъ и судьи русской жизни молчаливо склонятся, пораженные откровеніемъ поэзіи Пушкина. Нѣтъ судей, которые сочли бы себя полномочными произнести приговоръ надъ народомъ, который „подъ гнетомъ крѣпостного состоянія и въ отвѣтъ на царскій приказъ образоваться отвѣтилъ, черезъ сто лѣтъ, громаднымъ явленіемъ Пушкина“.

Олицетвореніе вселенской человѣческой души въ русскомъ ея выявленіи, Пушкинъ, подобно свѣтозарному солнцу, ярко горящему собственнымъ, ему присущимъ, внутреннимъ огнемъ, озаряетъ живительной силой своего свѣта все окружающее. Достаточно проникнуть его чудотворному лучу — и пышными красками расцвѣтаетъ природа, исчезаютъ мрачныя, уродливыя тѣни, озаренная свѣтомъ красоты, во всей своей величавой простотѣ, раскрывается правда жизни. Вплоть до нашихъ тусклыхъ дней доходятъ эти освѣщающіе и согревающіе мракъ лучи, въ каждомъ подлинномъ творческомъ, художественномъ проявленіи русскаго генія сіяетъ ихъ отблескъ, живетъ частица Пушкина; каждое оброненное имъ слово немолчнымъ эхо катится вслѣдъ смѣняющимся поколѣніямъ, вливая въ нихъ новыя силы, не давая уснуть здоровому чувству національнаго самосознанія.

Рескинъ говорилъ, что современный человѣкъ является такимъ же памятникомъ человѣческаго творчества, какъ, на примѣръ, египетская пирамида. Неисчислимы жертвы, цѣною коихъ воздвигнуть этотъ памятникъ, и огромна нравственная отвѣтственность, лежащая на немъ за принесенныя для его созданія жертвы. Такимъ величайшимъ памятникомъ русской культуры, величайшимъ ея достиженіемъ и, вмѣстѣ, величайшимъ оправданіемъ русской жизни, всѣхъ неисчислимыхъ ея жертвъ — является Пушкинъ. Яркимъ свѣтомъ будетъ озарять онъ Россію, пока она есть, и неугасаемой лампадой будетъ мерцать онъ въ глубинѣ вѣковъ, предъ потускнѣвшимъ, но чистымъ ея ликомъ, пока существуетъ человѣчество.

Пушкинъ величайшій и единственный, а сколько за нимъ великихъ !

Лермонтовъ, поэтъ грусти по небеснымъ звукамъ, съ душой, сотканной изъ тончайшаго эфира, изъ надмірной музыки,—тихимъ ангеломъ проскользнулъ онъ по нашему небу, своду, обронивъ на землю нѣсколько пѣсенъ, возносящихся къ звѣздамъ, обвѣянныхъ мистической молитвенной красотой, и унеся съ собой въ раннюю могилу какую-то неизреченную тайну.

Какъ далекъ Лермонтовъ отъ своего западнаго собрата! Какое сочетаніе внѣшняго сходства и внутренняго различія! Мятущійся Байронъ, то элегантно драпирующійся въ плащъ своего Чайльдъ-Гарольда, надменно кокетничающій съ чортомъ, то, въ сатанинской гордынѣ, вызывающій на единоборство Бога и, въ тоскливомъ отчаяніи одиночества и всеотрицанія, взывающій къ мертвому, исцѣляющему забвенію, то ѣдкимъ смѣхомъ раздражающійся надъ бѣднымъ, презрѣннымъ человѣчествомъ. Всѣ эти мотивы не чужды Лермонтову, но всѣ они растворяются въ сіяніи дѣтской, безхитростной вѣры, въ непосредственной подлинной близости къ самымъ истокамъ души народной.

И съ глубокимъ, правдивымъ чувствомъ могъ сказать о себѣ Лермонтовъ:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,
Еще невѣдомый избранникъ,
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.

Рядомъ съ солнечнымъ образомъ Пушкина и лунносвѣтлой грустью Лермонтова, темнѣющимъ контрастомъ выдѣляется скорбно-загадочный силуэтъ Гоголя.—

Мягкой жизнерадостностью, свѣжимъ легкимъ юморомъ, ароматнымъ бодрящимъ дуновеніемъ роскошныхъ украинскихъ степей, наивной народной сказочностью, упоеніемъ молодости и красоты наполнены произведенія пасѣчника Рудаго Панька. Спокойнымъ сознаніемъ народной мощи, безоблачной цѣлостностью художественнаго настроенія, ровнымъ чувствомъ душевнаго мира, захватывающей лихостью и юношескимъ задоромъ проникнута національная поэма „Тарасъ Бульба“. Но стоитъ Гоголю обратиться къ изображенію окру-

жавшей его среды, къ бытописанію современнаго ему общества — и мгновенно, подъ бременемъ безысходныхъ внутреннихъ противорѣчій и непоправимаго душевнаго надлома, искажаются прекрасныя черты великаго художника. Правда, не умолкаетъ смѣхъ, знаменитый гоголевскій смѣхъ; напротивъ, еще звонче и отчетливѣе раздается онъ, заражая насъ, подчиняя своей силѣ. Очарованные, съ неослабнымъ увлеченіемъ слѣдите вы за похождениями нашего героя — и улыбка не сходитъ съ вашихъ устъ. Но вдругъ, неожиданно для васъ самихъ, точно подъ впечатлѣніемъ внезапнаго озаренія, тревожная непреодолимая тоска овладѣваетъ всѣмъ вашимъ существомъ: „надъ собой смѣтесъ“. И неподвижной, безпомощной гримасой застываетъ блуждавшая на устахъ вашихъ веселая улыбка, въ безпокойномъ смятеніи озираетесь вы кругомъ и вперяете пытливый, полный вопрошающей надежды взглядъ въ измѣнившіяся черты геніальнаго чародѣя. Но вмѣсто яснаго, искрящагося радостнымъ смѣхомъ, сочувствующаго вамъ встрѣчнаго взора, вы ощущаете на себѣ тяжелый, пронизывающій, насмѣшливый взглядъ. И стыдно и больно дѣлается вамъ за исторгнутый у васъ смѣхъ: сами вы осмѣяны, какъ частица окружающей, охватывающей васъ повседневности. Подъ негодующими ударами кисти раздраженнаго художника пошлость жизни пріобрѣтаетъ какую-то фантастическую убѣдительность. Вы подавлены ею, вы готовы вѣрить изображенію больше, чѣмъ самой жизни. Слабы и безсильны попытки художника утѣшить васъ, показавъ свѣтлыя лица; это пустыя пятна, лишенные красокъ и контуровъ, носящія одни лишь заглавія: самъ авторъ не вѣритъ въ нихъ. Безпощаднымъ приговоромъ падаетъ на жизнь бичующій смѣхъ.

Это не смѣхъ сквозь слезы, это не робкая улыбка возвращающейся радости жизни, брызжащая сквозь расходящуюся тьму душевной скорби, не лучъ вѣчнаго солнца, пробивающійся сквозь затянувшую небосклонъ грозовую тучу, не символъ побѣды свѣта надъ мракомъ. Нѣтъ, это смѣхъ, смѣнившій слезы, изсохшія подъ палящимъ зноемъ внутренняго огня, смѣхъ безысходной тоски и непрощающаго укора. Лишь мгновеніями одинокая слеза блеснетъ на гнѣвно при-

щуренныхъ рѣсницахъ великаго писателя, яркой мимолетной зарницей открывая безпредѣльную силу любви, таящуюся въ его душѣ. Но тутъ же потухаетъ согрѣвшій было васъ отблескъ надежды, снова звенить въ ушахъ бичующій смѣхъ. И нуженъ великій источникъ свѣта, озаряющій жизнь, чтобы падающая отъ твореній Гоголя тѣнь не застлала нашего сознанія мертвящей мглою, нужна неизсякаемая вѣра въ жизнь, въ ея добро и красоту, чтобы не усумниться въ жизни, однимъ словомъ, нужно имѣть Пушкина, чтобы преодолѣть Гоголя, и не только преодолѣть, а понять, оцѣнить и глубоко полюбить его скорбный, трагическій ликъ. Самъ Гоголь не преодолѣлъ себя, застрявшія въ его горлѣ слезы задушили его, и онъ палъ жертвой бушевавшего въ его сердцѣ огня обличенія, одинокій, оскорбленный, покинутый.

За Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Гоголемъ тянется длинной вереницей плеяда ихъ современниковъ и преемниковъ — Грибоѣдовъ, Писемскій и Гончаровъ, Бѣлинскій и Апполонъ Григорьевъ, Алексѣй Толстой и Фетъ, Чаадаевъ и Герценъ, Хомяковъ и Владиміръ Соловьевъ... Каждое имя вызываетъ тысячу переживаній. А проникновенный Тютчевъ, вѣщій мудрецъ, подслушавшій тайны мірозданія. А неподражаемый, еще не оцѣненный по достоинству Лѣсковъ, давшій изумительные образцы исторически-правдиваго художественнаго знанія. „Совершенно человѣка видитъ и сердце его любитъ, кто любитъ мысли его“. Такимъ совершеннымъ, проникнутымъ любовью знаніемъ русскаго народа обладалъ Лѣсковъ, и только глубокимъ невѣжествомъ нашимъ, той „пагубной роскошью полупознанія,“ которая отвращала насъ отъ истиннаго знанія, можно объяснить, что Лѣсковъ донинѣ не является любимой книгой культурнаго русскаго человѣка. Съ такой легкостью бросаемъ мы камень въ цѣлыя сословія, поколѣнія, десятилѣтія, — и самомнительно чуждаемся правдивыхъ источниковъ, раскрывающихъ предъ нами въ художественномъ изображеніи ушедшую старину. Но сила генія беретъ свое. Лѣсковъ переживаетъ многихъ обогнавшихъ его въ популярности писателей.

Женственный, впечатлительный Тургеневъ, несравненный повѣствователь и рассказчикъ, вѣрный лѣтописецъ смѣняю-

щихся настроеній современныхъ ему поколѣній русской общественности, поэтъ помѣщичьяго уклада жизни, славянскій колоссъ, впервые дружески вошедшій въ семью западноевропейской литературы и пріоткрывшій предъ лучшими ея представителями сокровища русской художественной мысли. Какимъ далекимъ и отжившимъ кажется намъ теперь Тургеневъ. Это — дорогая намъ по юношескимъ воспоминаніямъ вѣтка сирени, почти засохшая, но не утратившая свой чарующій ароматъ, бережно хранимая нами среди реликвій нашего сердца.

Но вотъ встаютъ два новыхъ образа и заполняютъ собою все, вытѣсняють всѣ иныя воспоминанія, властно воцаряясь въ нашемъ сознаніи. Толстой и Достоевскій!

Толстой огромень и безбреженъ, какъ русская равнина, исполненъ такой безпредѣльной мощи, что, кажется, нѣтъ задачи, для него непосильной. Въ горделивомъ размахѣ беретъ онъ героемъ романа великій народъ. . . Въ широкой, какъ сама жизнь, панорамѣ развертывается предъ нами величайшій, героическій періодъ нашей эпохи; воскрешенная чудомъ исторической интуиціи стоитъ передъ нами, какъ живая, Россія двѣнадцатаго года, озаренная свѣтомъ творческой правды, преображенная въ законченные художественные образы, облеченная въ рамку недосягаемаго внѣшняго мастерства. Величавый эпосъ, повѣданный міру не въ стихійномъ полусознательномъ процессѣ народной поэзіи, а созданный сознательной творческой волей отдѣльной личности.

Явленіе, не знающее себѣ равнаго въ лѣтописяхъ міровой литературы!

Точно духъ народный сошелъ на полумифическаго гиганта слова и глаголетъ его устами, раскрывая намъ въ безхитростномъ повѣствованіи свою многообразную сущность. Это полное сліяніе личности автора съ творимыми имъ образами составляетъ основную черту творчества Толстого. Когда въ Толстомъ говоритъ художникъ — личность его уничтожается, поглощается въ процессъ творчества, растворяется въ создаваемыхъ имъ образахъ. Вы не чувствуете волевого усилія творящей личности, не видите мастера — вы точно присутствуете при самозарожденіи художественныхъ образовъ,

при органическомъ ростѣ ихъ. Хорошъ ли языкъ Толстого? Вы должны сдѣлать усиліе памяти, чтобы вспомнить, какой языкъ у автора „Войны и Мира“. Бывало ли у васъ при чтеніи Толстого, чтобы вы останавливались въ восхищеніи съ восклицаніемъ: какой чудный языкъ! Нѣтъ. Вы просто не замѣчали языка, вы воспринимали, не удѣляя особаго вниманія органу воспріятія. Жизненны ли характеры? Станный вопросъ. Вѣдь не спрашиваютъ же васъ, жизненны ли характеры вашихъ знакомыхъ, вашихъ близкихъ, съ которыми вы сроднились. Жизненны ли описанія природы, обстановки? Но вѣдь вы видѣли эту обстановку, эту природу. Когда вамъ что либо во очію показываютъ, то странно было бы спрашивать: похоже ли это на дѣйствительность. Это было бы столь же нелѣпо, какъ восклицаніе одного изъ героевъ Гейне, который, любуясь природой, въ похвалу ей воскликнулъ: да это совсѣмъ, какъ нарисовано. Дѣйствительно, неужели вы рѣшитесь утверждать, что вы не присутствовали съ Анной и Вронскимъ на скачкахъ, когда такъ обидно погибла милая, бѣдная Фру-фру, или, что васъ не было съ Наташей на охотѣ, когда вы потомъ заѣзжали къ дядюшкѣ „чистое дѣло маршъ“, что вы не видели никогда ушей Каренина и волосатыхъ рукъ Долохова, не подсматривали, какъ растирали одеколономъ жирную шею Наполеона, не встрѣчались и не болтали со Стивой Облонскимъ. Или можетъ-быть вы скажете, что вы остались не тронуты любовной дѣвичьей обстановкой дома Ростовыхъ, что вы не слыхали пѣнія Наташи, что вы не были влюблены въ нее вмѣстѣ съ Васькой Денисовымъ и Княземъ Андреемъ и что — немного совѣстно сознаться — вы не почувствовали нѣкотораго разочарованія, когда узнали о бракѣ Наташи съ Пьеромъ, объ ея увлеченіи дѣтскими пеленками и прозой семейной жизни. Да если бы собрались всѣ мудрецы міра и стали бы доказывать вамъ, что этого ничего не было, что этого не могло быть — вы бы пожали плечами и усмѣхнулись. Такова подавляющая сила художественной правды Толстого.

Въ этой слянности Толстого съ природой и жизнью тайна его неподражаемаго реализма; онъ не описываетъ природу и жизнь, а природа и жизнь открываются въ немъ. Всѣ услов-

ная людскія оцѣнки какъ то отскакиваютъ отъ Толстого — художника. Нелѣпо было-бы говорить о цинизмѣ или морализмѣ Толстого-художника, какъ нелѣпо говорить о цинизмѣ или морализмѣ природы, съ которой Толстой — художникъ такъ неразрывно, органически связанъ. Что-то стихійное, космическое въ его творествѣ, напоенномъ художественнымъ пантеизмомъ.

Таковъ Толстой — художникъ, въ своей первобытной наивности.

Но вотъ постепенно, въ поискахъ правды и справедливости у Толстого возникаетъ вопросъ: такой ли должна быть жизнь, какой она есть и какой она изображена въ его произведеніяхъ? Онъ не полагается больше на чувство художественной правды, въ немъ заложенное, на свое сердце; онъ апеллируетъ къ практическому разуму, онъ строитъ свой моральный кодексъ жизни. Пусть сердце не соглашается съ разумомъ — тѣмъ хуже для сердца; пусть жизнь не укладывается въ уготовленное ей ложе — тѣмъ хуже для жизни. Онъ зоветъ ее на судъ, смѣло бросаетъ въ нее камнемъ. Забытъ великій, имъ самимъ провозглашенный эпиграфъ: *Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ*. Въмѣсто любвеобильнаго поэта, вмѣщающаго въ своемъ сердцѣ весь свѣтлый Божій міръ, мы видимъ строгаго судію, облеченнаго въ гордыню внѣшняго уничиженія. Грозныя слова укоризны несутся съ его обличающихъ устъ. Все или ничего! Культура не отвѣчаетъ требованіямъ суроваго пуританизма: долой культуру, во имя достиженія нравственнаго совершенства! Толстой — моралистъ и Толстой — художникъ, механически уживавшіеся до поры до времени на сосѣднихъ страницахъ, вступаютъ въ борьбу, переходящую постепенно въ смертельный бой. Торжествуя побѣду, Толстой — моралистъ мститъ Толстому — художнику, развивая невиданную силу нигилистическаго разрушенія; въ негодованіи готовъ онъ разбить въ прахъ вѣщія скрижали, на которыхъ имъ же самимъ начертано, силой вложеннаго въ него генія, божественное изображеніе природы.

Но „утаенная мыслей нашихъ бездна и глубокое сердце есть одно и то же — человекъ есть сердце“. Напрасны попытки Толстого уйти отъ себя, отъ собственнаго сердца; онъ кончатся грандіознымъ крушеніемъ.

Не зная неудачи въ своихъ достиженіяхъ, въ титаническомъ порывѣ схватился Толстой, подобно Святогору—богатырю, за небольшую суму, содержащую въ себѣ силу земли, и хотѣлъ поднять ее до себя, эту падшую безнравственную землю. Но выросла сума и безсильною плетью виситъ могучая рука богатыря, а самъ онъ ушелъ по колѣна въ сырую землю. Онъ хотѣлъ поднять землю къ небу, и самъ погрязъ въ ней; человѣческимъ, слишкомъ человѣческимъ оказался онъ самъ въ своихъ счетахъ съ жизнью. Въ поискахъ Бога онъ отвергъ жизнь — и Богъ покинулъ его. Не можетъ сказать онъ, подобно своему великому праотцу, мірскому отшельнику Сковородѣ: міръ ловилъ меня, но не поймалъ. Напротивъ, опутанъ онъ, надменный книжникъ, нитями земли. Лишь предъ лицомъ смерти созналъ онъ кошунственность своей гордыни, съ ужасомъ почувствовалъ, что онъ не съ Богомъ, и Богъ не съ нимъ. Въ сердечномъ трепетѣ бѣжить смирившійся великій старецъ отъ обличающихъ его стѣнъ и въ давно утраченномъ, а можетъ быть, впервые обрѣтенномъ подлинномъ молитвенномъ вдохновеніи падаетъ онъ ницъ предъ найденнымъ Богомъ: вѣрую Господи, помоги моему невѣрію.

Смирился гордый человѣкъ, исполнилъ въ преддверіи смерти пророческій завѣтъ Достоевскаго.

Достоевскій является удивительной противоположностью Толстого. Если въ Толстомъ художникъ и мыслитель находятся въ непримиримомъ противорѣчьи, то въ Достоевскомъ они напротивъ связаны неразрывно. Достоевскій мыслить образами. Его художественный талантъ есть лишь сила внутренняго самоуглубленія и сила проникновенія въ сокровенныя тайны человѣческаго духа. Если Толстой — оживленная природа, то Достоевскій — воплотившійся духъ. Его произведенія почти не имѣютъ тѣлесной формы; его черты облечены плотью лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы онѣ были живыми существами; внѣшняя обстановка допускается лишь, поскольку нельзя обойтись безъ времени и пространства; событія связаны единствомъ дѣйствія и правдоподобіемъ, поскольку это необходимо, чтобы фабула не превратилась въ фантазмагорію. Это не объективированіе жизни въ художественномъ воспроизведеніи ея, а осуществленіе экспе-

риментовъ надъ человѣческими душами при посредствѣ художественнаго творчества. Внѣшняя искусственность, стоящая на границѣ правдоподобія, сочетается съ потрясающей внутренней правдой. Пусть этого не было, пусть это невѣроятно, но это неразрывно связано съ духовнымъ существомъ современнаго человѣка, а потому это возможно. Болѣе того, разъ это вытекаетъ изъ сущности современнаго человѣка, то пусть этого не было и пусть это невѣроятно, но это должно быть и это будетъ. Вотъ въ чемъ основа пророческаго дара Достоевскаго. Духовныя прозрѣнія превращаются подъ его перомъ въ художественныя реальности.

Душа человѣческая—единственная тема творчества Достоевскаго. „Почто дивишия высотамъ звѣзднымъ и морскимъ глубинамъ“, вопрошалъ Св. Исидоръ. „Взгляни въ бездну сердца твоего. Тутъ то дивися, аще имаши очи“. И Достоевскій отвращаетъ свой взоръ отъ внѣшняго міра, и вперяетъ его въ душу человѣческую, измѣряя ея глубины и высоты.

Какъ художественное раскрытіе души современнаго человѣчества, его произведенія—памятникъ единственный и неповторяемый.

Представьте себѣ, что рушился міръ, и что единственнымъ памятникомъ отъ погребенной культуры остался Достоевскій. Этого довольно. Лицо эпохи сохранится; въ твореніяхъ Достоевскаго черты этого лица запечатлѣны неизгладимыми письменами. Съ большимъ правомъ, чѣмъ кто либо, съ большимъ правомъ даже, чѣмъ Ницше, можетъ сказать о себѣ Достоевскій: „Я пишу кровью“. Оба пѣвцы страданія, одинъ художникъ — мыслитель, другой мыслитель — поэтъ, оба проникнуты исключительнымъ религіознымъ паѳосомъ, оба сгорѣвшіе въ огнѣ религіозныхъ исканій — ярко вспыхнувшими факелами освѣщаютъ они сгущающіяся сумерки европейской культуры. Но насколько полнѣе, глубже, цѣлостнѣе личность Достоевскаго! Ницше — это вопль отчаянія современнаго человѣчества, почувствовавшаго себя безповоротно покинутымъ Богомъ; это пѣснь умирающаго лебедя, убитаго тоской по ушедшему Богу. Вначалѣ Ницше пытается въ музыкѣ найти выраженіе своему лишенному выхода религіозному чувству. Музыка — это вселенскій языкъ, которымъ душа съ душою

говорить. Это отзвукъ извѣстной гармоніи, роднящей чело-
вѣчество. Это отблескъ божественнаго огня, зажженнаго въ че-
ловѣческихъ сердцахъ лучами какого то единого вѣчнаго
солнца. Музыка даетъ намъ непосредственное непререкаемое
ощущеніе нашей духовности. Но она, создавая религіозное
настроеніе, обвѣвая насъ неясными неотмірными свѣтлыми
мечтами, не даетъ главнаго, основнаго: вѣры, чувства лич-
наго живого Бога. Этого не дала музыка и Ницше. Не уто-
ливъ своей духовной жажды, но утративъ воспріятіе христіан-
скаго Бога, Ницше, со всей страстностью своей натуры, со
всѣмъ напряженіемъ огромнаго поэтическаго генія, всю силу
религіознаго творчества сосредоточилъ на заложенныхъ въ чело-
вѣкѣ духовныхъ потенціяхъ. Пусть ушелъ Богъ, Ему на смѣну
человѣчество создастъ преемника изъ себя, по образу своему
и подобію; на мѣсто Богочеловѣка поставитъ Человѣкобога.

Вѣрилъ ли Ницше въ свою Вѣру? Нѣтъ; трагическая
судьба его служить тому порукой. Только формалисты-букво-
ѣды могутъ считать Ницше атеистомъ; за кощунственными
словами геніальнаго поэта слышится огненное, палящее вле-
ченіе къ Богу. Еще, кажется, мгновеніе, — и раскроются небеса
предъ изступленною тоской безумствующаго страдальца, сни-
зойдетъ благодать на его скорбную голову, преобразится гор-
дый, брошенный Богу вызовъ въ теплую молитву. Но не дано
было Ницше на землѣ этого высшаго счастья: онъ остался во-
площеніемъ воинствующаго челоѣкобожія и палъ его жертвой.

Трагедія Ницше близка Достоевскому, но не какъ его
личная трагедія, а какъ художественное перевоплощеніе, какъ
одна лишь грань его художественнаго творчества. Съ несмень-
шей глубиной и остротой Достоевскій проникъ и въ другую
форму челоѣкобожія, въ коллективистическомъ его вариантѣ
—именно социализмъ. Съ невиданной силой вскрылъ онъ его
атеистическую подпочву, его звѣриную насильственную природу,
его внутреннее варварство. Наконецъ, Достоевскій беретъ наибо-
лѣе утонченную форму атеизма, вооруженнаго всѣми внѣшними
аттрибутами церковной религіи: чудомъ, тайной и автори-
тетомъ. Въ потрясающей картинѣ обнажаетъ авторъ Легенды
о Великомъ Инквизиторѣ скрывающееся за этими величавыми
орнаментами сатанинское лицо.

Сорвавъ всѣ покровы съ современной цивилизаціи, Достоевскій ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ Богомъ, ведетъ насъ къ Богу.

Чтеніе Достоевскаго не занимательная лектюра и даже не художественное наслажденіе; это—подвигъ самоуглубленія и самопознанія въ образѣ художественной всенародной исповѣди. Вы можете отмахнуться отъ „жестокаго таланта“ Достоевскаго, но если Вы попали подъ его обаяніе—это эпоха вашей жизни. Испаряется, какъ дымъ, наркотика изошренныхъ формъ внѣшней культурности, оглушающая обычно ваши чувства, исчезаютъ миражи маленькихъ, заполняющихъ вашу жизнь цѣлей, загромаждающіе широту горизонтовъ, отбрасывается всяческая суета, развлекающая ваше вниманіе: во весь свой грозный ростъ встаютъ передъ вами вѣчные вопросы, облеченные въ форму художественнаго воспріятія. Одна за одной спадаютъ личины внѣшняго благополучія съ общественныхъ и личныхъ проблемъ, только что казавшихся вамъ разрѣшенными или разрѣшимыми. При этомъ, Достоевскій не посыпаетъ пепломъ главу, не громитъ современнаго ему общества, не диктуетъ ему практическихъ рецептовъ, долженствующихъ вывести его на правильный путь; нѣтъ, онъ остается художникомъ; онъ показываетъ намъ человѣческія страданія во всѣхъ ихъ многообразныхъ проявленіяхъ, заставляетъ силой своего творческаго генія ощутить эти страданія во всей ихъ непосредственности, и въ тотъ моментъ, когда мы потрясены до глубины души, когда мы почти не въ силахъ переносить болѣе напряженія нашихъ переживаній, онъ ставитъ передъ нами вопросъ: можетъ ли человѣкъ вынести эти страданія, даже допустить ихъ существованіе, согрѣтый однѣми лишь человѣческими мыслями, какъ бы высоки онѣ ни были; принимаетъ ли душа эти страданія? Съ непередаваемымъ паѳосомъ раскрываетъ намъ Достоевскій всевозможныя человѣческія рѣшенія, излагая ихъ съ такимъ пламеннымъ краснорѣчіемъ, съ такой художественной силой, углубляя ихъ съ такой властной убѣдительностью, что иной разъ кажется—самъ сатана говоритъ его устами. Но холодъ, мракъ и ужасъ продолжаютъ царить надъ вашими сердцами и, пройдя черезъ жестокій соблазнъ и ис-

кушеніе, душа ваша, утомленная и истерзанная, взыскуетъ одного рѣшенія, имя же ему: Богъ.

Вѣры въ Бога Достоевскій не даетъ, такъ какъ вѣра не дается пассивнымъ воспріятіемъ, но убѣжденіе, что безъ Бога нѣтъ пути, ни вамъ, ни всему человѣчеству — это убѣжденіе прожигаетъ ваше сознаніе насквозь.

Идея Бога занимаетъ центральное мѣсто въ твореніяхъ Достоевскаго, какъ она занимаетъ его въ переживаемомъ нами кризисѣ міровой культуры, и, повторяемъ, если суждено было бы погибнуть нашей эпохѣ и единственнымъ памятникомъ ея остался бы Достоевскій, причины паденія нашей культуры сдѣлались бы ясными послѣдующимъ вѣкамъ, а сказанія о ней заняли бы мѣсто рядомъ съ преданіями о Вавилонскомъ Столпотвореніи.

Толстой и Достоевскій — послѣдніе изъ великихъ. За ними начинается наша современность, тусклая и безразличная. Давно-ль отливала она тысячью цвѣтовъ и огней, трепетала въ нервномъ біеніи жизни, наполняла наши сердца страстными откликами, — и вотъ чуждой, полузабытой ненужностью лежитъ она, оторванная и отброшенная вихремъ событій. Многими талантами богата наша эпоха, правдивыя отраженія нашла въ ихъ твореніяхъ душа современнаго намъ человѣка во всѣхъ ея своеобразныхъ извилинахъ и капризныхъ изгибахъ, но лишь одинокія вершины, отдѣльные всплески художественной мысли достигаютъ уровня великихъ ушедшихъ старцевъ. Нѣтъ, видно, силы генія, которая могла бы превозмочь бремя надвигающейся катастрофы, преодолѣть ея гнетъ; густой мракъ надвигающихся тучъ бросаетъ свою тяжелую тѣнь, и въ одно смутное, сѣрое пятно сливается въ нашихъ глазахъ все многообразіе лицъ и фигуръ, еще недавно отчетливыхъ, живыхъ, яркихъ, близкихъ, волнующихъ. Пусть въ неясныхъ, но живыхъ предчувствіяхъ билась ихъ мысль, пусть громкими возгласами неудержимой тревоги оглашали они обманчивую тишину — развѣ вспоминаютъ о чайкахъ въ разгаръ мятущейся бури. „Современность“, какъ эпоха нашей жизни, утопаетъ въ грохочущемъ потокѣ событій, исчезаетъ въ немъ, увлекаемая оползнями скрывающейся пропасти.

Холодно и жутко на душѣ; сгущаются сумерки, озаря-

емя заревомъ разгорающагося пожарища нашей культуры. Быть можетъ, мимолетными слабыми зарницами уже вспыхиваютъ огни, отражающіе свѣтъ будущаго, быть можетъ, властная рука Строителя жизни уже намѣчаетъ среди развалинъ линіи новыхъ плановъ, закладываетъ основы новыхъ очаговъ. Быть можетъ, именно нашему поколѣнію выпалъ великій жребій сберечь ввѣренный ему свѣточъ культуры и сквозь вихрь разбушевавшейся стихіи пронести его трепещущее пламя. Быть можетъ . . . но намъ, сынамъ прошлаго, этого видѣть не дано. Мы, свидѣтели великаго крушенія, видимъ лишь обломки былого, впервые проникающаго въ наше сознаніе въ какой-то новой, античной цѣлостности.

Холодно и жутко на душѣ; сгущаются сумерки. Еще падаютъ на насъ косые лучи свѣта, но знаемъ мы, что это не разгорающаяся заря восходящаго свѣтила, а угасающіе, вечерніе, прощальные лучи. Встанетъ когда нибудь вновь вѣчное солнце, заливая своимъ свѣтомъ новую возродившуюся жизнь. Быть можетъ, уже намъ предстоитъ ощутить въ нашихъ усталыхъ тоскующихъ членахъ предразсвѣтный бодрящій холодокъ грядущаго дня, пока же, охваченные волной вечернихъ сумерокъ, исполненные предчувствій наступающей ночи, жадно ловимъ мы знакомыя, дорогія черты, озаренныя закатнымъ отблескомъ уходящей культуры.

К. Зайцевъ.

Европа и Евразія.

(По поводу брошюры кн. Н. С. Трубецкого „Европа и Человѣчество“).

I.

Въ недавно вышедшей въ свѣтъ брошюрѣ кн. Н. С. Трубецкого „Европа и Человѣчество“ съ большой опредѣленностью ставится вопросъ о соотношеніи западноевропейской культуры (которую князь Трубецкой называетъ по признаку расоваго происхожденія главнѣйшихъ народовъ Западной Европы культурой „романогерманской“), съ культурами остального человѣчества*). На вопросъ, „можно ли объективно доказать, что культура романогерманцевъ совершеннѣе всѣхъ прочихъ культуръ, нынѣ существующихъ или когда либо существовавшихъ на землѣ“ (стр. 14) — кн. Трубецкой даетъ опредѣленно отрицательный отвѣтъ. И продолжаетъ: „Но если такъ, то эволюціонная лѣстница (культуръ, которую построили западноевропейскіе ученые П. С.), должна обрушиться... Вмѣсто лѣстницы, мы получаемъ горизонтальную плоскость. Вмѣсто принципа градаціи народовъ и культуръ по степенямъ совершенства, — новый принципъ равноцѣнности и качественной несоизмѣримости всѣхъ культуръ и народовъ земного шара“ (стр. 42). И этотъ „новый принципъ“ кн. Трубецкой выставляетъ съ большой экспрессіей и настойчивостью. Но умѣстно спросить: дѣйствительно ли этотъ принципъ является новымъ? Не заключается ли мысль, которую выдвигаетъ кн. Трубецкой, въ самомъ опредѣленіи культуры, какъ оно существуетъ въ современномъ культуровѣдѣніи? Культура есть совокупность „культурныхъ цѣнностей“. А „культурная цѣнность“ есть то, что (согласно формулировкѣ кн. Трубецкого, слѣдующей за формулировкой „романогерманскаго“ социолога Габріеля Тарда) „принято для удовлетворенія потребностей всѣми или частью представителей даннаго народа“ (стр. 46). Слѣдовательно, для возникновенія „культурной цѣн-

*) Кн. Н. С. Трубецкой. Европа и Человѣчество. Россійско-Болгарское книгоиздательство, Софія, 1920 г., 82 стр.

ности“, какъ таковой, вовсе не обязательно, чтобы ее „приняли для удовлетворенія потребностей“ всѣ субъекты человеческого рода, все умопостигаемое человечество. Для возникновенія культурной цѣнности достаточно признанія определенной соціальной группы, хотя бы и небольшой. Иными словами, понятіе „культурной цѣнности“ и связанное съ нимъ понятіе „культуры“ вовсе не апеллируетъ, въ своемъ существованіи, къ признаку общепризнанности и общеобязательности. Въ самомъ опредѣленіи такой цѣнности заключено указаніе, что нѣтъ общаго мѣрила, при помощи котораго „культурныя цѣнности“ одного народа можно было бы признать „лучше и совершеннѣе“ культурныхъ цѣнностей, созданныхъ другимъ народомъ. Въ этомъ смыслѣ культурная цѣнность есть „субъективная“, а не „объективная“ цѣнность, а субъективная цѣнность въ самой идеѣ устраняетъ вопросъ „объективныхъ доказательствъ“ ея совершенства или несовершенства.

Область культурныхъ оцѣнокъ есть область „философской свободы“, и предъ лицомъ такой „свободы“ совершенно правъ кн. Трубецкой, когда онъ превозноситъ, напри- мѣръ, институтъ группового брака австралійцевъ, выставляя его преимущества передъ „элементарной европейской моногаміей“, или ставитъ принципиально на одну доску произведенія дикаря и „футуристическія картинки, нарисованныя европейцами“ (стр. 40—42). Но былъ бы совершенно правъ и „добросовѣстный романогерманецъ“, который доказывалъ бы превосходство моногаміи и футуристическихъ картинокъ. Въдѣ и то и другое создано и утверждено въ своемъ бытіи „культурной цѣнности“ тою соціальною средою, къ которой принадлежитъ онъ самъ, и по началу „субъективной“ цѣнности, въ ея коллективистическомъ выраженіи, не можетъ, по общему правилу, не казаться ему „совершеннѣй и лучше“ соотвѣтствующихъ созданій другихъ народовъ.

Безспорно существуетъ цѣлый рядъ „культурныхъ цѣнностей“, въ отношеніи которыхъ мысль кн. Трубецкого объ ихъ „равноцѣнности и качественной несоизмѣримости“ обладаетъ абсолютной правотой. Но всѣ ли „культурныя цѣнности“ качественно несоизмѣримы между собой? Кн. Трубецкой говоритъ о всѣхъ „культурахъ“ и притомъ воспринимаетъ „культуру“, какъ нѣкоторую единую совокупность: „это можетъ быть и норма права, и художественное произведеніе, и учрежденіе, и техническое приспособленіе, и научное, и философское произведеніе“ (стр. 46). Допустимо ли такое обобщающее воспріятіе? . . . Будетъ ли обосновано воззрѣніе о „равноцѣнности и качественной несоизмѣримости“ куль-

туръ, если въ качествѣ объекта сравненія взять какое либо „техническое приспособленіе“, — сопоставлять, на примѣръ, бумерангъ съ трехлинейной винтовкой, въ качествѣ орудія нападенія и защиты? Можно ли здѣсь говорить о томъ отсутствіи общаго мѣрила „совершенства“, которое мы обнаруживаемъ, обсуждая вопросъ въ примѣненіи къ „учрежденіямъ“ и „художественнымъ произведеніямъ“. Не возникнетъ ли здѣсь необходимость нѣкотораго общеобязательнаго сужденія, не будетъ ли принужденъ каждый homo sapiens признать винтовку „совершеннѣе“ бумеранга, въ качествѣ орудія нападенія и защиты? Дикари, уже знакомые со стекломъ, могутъ думать, что видимый нами небесный сводъ сдѣланъ изъ стекла. Можно ли приписывать этимъ воззрѣніямъ „качественную равноцѣнность“ съ „романогерманскими“ знаніями, касающимися атмосферы? Кн. Трубецкой, видимо, не отрицаетъ общеобязательности (или иначе говоря „совершенства“) логики, созданной романогерманцами: во всякомъ случаѣ, выражая надежду, что защищаемыя имъ мысли „доказаны логически“ (стр. VI) — онъ не даетъ exposé какой либо новой нероманогерманской логики. Между тѣмъ, съ точки зрѣнія логики, опредѣленные разряды „культурныхъ цѣнностей“ являются „соизмѣримыми“ и „неравноцѣнными“, одни отвѣчая требованіямъ логики, а другіе — не отвѣчая имъ. Но поскольку это такъ, — правъ ли кн. Трубецкой, предлагая свои идеи о „равноцѣнности“ и „качественной несоизмѣримости“ не къ тому или иному разряду „культурныхъ цѣнностей“, а къ „культурамъ“, взятымъ, какъ совокупности? Среди инвентаря культуры необходимо различать два порядка культурныхъ цѣнностей; однѣ имѣютъ дѣло съ опредѣленіемъ *основныхъ направленій, цѣлей и „самоцѣлей“* народной и человѣческой жизни вообще; другія устанавливаютъ *средства*, которыя примѣняются для осуществленія цѣлей человѣческаго бытія. Это различіе можно развернуть въ противоположеніе *идеологій*, съ одной стороны, *техники и эмпирическаго знанія*, съ другой. Нормы права, художественныя произведенія, „учрежденія“, относящіяся, на примѣръ, къ такой отрасли, какъ половая жизнь, обладающей несомнѣнно въ человѣческомъ существованіи „самоцѣльнымъ“ характеромъ, а также и философскія положенія относятся къ области „идеологій“. Научныя положенія и техническія приспособленія отходятъ, естественнымъ образомъ, ко второй группѣ. Мыслимы случаи, когда можетъ возникнуть сомнѣніе, къ какой сферѣ отнести ту или иную „культурную цѣнность“. Возможность такого сомнѣнія отнюдь не устраняетъ важности указаннаго различія. Если даже считать выставленный кн. Н. С.

Трубецкимъ „принципъ равноцѣнности и качественной несоизмѣримости“ приложимымъ къ сферѣ „идеологій“ — все же слѣдуетъ съ рѣшительностью указать на то, что въ области техники и эмпирическаго знанія, по самой природѣ предмета, невозможно не признавать существованія нѣкотораго общеобязательнаго, въ принципѣ, мѣрила для оцѣнки относительнаго совершенства тѣхъ или иныхъ техническихъ или научно-эмпирическихъ достижений, для констатированія ихъ *не равноцѣнности* и въ то же время качественной *соизмѣримости*.

Ту мысль, которую мы заключили въ форму противоположенія идеологическихъ элементовъ культуры, съ одной стороны, и техническихъ и эмпирически-научныхъ ея элементовъ, съ другой, и связаннаго съ этимъ противоположеніемъ различія въ приѣмахъ и принципахъ оцѣнки — эту мысль можно, конечно, облекать въ иныя слова и другія, болѣе точныя формулы, чѣмъ это сдѣлали мы. Но намъ кажется, что выясняя отношеніе того или иного народа и тѣмъ болѣе всего „человѣчества“ къ западноевропейской (или какой либо иной) культурѣ, совершенно ошибочно обходить молчаніемъ то кардинальное различіе, которое существуетъ между отдѣльными группами „культурныхъ цѣнностей“, въ отношеніи ихъ мыслимой равноцѣнности и качественной соизмѣримости. Существуютъ обстоятельства, которыя, какъ намъ кажется, съ особенной настоятельностью требуютъ, чтобы на такую ошибочность было указано именно при обсужденіи идей кн. Н. С. Трубецкого. Его трудъ несомнѣнно представляетъ собою, между прочимъ, призывъ къ нѣкоторому практическому дѣйствию въ области культуры. Онъ проникнутъ даже нѣкоторымъ раздраженіемъ противъ „романогерманской“ культуры. Кн. Трубецкой говоритъ о „навожденіи романогерманской идеологій“ (стр. 79), о „нагломъ обманѣ космополитизма“ (стр. 82), о „ненавистномъ игѣ“ (стр. 76). Онъ зоветъ интеллигенцію не-романогерманскихъ народовъ произвести переворотъ. „Главною сущностью этого переворота является сознаніе относительности того, что прежде казалось безусловнымъ: благъ европейской „цивилизаци“. Это должно быть проведено съ безжалостнымъ радикализмомъ . . .“ (стр. 81). Кн. Н. С. Трубецкому не чуждо пониманіе, что „безжалостный радикализмъ“ долженъ относиться не ко всѣмъ атрибутамъ европейской цивилизаци. Не даромъ онъ называетъ „универсальными“ нѣкоторыя „произведенія [романогерманской матеріальной культуры — предметы военнаго снаряженія и механическія приспособленія для передвиженія“ (стр. 13) и, видимо, утверждаетъ тѣмъ самымъ необходимую универсальность ихъ распространенія. Такой же смыслъ имѣетъ признаніе, что при

известныхъ условіяхъ „заимствованіе отдѣльныхъ элементовъ романогерманской культуры не будетъ уже имѣть . . . отрицательныхъ послѣдствій“ (стр. 77). Но дѣлая призывы къ сверженію „ненавистнаго ига“ романогерманской цивилизаціи, — нельзя ограничиться, въ отношеніи къ основному различію между „культурными цѣнностями“ послѣдней, въ смыслѣ относительности однѣхъ и безотносительности другихъ — намеками и оговорками. Выясненія же этого различія при помощи систематическихъ категорій культуровѣдѣнія мы не находимъ въ брошюрѣ кн. Трубецкого. Тѣмъ создается возможность „универсальнаго“ толкованія его призывовъ къ осознанію „относительности благъ европейской цивилизаціи“ . . . Вполнѣ понятно стремленіе cadaго народа обрѣсти собственное свое идеологическое лицо и не быть, въ отношеніи идеологіи, на поводу у другихъ націй. Но въ какомъ положеніи очутился бы тотъ народъ, который, — внимая проповѣдямъ объ „относительности благъ европейской цивилизаціи“ — захотѣлъ бы смѣнить винтовку бумерангомъ и современную физику и химию (съ ея техническими приложеніями не только въ области „военнаго снаряженія“ и „приспособленій для передвиженія“) — физическими и химическими „знаніями“ дикаря? . . . Съ точки зрѣнія должнаго, единственно жизненной, въ данной области, формулой національнаго существованія можетъ быть слѣдующая: *своя идеологія, безразлично, свои или чужія, техника и эмпирическое знаніе* . . .

Поскольку построеніе кн. Трубецкого можно толковать, какъ отверженіе, между прочимъ, и европейскихъ техники и науки (такое толкованіе находитъ себѣ подтвержденіе въ отдѣльныхъ сужденіяхъ кн. Трубецкого, на примѣръ, въ томъ, что „созданіе фабрикъ и заводовъ и изученіе европейскихъ наукъ“ онъ рассматриваетъ, какъ этапъ ненавистной ему „европеизаціи“, стр. 71 — 72), — постольку подобныя идеи, несмотря на здоровое начало, въ нихъ заложенное, могутъ стать опасными для тѣхъ народовъ, къ которымъ обращены. Ибо совершенно очевидно, что тотъ народъ, который вздумалъ бы призывы, подобные призыву кн. Н. С. Трубецкого, отнести безразлично къ идеологіи, техникѣ и наукѣ — уменьшилъ бы во много разъ свою способность къ хозяйственному и политическому дѣйствію и даже, весьма вѣроятно, погибъ бы, какъ національное цѣлое, подъ напоромъ другихъ хозяйственно и политически болѣе сильныхъ народовъ и культуръ. . .

Въ общемъ строѣ идей кн. Трубецкого, его излишне обобщенныя, приводящія къ неясностямъ формулировки (на примѣръ, касательно „принципа равноцѣнности и качественной несоизмѣримости всѣхъ культуръ и народовъ земного

шара" или „относительности благъ европейской цивилизаціи“) — пожалуй, и не заслуживали бы подробнаго разбора: ихъ можно было бы воспринять, какъ случайно проскользнувшую наивность. Если мы остановились на нихъ подробнѣе, то исключительно потому, что путемъ систематическихъ подраздѣленій, мы хотѣли бы содѣйствовать уточненію мыслей о культурно-идеологической эмансипаціи не-романогерманскихъ народовъ, мыслей, лежащихъ въ основѣ конструкцій кн. Трубецкого, — способствовать реалистической и эмпирической постановкѣ проблемы. Такая постановка невозможна внѣ сознанія, что наряду съ положительной цѣлью идеологически-національнаго „самоутвержденія“ не-романогерманскихъ народовъ, сохраняется въ жизни послѣднихъ полное свое значеніе, какъ столь же положительная цѣль, и необходимость использовать на нужды этихъ народовъ техническія и эмпирически-научныя достиженія романогерманцевъ. Поскольку кн. Трубецкой не дѣлаетъ категорическаго и вразумительнаго заявленія объ этомъ, идеализація „дикаря“, такъ же, какъ и замѣчанія объ „относительности благъ европейской цивилизаціи“, приближаются къ проповѣди культурной слабости. . .

II.

Съ точки зрѣнія методологическаго анализа, совершенно ясно почему появились тѣ неясности и наивности, которыми страдаютъ построенія брошюры „Европа и Человѣчество“ кн. Н. С. Трубецкого. Конструкціи кн. Трубецкого потому приблизились, по своему характеру, къ проповѣди культурной слабости, что авторъ ихъ игнорируетъ значеніе *силы*, какъ движущаго фактора культурно-національнаго бытія.

„Самое простое и наиболѣе распространенное доказательство (большаго совершенства романогерманской цивилизаціи, по сравненію съ культурой „дикарей“) заключается въ томъ, что европейцы фактически побѣждаютъ дикарей. Грубость и наивность этого доказательства должна быть ясна для всякаго объективно мыслящаго человѣка. Этотъ аргументъ ясно доказываетъ, насколько поклоненіе грубой силѣ, составляющее существенную черту національнаго характера тѣхъ племенъ, которыя создали европейскую цивилизацію, живетъ и по сіе время въ сознаніи каждаго потомка древнихъ галловъ и германцевъ. . . Разбирать логическую несостоятельность (этого довода), конечно, не стоитъ. . . Европейцамъ постоянно приходится признавать, что побѣда весьма часто выпадаетъ на

долю народовъ „менѣе культурныхъ“, чѣмъ побѣждаемые ими туземцы“ (стр. 22). Тирада о „грубости и наивности“ приводимаго доказательства достойна занять мѣсто въ любой изъ рѣчей Ллойда Джорджа о „цѣляхъ войны“ противъ Германіи, рѣчей, которая нынѣ, въ исторической перспективѣ, можно считать несравненнымъ образцомъ человѣческаго лицемѣрія. — Но умѣстна ли такая тирада въ разсужденіи, претендующемъ на философскую безпристрастность? — Для того, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны вернуться къ кругу мыслей, уже отчасти затронутому нами при анализѣ „принципа равноцѣнности и качественной несоизмѣримости всѣхъ культуръ и народовъ земного шара“. . . Мы должны установить, что оцѣнку большаго или меньшаго „совершенства“ той или иной цивилизаціи можно производить съ разныхъ точекъ зрѣнія. Можно производить ее, на примѣръ, съ точки зрѣнія нравственной идеи о Добрѣ и Злѣ, поскольку эта идея осуществляется въ явленіяхъ культуры. Съ этой точки зрѣнія, несостоятельность ссылокъ на фактическія побѣды еврейцевъ надъ дикарями, какъ на мѣрило „совершенства“ культуры тѣхъ и другихъ, ясна безъ дальнихъ объясненій: съ этой точки зрѣнія такія ссылки прямо таки нелѣпы. Но если область сужденій о Добрѣ и Злѣ признать областью, подчиненной принципу „философской свободы“ — то придется констатировать, что эта область вообще не допускаетъ существованія логически общеобязательныхъ сужденій. . . Дѣло будетъ обстоять иначе, если оцѣнивать степень совершенства культуры, напр., съ точки зрѣнія развитія эмпирической науки. Съ этой точки зрѣнія, допустима градація культуръ по признаку богатства эмпирически-познавательнаго матеріала, накопленнаго каждой данною культурой. Но возможно оцѣнивать степень „совершенства“ культуръ также и по признаку относительной устойчивости или *силы*, которую онѣ обнаруживаютъ при взаимномъ соприкосновеніи. . . „Европейцамъ постоянно приходится признавать, что побѣда весьма часто выпадаетъ на долю народовъ „менѣе культурныхъ“, чѣмъ побѣждаемые ими туземцы. . . Всѣ признаваемые европейскою наукою „великія культуры древности“ были разрушены именно „варварами“ (стр. 22). Слѣдуетъ добавить, что въ тѣхъ случаяхъ, когда „великія культуры“ были разрушаемы „варварами“, эти послѣдніе, въ свою очередь, испытывали на себѣ вліяніе „разрушаемой“ ими культуры. Изъ всего этого слѣдуетъ, что признакъ наибольшей силы устанавливается по разному въ разныхъ отрасляхъ человѣческой культуры. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ одна и та же культура имѣетъ, въ отношеніи другой, и *военно-политическое преобладаніе и преобладаніе*

культурнаго вліянія, (какъ это случается при соприкосновеніи современныхъ европейцевъ и „дикарей“). Но въ другихъ случаяхъ одна культура, болѣе сильная въ военно-политическомъ отношеніи, является болѣе слабой въ отношеніи культурныхъ вліяній (какъ это имѣло мѣсто при разрушеніи „варварами“ „великихъ культуръ древности“). Фактическія побѣды европейцевъ надъ дикарями, какъ доказательство большаго „совершенства“ европейской культуры, по сравненію съ культурами „дикарей“, слѣдуетъ толковать въ смыслѣ большаго „совершенства“ культуръ съ точки зрѣнія *силы*. Въ *такомъ* смыслѣ, этотъ доводъ не заключаетъ въ себѣ ничего иного, кромѣ простаго констатированія факта, — но при томъ факта, чрезвычайно существеннаго въ общемъ строѣ человѣческой культуры.

Существенность этого факта заключается въ томъ, что выживають и приобрѣтають историческое значеніе только тѣ культуры, которыя при соприкосновеніи съ другими оказываются достаточно сильными, чтобы отстоять свое существованіе хотя-бы въ одномъ изъ указанныхъ выше отношеній: или военно-политическомъ или отношеніи культурныхъ вліяній. Въ иномъ случаѣ культура исчезаетъ, какъ исчезла культура инковъ и ацтековъ или столь отличныхъ отъ нихъ огнеземельцевъ и тасманійцевъ. . . Также и максима національнаго бытія, которую мы формулировали въ предыдущемъ „своя идеологія, безразлично, свои или чужія—техника и эмпирическое знаніе“ приложима только къ тѣмъ народамъ, которые проявили устойчивость и жизнеспособность въ культурномъ своемъ существованіи. Ибо возможна ли „своя идеологія“ у народа, который не способенъ ни милитарно защитить свою самостоятельность, ни противостоятъ—въ той или иной степени—чужимъ культурнымъ вліяніямъ?!... Между тѣмъ, въ отношеніи такой защиты и противостоянія, народы міра никогда не находились и не находятся и сейчасъ въ одинаковомъ положеніи и располагаются, по этому признаку, скорѣй въ порядкѣ „лѣстницы“, чѣмъ „горизонтальной плоскости“. . . Это обстоятельство опредѣляетъ нашу оцѣнку той концепціи соотношеній романогерманской и не-романогерманскихъ культуръ, которую мы находимъ у кн. Н. С. Трубецкого. Кн. Трубецкой говоритъ о „Европѣ и Человѣчествѣ“, причемъ „Европа“—это романогерманцы, а „Человѣчество“—это совокупность „славянъ, китайцевъ, индусовъ, арабовъ, негровъ и другихъ племенъ. . . безъ различія цвѣта кожи“ (стр. 76). „Надо всегда и твердо помнить, что противопоставленія славянъ германцамъ или туранцевъ арійцамъ не даютъ истиннаго рѣшенія проблемы, и что истинное противопоста-

вление только одно: романогерманцы—и всѣ другіе народы міра, *Европа и Человѣчество*“ (стр. 82). Призывъ бороться съ „кошмаромъ . . . всеобщей европеизаціи“ обращенъ именно къ „Человѣчеству“. Такова постановка проблемы у кн. Трубецкого, игнорирующаго, какъ мы видѣли, признакъ *силы* въ вопросахъ соотношеній человѣческихъ культуръ. Можно ли признать такую постановку правильной, съ точки зрѣнія признанія *силы*, какъ основного движущаго фактора въ данной отрасли человѣческаго бытія? Съ этой точки зрѣнія, чтобы бороться съ „кошмаромъ.. европеизаціи“, тому или иному народу недостаточно просто существовать, въ качествѣ одной изъ составныхъ частей „Человѣчества“, — но нужно имѣть возможность противопоставить романогерманской культурѣ свою равносильную ей культуру, — культуру, которая могла бы данному народу отразить *manu militari* политическія поползновенія романогерманцевъ и свести на нѣтъ преобладаніе культурнаго ихъ вліянія. . . . Иными словами, — чтобы свергнуть „иго“ романогерманской культуры, нужно имѣть не только желаніе, но и *силу* это сдѣлать. . . . И призывъ, обращенный къ „Человѣчеству“ — освободиться отъ гипноза „благъ цивилизаціи“, можетъ имѣть реально-эмпирическое значеніе только въ томъ случаѣ, если будетъ доказано, что всѣ народы, составляющіе „Человѣчество“, дѣйствительно имѣютъ потребную для этого силу. . . . Намъ кажется, что къ настоящему моменту такое доказательство невозможно. Весьма многіе народы, — не говоря уже объ австралійцахъ и папуасахъ, но даже негры, малайцы, — имѣютъ весьма небольшіе шансы успѣшно сопротивляться романогерманской агрессіи. Поскольку не нарушена установленная нынѣ взаимная связь всѣхъ частей земного шара, постольку для этихъ народовъ существуетъ только одна возможность: смѣна романогерманскаго ига какимъ либо инымъ. И потому, съ точки зрѣнія реально-эмпирической, призывъ къ культурной эмансипаціи, поскольку онъ обращенъ ко всему „Человѣчеству“ — есть мистическое *desideratum*, но никакъ не программа, имѣющая данныя на осуществленіе въ ближайшемъ будущемъ. . . . И однако же, нѣтъ дыма безъ огня. . . . Каждое явленіе, въ томъ числѣ и явленіе духовной жизни, связано съ той эмпирической обстановкой, среди которой возникло и, отражаетъ ее въ себѣ. Поэтому, даже съ совершенно абстрактной точки зрѣнія, слѣдовало бы задаться вопросомъ: не служитъ ли появленіе призывовъ къ эмансипаціи, подобныхъ призыву кн. Трубецкого, признакомъ, что въ нѣкоторой эмпирической національной средѣ, а именно той, гдѣ этотъ призывъ раздается, — возникли условія, опредѣляющія собою возможность

осуществленія такой эмансипаціи? Для мышленія, учитываяающаго эмпирическія возможности, противоположеніе „Европы и Человѣчества“, какъ программа борьбы за культурную эмансипацію, есть звукъ пустой. Но не стоитъ ли за построеніями кн. Трубецкого реальность нѣкотораго иного противоположенія?... Если вникнуть въ идеи кн. Трубецкого, то какъ намъ кажется, не можетъ остаться сомнѣнія, что за ними стоитъ такая реальность. И эта реальность есть противоположеніе *Европы и Россіи*... Кн. Трубецкой сознаетъ, что нѣкоторыя свои положенія онъ могъ бы „обильно иллюстрировать примѣрами изъ русской исторіи и русской дѣйствительности“. Но отъ этого пострадала бы „ясность общаго плана“ (стр. IV — V). Между тѣмъ, нѣкоторыя части брошюры кн. Трубецкого написаны не только, между прочимъ, и о Россіи, но именно о Россіи. Таковы, на примѣръ, наблюденія надъ результатами приобщенія къ европейской культурѣ. Именно русскіе весь XVIII и XIX в.в. оцѣнивали „свой народъ и культуру... съ точки зрѣнія романогерманца“ (стр. 58). Другіе „европеизируемые“ народы, на примѣръ, японцы, — по признанію самого кн. Трубецкого, не причастны къ подобному уничиженію своей духовной личности. Именно въ русскомъ народѣ въ XVIII и XIX в. в. „каждое поколѣніе жило своей особой культурной жизнью, и различіе между „отцами и дѣтьми“ было у него... сильнѣе“, чѣмъ въ другихъ народахъ (стр. 62). Мы всѣ знаемъ „отцовъ и дѣтей“ русской жизни и литературы. Но имѣлъ ли кн. Трубецкой подобное указаніе, на примѣръ, относительно той же Японіи?... Перечисленіе отрицательныхъ послѣдствій европеизаціи, которое даетъ кн. Н. С. Трубецкой, относится, главнымъ образомъ, къ Россіи. Но если и самыя построенія кн. Трубецкого сдѣлать объектомъ нѣкоторыхъ наблюденій со стороны, — то не явятся ли эти построенія, воспринимаемая, какъ эмпирическое явленіе російской интеллектуальной жизни, — знакомъ, что внутри російскаго національнаго организма назрѣваютъ процессы, направленные къ тому, чтобы превратить „европеизацію“ въ преодолѣнный этапъ російской національной жизни?... Если нельзя ожидать, чтобы въ „Человѣчествѣ“, воспринимаемомъ, какъ совокупность, — оказались къ настоящему моменту достаточныя культурныя потенціи, чтобы устранить „европеизацію“ — то нѣтъ ли знаковъ, что такія потенціи имѣются въ одной изъ частей „Человѣчества“ (какъ его понимаетъ кн. Трубецкой) — въ Россіи?... Два факта эмпирической дѣйствительности представляются намъ особо существенными въ этомъ отношеніи. Съ одной стороны, въ самомъ процессѣ „европеизаціи“ произошло „самоутвержденіе“

Россіи въ области изящной литературы и изобразительныхъ искусствъ. Это самоутвержденіе стало настолько несомнѣннымъ фактомъ, что къ концу XIX и въ началѣ XX вѣка духовный „экспортъ“ Россіи въ этихъ отрасляхъ былъ, нужно думать, не менѣе ея духовнаго „импорта“... Съ другой стороны, въ результатѣ міровой Войны и Революціи въ Россіи создалось то историческое явленіе, которое именуется большевизмомъ. Можно въ полной мѣрѣ понимать, какъ ужасенъ терроръ, проводимый большевиками, какъ нелѣпо то разрушеніе російской экономической жизни, которое проистекаетъ изъ ихъ хозяйственныхъ экспериментовъ. Но въ то же время нужно, какъ намъ кажется, признать, что большевизмъ, въ своемъ жизненномъ обличій, въ корнѣ отрицаетъ то умонастроеніе, которое заставляло русскихъ оцѣнивать „свой народъ и культуру... съ точки зрѣнія романогерманца.“ Правда, въ большевистскомъ дѣйствіи несомнѣнно сыграли большую роль вліянія, пришедшія съ запада. Но народный большевизмъ, большевизмъ, какъ практика, существенно разошелся съ тѣмъ, что для него надумали его первоначальные вожди, „западники“ — марксисты. Какъ осуществленіе — большевистскій соціальный экспериментъ, по своимъ идеологическимъ и пространственнымъ масштабамъ, оказался безъ прототиповъ въ исторіи Запада и въ этомъ смыслѣ явился своеобразно російскимъ. Для большевиковъ, въ ихъ стремленіи перестроить Россію, романогерманскій міръ отнюдь не служитъ непререкаемымъ образцомъ. Наоборотъ, для нихъ характерно стремленіе всю „капиталистическую“ Европу перекроить по своему — въ существѣ російскому — образцу. Для большевистской идеологіи не историческіе центры Запада, — Парижъ, Римъ или Лондонъ — являются свѣточами вселенной, но города, которые никакъ нельзя признать за таковыя съ традиціонной „романогерманской“ точки зрѣнія:

„Петроградъ! Ты — пламень красный, зоревой маякъ вселенной,
Твой народъ, разбивъ оковы, самъ судьбу свою куетъ...
Русь, пока ты одинока, но настанетъ мигъ блаженный,
Петроградъ, твой стягъ побѣдный-вѣхъ подъ стягъ свой соберетъ!“

(Василій Князевъ, переводъ стих. „Петроградъ“ нѣмецкаго поэта Макса Бартеля, 1920).

Но и для не-большевика представляется несомнѣннымъ, что явленіе большевизма, въ томъ міровомъ значеніи, которое оно приобрѣло — знаменуетъ собою значительный сдвигъ въ культурно-историческихъ соотношеніяхъ Европы и Россіи. Въ этомъ явленіи уже не Западъ выступаетъ въ качествѣ активнаго фактора и не Россія — въ качествѣ подражателя, съ нѣ-

которымъ запозданіемъ идущаго по путямъ, уже пройденнымъ другими народами. Въ данномъ случаѣ, она не повторяетъ, какъ обычно, того, что произошло въ руководящихъ центрахъ міра и прежде всего, въ „романогерманской“ Европѣ — но сама, своей судьбою, опредѣляетъ самымъ непосредственнымъ образомъ судьбы міра. . . Большевизмъ рано или поздно смѣнится, конечно, инымъ строемъ. Но какой бы строй его ни смѣнилъ, — онъ восприметъ, весьма вѣроятно, то измѣненіе въ исторически-культурныхъ соотношеніяхъ Европы и Россіи, которое принесъ большевизмъ. Ибо сущность этого измѣненія состоитъ вовсе не въ противопоставленіи социалистическаго строя, въ его большевистскомъ толкованіи — капиталистическому строю Запада. Мыслимая міровая культура Россіи такъ же мало, какъ и другія міровыя культуры, можетъ быть сведена къ опредѣленному единообразному содержанію. Сущность указаннаго измѣненія состоитъ въ новомъ сочетаніи элементовъ активности и пассивности, творчества и подражанія, какъ оно опредѣляется въ послѣднее время въ соотношеніяхъ Европы и Россіи.

III.

Такова реальность, прощупываемая нами въ построеніяхъ кн. Трубецкого. Данное имъ противоположеніе „Европы и Человѣчества“ мы свели къ противопоставленію „Европы и Россіи“. Но и эта послѣдняя формула имѣетъ неудобства съ точки зрѣнія логической и мы сказали бы, географической. Дѣло въ томъ, что согласно общепринятымъ опредѣленіямъ, Россія, въ своей значительной части, составляетъ часть Европы и въ то же время Россія, въ другой своей части, выходитъ за предѣлы Европы: Томскъ и Иркутскъ есть такая же Россія, какъ Пенза и Харьковъ. Иначе говоря: Европейская Россія фигурируетъ въ обоихъ элементахъ противоположенія „Европы и Россіи“, что уничтожаетъ логическую и географическую четкость послѣдняго. Слѣдуетъ отмѣтить, что въ чисто географическомъ смыслѣ Россія, въ границахъ 1914 года или вѣрнѣе въ своихъ частяхъ, лежащихъ на Востокъ отъ меридіана Пулкова (беремъ искусственные предѣлы, такъ какъ естественная граница отсутствуетъ) представляетъ собою своеобразный міръ, — отличный и отъ „Европы“ (какъ совокупности странъ, лежащихъ къ западу отъ Пулковскаго меридіана, въ сторону Атлантическаго океана) и отъ „Азіи“ (какъ совокупности низменностей Китая, Индостана и Месопотаміи, горныхъ странъ, лежащихъ между ними, и острововъ, къ нимъ

прилегающихъ) — наиболѣе континентальный мiръ изъ всѣхъ географическихъ мiровъ того же пространственнаго масштаба, которые можно было бы выкроить на материкахъ земного шара. Основнымъ топографическимъ элементомъ Россіи, какъ географическаго цѣлаго, являются три равнины: основная русская (которую по ея гранямъ можно наименовать „Бѣломорско-Кавказской“), Сибирская и Туркестанская, равнины, образующія, благодаря незначительности предѣловъ, ихъ отдѣляющихъ другъ отъ друга (Ураль и Арало-Иртышскій водораздѣлъ), единое, во многихъ отношеніяхъ, равнинное пространство. Россія представляетъ собою сочетаніе этихъ равнинъ съ частью горныхъ странъ, окаймляющихъ ея равнинное пространство съ востока и юга. . . Почти на всемъ своемъ протяженіи она обладаетъ климатомъ, единымъ во многихъ основныхъ своихъ чертахъ и въ то же время существенно отличнымъ отъ господствующихъ климатовъ „Европы“ и „Азіи“. Почти все ея пространство получаетъ въ годъ осадковъ менѣе 600 миллиметровъ; но на преобладающей части ея протяженія ихъ выпадаетъ болѣе 300 миллиметровъ. Между тѣмъ, для „Европы“ отличительны климатическіе типы съ количествомъ осадковъ болѣе 600 миллиметровъ въ годъ, а для „Азіи“ — сочетаніе областей, получающихъ болѣе 600 миллиметровъ, съ областями, получающими менѣе 300. . . Но еще болѣе характерной чертой „русскихъ“ климатовъ и въ то же время совершенно необычайной, въ качествѣ общаго правила, въ климатахъ „Европы“ и „Азіи“ — является весьма широкая амплитуда колебанія температуръ въ теченіе года, чрезвычайно значительное отклоненіе средней температуры самаго жаркаго мѣсяца отъ температуръ самаго холоднаго. . . Въ Россіи это отклоненіе въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ превосходитъ 25° Ц. и въ Якутской области ставитъ мiровые „рекорды“, достигая 65° Ц. Въ „Европѣ“ и „Азіи“, только въ видѣ исключенія оно достигаетъ предѣла въ 25° Ц. . . Лишь весьма небольшіе, по своему протяженію, районы Россіи отклоняются, въ своемъ климатическомъ характерѣ, отъ единообразнаго типа и приближаются къ климатическимъ типамъ, отличительнымъ для „Европы“ и „Азіи“. Перечислить эти районы не трудно. Климатъ южнаго берега Крыма напоминаетъ собою климаты областей, лежащихъ вокругъ Эгейскаго и Мраморнаго моря. Климатъ предгорьевъ Сѣвернаго Кавказа (Екатеринодаръ, Владикавказъ) близко подходитъ къ климату Дунайскихъ Странъ (Румынія, Венгрія). Климатъ Кавказско-Черноморскаго побережья воспроизводитъ собой климатическій типъ Средняго Китая и Южной Японіи. Можно еще, пожалуй, назвать климатъ Мурманскаго побережья, сходный съ

климатомъ странъ, окаймляющихъ Сѣверо-Восточный Бассейнъ Атлантическаго океана: Сѣверной Норвегіи, Исландіи, Фарерскихъ острововъ. Во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ климатическіе типы, охватывающіе внѣ предѣловъ Россіи обширныя пространства, — въ Россіи господствуютъ всего лишь на узкихъ полоскахъ земли, протянувшихся вдоль горныхъ хребтовъ или морскихъ побережій; имѣются, не какъ климаты значительныхъ, по своему протяженію, географическихъ областей, но скорѣе „для коллекціи“ . . . Различія преобладающихъ типовъ россійскаго климата, съ одной стороны, и климатовъ „Европы“ и „Азіи“, съ другой, можно, въ нѣкоторой степени, свести къ традиціонному различію климата „континентальнаго“ и „океаническаго“. Слѣдуетъ отмѣтить сколь грандіозную совокупность „континентальныхъ“ климатовъ являетъ собою Россія; и въ то же время предостеречь отъ воззрѣнія, что „континентальность“ ея климатовъ составляетъ нѣкоторую географическую ея „обездоленность“, воззрѣнія, которое не чуждо нашимъ элементарнымъ учебникамъ географіи. Вопросъ о „преимуществахъ“ океаническаго климата гораздо сложнѣе, чѣмъ это обычно думаютъ. Но такъ какъ мы не пишемъ изслѣдованія по географіи, то не можемъ входить въ подробности. . . Въ отношеніи почвъ, той скрѣпой, которая накрѣпко связываетъ части Россіи, лежащія по одну и по другую сторону Уральскаго хребта, является полоса Черноземовъ, которая простирается отъ предѣловъ Подоліи до Минусинскихъ степей и въ то же время не имѣетъ никакихъ аналогій среди почвъ „Европы“ и „Азіи“ . . .

Россія, какъ по своимъ пространственнымъ масштабамъ, такъ и по своей географической природѣ, единой во многомъ на всемъ ея пространствѣ и въ то же время отличной отъ природы прилегающихъ странъ, является „континентомъ въ себѣ“. Этому континенту, предѣльному „Европѣ“ и „Азіи“, но въ то же время не похожему ни на ту, ни на другую, подобаетъ, какъ намъ кажется, имя „Евразіи“. Это обозначеніе прилагаютъ обыкновенно ко всему матеріку „Стараго Свѣта“. Мы же въ данномъ случаѣ хотимъ приложить его къ срединной части этого матеріка, къ той обширной области, центромъ которой является средостѣніе между Европой и Азіей, въ традиціонномъ ихъ разграниченіи. Вмѣсто обычныхъ двухъ — на матерікѣ „Стараго Свѣта“ мы различаемъ три континента: Европу, Евразію и Азію. . . Предѣлы „Евразіи“ не могутъ быть установлены по какому либо несомнѣнному признаку, такъ же, какъ не можетъ быть установлена такая граница въ отношеніи къ обычному подраздѣленію Европы и Азіи. Въ послѣднемъ случаѣ предѣломъ Европы условно

считаются восточныя границы Архангельской, Вологодской, Пермской, Уфимской, Оренбургской губерній и Уральской области. Такъ же условно предѣломъ „Евразіи“ можно считать границы Державы Россійской или ея частей, лежащихъ къ востоку отъ Пулковскаго меридіана . . . Такимъ образомъ, Россію мы отождествляемъ съ Евразіей. Въ связи съ этимъ, противоположеніе „Европы и Россіи“, заключающее въ себѣ несомнѣнную географическую несообразность, раскрывается для насъ въ противоположеніе „Европы и Евразіи“, которое, при нѣкоторомъ видоизмѣненіи обычныхъ географическихъ опредѣленій, звучитъ, какъ намъ кажется, точнѣе и четче . . . (это видоизмѣненіе не устраняетъ, конечно, имени Россіи, во всемъ его историческомъ и этнографическомъ значеніи). Но не только въ географическихъ опредѣленіяхъ — смыслъ предлагаемаго измѣненія формулировокъ. Это измѣненіе ориентировано также на опредѣленные культурно-историческія обстоятельства: учитывая то, что съ понятіями „Европы“ и „Азіи“ связаны у насъ нѣкоторыя культурно-историческія представленія, мы заключаемъ въ имя „Евразіи“ нѣкоторую сжатую культурно-историческую характеристику того міра, который иначе называемъ „россійскимъ“, — его характеристику, какъ сочетанія культурно-историческихъ элементовъ „Европы“ и „Азіи“, не являющагося въ то же время, въ полной аналогіи съ природой географической, — ни Европой, ни Азіей . . . Параллели между условіями географическими и культурно-историческими можно продолжить и далѣе. Въ этомъ отношеніи особенно интересно сопоставленіе именно „Европы и Евразіи“. Европѣ неизвѣстны ни столь высокія, ни столь низкія температуры, какія являются общимъ правиломъ въ климатѣ Россіи — Евразіи. Нельзя ли констатировать въ духовной жизни послѣдней извѣстнаго параллелизма этой широтѣ амплитудъ термическихъ колебаній? Не является ли характернымъ для Россійско-Евразійской культуры, не служитъ ли отличіемъ Россійско-Евразійской души нѣкоторое сочетаніе такой душевной темноты и низости съ такой напряженностью просвѣтленія и порыва, которое недоступно европейской душѣ и неизвѣстно въ европейской культурѣ, уравновѣщенной и законченной въ своей, относительно-узкой, духовной амплитудѣ? . . . За мѣна имени „Россіи“ именемъ „Евразіи“ имѣетъ для насъ значеніе также и въ примѣненіи къ тому конкретно-историческому противопоставленію „Европы и Россіи“, „Европы и Евразіи“, о которомъ мы говорили въ предыдущемъ. Совершенно очевидно, что въ не-романогерманскомъ мірѣ, въ отношеніи котораго мы ставимъ вопросъ, не является ли „Ев-

разія“ или „Россія“ той силы, которая способна свергнуть съ себя безусловное подчиненіе „романогерманской“ культурѣ и устранить слѣпое подражаніе „европейскому“ образцу, „кошмаръ . . . всеобщей европеизаціи“, — совершенно очевидно, что въ этомъ мірѣ этнографическая Россія играетъ центральную и опредѣляющую роль. Но было бы совершенно неправильно то культурно-историческое противопоставленіе, нарастаніе котораго мы можемъ осязать въ современности, — сводить къ противоположенію Европѣ Россіи, какъ этнографическаго цѣлаго. Противоположеніе это питается и въ идеологическомъ и въ милитарномъ отношеніи силами не одной этнографической Россіи, но цѣлаго круга примыкающихъ къ ней туранскихъ, монгольскихъ, арійскихъ, иверскихъ, финскихъ народовъ. Силы этихъ народовъ частично способствовали созданію Россійской мощи и культуры, онѣ дѣйствуютъ и въ явленіи большевизма, — между тѣмъ, въ явленіи этомъ, — несмотря на его отвратительное и дикое лицо, — несомнѣнно заложены элементы протеста нѣкотораго не-романогерманскаго міра противъ романогерманскаго культурнаго и иного „ига“. Даже исключительно въ цѣляхъ учестъ такое соучастіе не-россійскихъ элементовъ въ нѣкоторомъ общемъ съ этнографической Россіей дѣйстви — было бы правильно Россію, въ ея противопоставленіи „Европѣ“, именовать „Евразіей“. Но въ существѣ вопросъ ставится шире. Къ границамъ Россіи примыкаетъ рядъ народовъ и странъ, которые, не входя въ предѣлы Россіи и стремясь въ большинствѣ случаевъ сохранить полную свою политическую отъ нея независимость, — связаны, однако, съ Россіей нѣкоторою общностью духовнаго склада и отчасти расовыхъ и этнографическихъ свойствъ. Страны эти не являются „романогерманскими“, но въ рядѣ случаевъ такъ же, какъ и Россія, служили и служатъ объектомъ „европеизаціи“. Въ то же время многія изъ нихъ заключаютъ въ своемъ прошломъ и настоящемъ залогъ духовнаго своеобразія. Народы и страны эти, весьма вѣроятно, могутъ стать союзниками Россіи или примкнуть къ ней въ ея культурно-историческомъ противоположеніи „Европѣ“. Не исключено, что это случится (а отчасти уже и имѣетъ мѣсто) въ отношеніи нѣкоторыхъ славянскихъ народовъ, турокъ, персовъ, монголовъ застѣннаго Китая . . . Интересно отмѣтить, что эти народы занимаютъ территоріи, на большей части своего протяженія приближающіяся по своему географическому характеру, къ природѣ Россіи Евразіи. Напр., климаты плато Малой Азіи, Ирана и сѣверо-западнаго Китая близко подходятъ къ климатическимъ типамъ Евразіи, напр., по количеству осадковъ или по амплитудѣ термическихъ колебаній. Страны

эти принадлежатъ къ числу горныхъ областей, отдѣляющихъ равнинное пространство Евразіи отъ низменностей Азіи, — областей, часть которыхъ входитъ въ предѣлы Россіи; ихъ близость, по географическому характеру, къ природѣ Россіи—Евразіи иллюстрируетъ фактъ отсутствія опредѣленныхъ естественныхъ границъ между Евразіей и Азіей. Существованіе же этихъ странъ, въ ихъ географическомъ и культурно-историческомъ сближеніи съ Россіей, — даетъ намъ новое основаніе въ нашемъ разборѣ соотношеній между романогерманскими и не-романогерманскими культурами говорить не о Россіи, но именно объ „Евразіи“

Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что противоположеніе „Европы и Евразіи“ вовлечетъ въ свое лоно также и нѣкоторые народы „Азіи“. Но допуская возможность подобнаго расширенія рамокъ мірового протеста противъ романогерманской агрессіи, слѣдуетъ оговориться, что расширеніе этихъ рамокъ на такіе народы, какъ индусы или китайцы, отнюдь не означаетъ расширенія ихъ до предѣловъ всего „Человѣчества“. Ибо индусы или китайцы, въ смыслѣ потенцій культурно-историческаго противопоставленія, отнюдь не однохарактерны, напр., неграмъ, австралійцамъ или папуасамъ

Но и того расширенія рамокъ, — возможность котораго допускаемъ мы, совершенно достаточно, чтобы обосновать вопросъ: поскольку Россія, въ своемъ противопоставленіи „Европѣ“—вовлекаетъ въ свой лагерь цѣлый рядъ иныхъ не-россійскихъ народовъ, не означаетъ-ли для этихъ народовъ такое вовлеченіе простую смѣну ига „романогерманской“ культуры игомъ культуры россійской? Отвѣчая на такой вопросъ, слѣдуетъ, прежде всего, отмѣтить, что и народы Евразіи не однохарактерны другъ другу; ихъ культурныя потенціи различны; и напр., то, что можетъ относиться къ тунгусамъ, не относится къ башкирамъ и киргизамъ, а тѣмъ болѣе къ туркамъ и персамъ. Жизнь жестока; и на слабѣйшихъ народахъ Евразіи можетъ тяготѣть россійское иго, однохарактерное игу романогерманскому. . . . Но въ отношеніи народовъ, не лишенныхъ культурныхъ потенцій — важнѣйшимъ фактомъ, характеризующимъ національныя условія Евразіи,—является фактъ иного конструированія отношеній между россійской націей и другими націями Евразіи, чѣмъ то, которое имѣетъ мѣсто въ областяхъ, вовлеченныхъ въ сферу европейской колониальной политики, въ отношеніяхъ романогерманцевъ и туземныхъ народовъ. Евразія есть область нѣкоторой равноправности и нѣкотораго „братанія“ націй, — не имѣющаго никакихъ аналогій въ междунаціональныхъ соотно-

шеніяхъ колониальныхъ имперій. И „Евразійскую“ культуру можно представить себѣ въ видѣ культуры, являющейся, въ той или иной степени, общимъ созданіемъ и общимъ достояніемъ народовъ Евразіи. Но мыслима-ли подобная общность культурнаго созиданія и достоянія, въ отношеніи романогерманцевъ и, напр., негровъ Банту или хотя-бы малайцевъ?...

IV.

Въ какихъ-же реальныхъ формахъ можетъ произойти тотъ „переворотъ... въ психологіи“ и будетъ протекать та „борьба... безъ какихъ-бы то ни было компромиссовъ“, которая должна освободить не-романогерманскіе народы „отъ навожденія романогерманской идеологіи“ (Трубецкой, стр. 79)? Чтобы такая борьба могла осуществиться,—изъ подъ дѣйствія „переворота... въ психологіи“ должны быть обязательно изъяты,—какъ мы стремились показать въ предыдущемъ—романогерманскія техника и наука. Въ противномъ случаѣ, романогерманскія пушки весьма скоро и радикально возвратятъ самоутвердившійся народъ подѣ „ненавистное иго“. Иными словами „переворотъ... въ психологіи“ можетъ касаться именно и только „идеологіи“... Кн. Трубецкой говоритъ объ „эгоцентризмѣ, проникающемъ собою всю культуру романогерманцевъ“ (стр. 76) и „заставляющемъ видѣть во всѣхъ элементахъ этой культуры нѣчто абсолютно высшее и совершенное“ (стр. 77). Въ эгоцентризмѣ кн. Трубецкой усматриваетъ „роковой недостатокъ“ романогерманской культуры. Его программа „борьбы... безъ какихъ-бы то ни было компромиссовъ“ сводится именно къ тому, что „европеизированные не-романогерманскіе народы при восприниманіи европейской культуры вполне могутъ очищать ее отъ эгоцентризма“ (стр. 76). Согласно сказанному выше, такая „чистка“ можетъ относиться только къ идеологіи. И поэтому, если ставить вопросъ о реальномъ осуществленіи „программы“ князя Н. С. Трубецкого, то слѣдуетъ задаться вопросомъ, возможно-ли освободить отъ эгоцентризма національную идеологію того или иного народа. Вспомнимъ, что идеологія, такъ же, какъ и всякая иная „культурная цѣнность“, существуетъ, поскольку она принята для удовлетворенія опредѣленнаго рода потребностей „всѣми или частью представителей даннаго народа“. Мыслимо-ли, чтобы тотъ народъ или та часть его, которая утверждаетъ своимъ признаніемъ самое бытіе данной идеологіи, отказалась-бы отъ „эгоцентризма“ въ оцѣнкѣ послѣдней? Не представляется-ли совершенно очевиднымъ, что люди именно потому и приѣмлютъ ту или иную идеологію для

удовлетворенія своихъ духовныхъ потребностей, что видятъ въ ней „нѣчто... высшее и совершенное“? И признать чужую идеологию болѣе высокой и совершенной, чѣмъ своя собственная, или хотя-бы столь-же высокой и совершенной, какъ послѣдняя, не значитъ-ли это отказаться отъ своей идеологии и тѣмъ самымъ устранить ея существованіе?... Намъ кажется, что въ самомъ понятіи „идеологии“ заложенъ признакъ „эгоцентризма“. И поскольку кн. Трубецкой чаемое имъ сверженіе „тяжелаго гнета“ романогерманской культуры желаетъ произвести путемъ очищенія культуръ отъ „эгоцентризма“, идеи его являются столь-же нереальными и отчужденными отъ эмпирической дѣйствительности, какъ и его мысль о возможности культурной эмансипаціи всего „человѣчества“. Не служитъ-ли лучшимъ доказательствомъ правильности такого признанія отношеніе самого кн. Трубецкого къ проповѣдуемой имъ идеологии борьбы „съ кошмаромъ... всеобщей европеизаціи“? Въ той области, которой касаются его построения, онъ считаетъ, что всѣ „противупоставленія“, вскрытыя до него, — „не даютъ истиннаго рѣшенія проблемы, и что истинное противупоставленіе есть только одно“: — конечно, то, которое усматриваетъ кн. Н. С. Трубецкой: „романогерманцы—и всѣ другіе народы міра, Европа и Человѣчество“. Не показываетъ-ли это, что и самъ авторъ разбираемой брошюры признаетъ созданную имъ идеологию „выше и совершеннѣе“ всякой иной, касающейся тѣхъ-же вопросовъ? Интересно, какъ докажетъ онъ возможность, чтобы не только отдѣльные индивиды, но и цѣлые народы отказались отъ „эгоцентризма“, когда онъ самъ, въ своей идеологии, находится всецѣло во власти этого „рокового недостатка“... Нужно признать категорически, что реалистическая и эмпирическая постановка проблемы эмансипаціи отъ „неизбѣжности всеобщей европеизаціи“ отнюдь не связана съ отказомъ отъ „эгоцентризма“ со стороны тѣхъ народовъ, которые идутъ къ подобной эмансипаціи. Не конецъ, но начало „европеизаціи“ связано съ такимъ отказомъ. Именно тогда, когда народъ начинаетъ „стремиться искоренить свою туземную культуру въ угоду европейской“, когда его интеллигенція начинаетъ „смотрѣть на самихъ себя, какъ на отсталыхъ, остановившихся въ своемъ развитіи представителей человѣческаго рода“ (стр. 77) и оцѣнивать „свой народъ и культуру... съ точки зрѣнія романогерманца“, — именно тогда народъ всецѣло отрекается отъ эгоцентризма и поистинѣ перестаетъ думать, что его собственная, „туземная“ культура есть нѣчто „абсолютно высшее и совершенное“. Въ такой моментъ число самоутвержденныхъ національныхъ идео-

логій міра уменьшається на одну. Романогерманская идеологія устраниаєть самобытнубу идеологію даннаго народа и замѣняетъ ее собою. Такое явленіе произошло, въ отношеніи Россіи, при Петрѣ Великомъ и позднѣе, когда въ идеологическомъ смыслѣ Россія распласталась на брюхѣ передъ „Европой“... При культурной „эмансипаціи“ народа должно происходить обратное. Народъ возвращается къ сознанію, что не какая либо чужая, привнесенная со стороны идеологія, но его собственная является „вышей и совершенной“. Онъ проникается „эгоцентризмомъ“; онъ превозноситъ свою идеологію и ея превосходство готовъ дѣйственно отстаивать предъ лицомъ чужестранцевъ. Число самоутвержденныхъ національныхъ идеологій міра увеличивается на одну...

Сказанное относится всецѣло къ мыслимой культурной эмансипаціи Россіи—Евразіи. Эмансипація эта можетъ быть обрѣтена этнюдь не на путяхъ противоположенія „Европы и Человѣчества“, которое существуетъ только въ мистическихъ чаяніяхъ, и не путемъ очищенія не-романогерманскихъ культуръ отъ элементовъ „эгоцентризма“,—но въ совершенно реальномъ противопоставленіи эгоцентризму европейскому — эгоцентризма евразійскаго. Залогъ осуществленія подобной эмансипаціи — именно въ созиданіи, сознательномъ и безсознательномъ, дѣйственаго и творческаго „эгоцентризма“ Евразіи, который сплотилъ бы силы и подвинулъ ихъ на жертвенный подвигъ. . .

Петръ Савицкій.

Хуторъ Нарли на Азіатскомъ берегу
Босфора. 8 Января 1921 года.

Дневникъ Зинаиды Николаевны Гиппіусъ.

Отъ редакціи.

Печатаемый „Дневникъ“ З. Н. Гиппіусъ мы рассматриваемъ не просто какъ литературное произведеніе, а какъ „человѣческій документъ“ крупнаго историческаго значенія. Со многими мнѣніями З. Н. Гиппіусъ мы рѣшительно несогласны, но мнѣнія автора, съ одной стороны, его наблюденія и переживанія, съ другой стороны, неотдѣлимы въ этомъ „Дневникѣ“. Мы не принимаемъ на себя отвѣтственности за эти мнѣнія, но мы, въ то же время, не считаемъ возможнымъ осуществлять какую либо цензуру надъ предлагаемымъ „Дневникомъ“, печатаемымъ нами именно какъ замѣчательный документъ переживаемой эпохи.

Часть I. Исторія моего Дневника.

„Черная книжка“ — лишь сотая часть моего „Петербургскаго Дневника“, моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявленія войны. Я скажу далѣе, какая судьба постигла двѣ толстыя книги этой записи, доведенной до февраля—марта 1919 года. Сейчасъ отмѣчаю лишь то обстоятельство, что ихъ у меня нѣтъ. И я должна сказать о нихъ нѣсколько словъ прежде, чѣмъ дать текстъ записи послѣдней, касающейся второй половины 1919 года. Правда, этотъ послѣдній дневникъ написанъ нѣсколько иначе, отрывочнѣе, короткими отмѣтками, иногда безъ чиселъ. Но все таки онъ — продолженіе, и безъ фактиче-

скихъ ссылокъ на первыя тетради онъ будетъ непонятенъ даже внѣшне.

Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковскаго, и наше положеніе, въ общемъ, были благопріятны для веденія подобныхъ записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали къ тому широкому кругу русской „интеллигенціи“, которую, справедливо или нѣтъ, называли „совѣстью и разумомъ“ Россіи. Она же — и это ужъ конечно справедливо — была единственнымъ „словомъ“ и „голосомъ“ Россіи, нѣмой, притайно-молчащей — самодержавной. Послѣ неудавшейся революціи 1905 года — неудавшейся потому, что самодержавіе осталось, — интеллигенція, если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласіями, она, однако, была объединена общимъ политическимъ, очень важнымъ отрицаніемъ: отрицаніемъ самодержавнаго режима. Русская интеллигенція, — это классъ или кругъ, или слой (всѣ слова не точны), котораго не знаетъ буржуазно-демократическая Европа, какъ не знала она самодержавія. Слой, по сравненію со всей толщей громадной Россіи, очень тонкій; но лишь въ немъ совершалась кое-какая культурная работа. И онъ сыгралъ свою, очень серьезную историческую роль. Я не буду ее опредѣлять, я не сужу сейчасъ русскую интеллигенцію, я просто о ней рассказываю.

Раздѣленія на профессиональные круги въ Петербургѣ почти не было. Дѣятели самыхъ различныхъ поприщъ, — ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, — всѣ они такъ или иначе оказывались причастными политикѣ. Политика, — условія самодержавнаго режима, — была нашимъ первымъ жизненнымъ интересомъ, ибо каждый русскій культурный человѣкъ, съ какой бы стороны онъ ни подходилъ къ жизни, — и хотѣлъ того или не хотѣлъ, — непременно сталкивался съ политическимъ вопросомъ.

Когда послѣ 1905 года появился призракъ общегосударственной работы, — создалась Дума, — и на-

родились такъ называемые „политическіе дѣятели“, — эта спеціализація ничего, въ сущности, не измѣнила. Только усилилась партійность; но самый видный „политическій дѣятель“ оставался тѣмъ-же интеллигентомъ, въ томъ же кругу, а колесо его чисто-государственной, политической дѣятельности вертѣлось въ пустотѣ. Прибавился только нѣкоторый самообманъ, — а онъ былъ даже вреденъ.

Не всякій интеллигентъ, конечно, принадлежалъ фактически къ той или другой партіи; но всѣ въ нихъ разбирались, и почти каждый сочувствовалъ какой нибудь одной болѣе, чѣмъ остальнымъ. Междупартійная борьба не прекращалась; но такъ какъ при данныхъ условіяхъ она принимала довольно отвлеченныя формы, и такъ какъ всѣ партіи сходились на ненависти къ самодержавію, то русскіе круги интеллигенціи, даже не только центральные, были въ постоянномъ соприкосновеніи.

Мы, т. е. я, Мережковскій и Философовъ, а также нѣкоторые друзья наши, склонялись, какъ писатели, къ идейнымъ сторонамъ общественнаго вопроса. Не входя ни въ одну изъ политическихъ партій, мы, однако, имѣли касаніе почти ко всѣмъ. Въ той, которой мы наиболѣе сочувствовали, у насъ было много давнихъ друзей. Задолго до войны мы сблизились съ нѣкоторыми эмигрантами (между прочимъ, съ Савиновымъ), съ которыми мы поддерживали постоянныя сношенія. Это была партія социалистовъ — революціонеровъ. Несмотря на плохо разработанную идеологию, партія эта казалась намъ наиболѣе органической, наиболѣе отвѣчающей русскимъ условіямъ. За соц.-революціонерами, какъ народниками, стояло уже свое историческое прошлое. Что касается партіи социаль-демократической, — партіи, сравнительно новой въ Россіи, лишь послѣ 1905 года оформившейся у насъ по западнымъ образцамъ и уже расколотою на большевиковъ и меньшевиковъ, то самая основа ея — экономическій матеріализмъ, — была намъ, и нѣкото-

рой части русской интеллигенціи, особенно чужда (какъ и самому русскому народу, — казалось намъ). Всѣ десять лѣтъ мы вели съ ней послѣдовательную, очень внутреннюю, идейную борьбу.

Призракъ конституціи, Дума, послужила созданию партіи „умѣренныхъ“, либеральныхъ, стремящихся къ государственной работѣ въ легальныхъ рамкахъ. Какъ уже было упомянуто, эта работа въ конечномъ счетѣ тоже оказывалась призрачной. Партія конституціонно-демократическая (кадетская), единственно значительная либеральная русская партія, въ сущности не имѣла подъ собой никакой почвы. Она держалась европейскихъ методовъ въ условіяхъ, ничего общаго съ европейскими не имѣющихъ. Но, конечно, если въ области политики работа либераловъ и была безплодна, то въ области культуры они кое-что сдѣлали — или дѣлали, по крайней мѣрѣ. Этимъ объясняется то, что либералы, въ предвоенные годы, постепенно завоевывали себѣ все больше и больше сочувствующихъ среди интеллигенціи.

Мы близко соприкасались съ либералами, благодаря тому, что Философовъ, не входя въ партію каде, работалъ въ партійной газетѣ „Рѣчь“ и позиція его имѣла много общаго съ позиціей либеральной.

Такимъ образомъ, вся скудная политическая жизнь Россіи, сконцентрированная въ русской интеллигенціи, въ нелегальныхъ и легальныхъ партіяхъ, около вырождающагося правительства и около призрачнаго парламента, — около Думы, — вся эта жизнь лежала передъ нашими глазами. Не надо русскому писателю быть профессиональнымъ политикомъ, чтобы понимать, что происходитъ. Довольно имѣть открытые глаза. У насъ были только открытые глаза. И мой дневникъ естественно сдѣлался записью общественно-политической.

Здѣсь кстати сказать, что даже виѣшнее, географическое, наше положеніе оказалось очень благопріятнымъ для моей записи. Важенъ Петербургъ, какъ

общій центръ событій. Но въ самомъ Петербургѣ еще былъ частный центръ: революція съ самаго начала сосредоточилась *около Думы*, т. е. около Таврическаго Дворца. Прямые улицы, ведущія къ нему, было во дни февраля и марта 17 года словно артеріями, по которымъ бѣжала живая кровь къ сердцу—къ широкому Дворцу екатерининскихъ временъ. Онъ задумчиво и гордо круглилъ свой куполь за сѣтью обнаженныхъ березъ стариннаго парка.

Мы слѣдили за событіями по минутамъ,—мы жили у самой рѣшетки парка въ бельэтажѣ послѣдняго дома одной изъ улицъ, ведущихъ ко дворцу. Всѣ шесть лѣтъ,—шесть вѣковъ,—я смотрѣла изъ окна, или съ балкона, то направо, какъ закатывается солнце въ туманномъ далекѣ прямой улицы, то направо, какъ опускаются и обнажаются деревья Таврическаго сада. Я слѣдила, какъ умиралъ старый дворецъ, на краткое время воскрескій для новой жизни,—я видѣла, какъ умиралъ городъ... Да, цѣлый городъ, Петербургъ, созданный Петромъ и воспѣтый Пушкинымъ, милый, строгій и страшный городъ—онъ умиралъ... Последняя запись моя—это уже скорбная запись агоніи.

Но я забѣгаю впередъ. Я лишь хочу сказать, что и это внѣшнее обстоятельство, случайное наше положеніе вблизи центра событій, благопріятствовало ясности моихъ записей. Мнѣ кажется, если бы я даже не была писателемъ, если бы я даже вовсе не умѣла писать, но видѣла бы, что видѣла,—я бы научилась писать и не могла бы не записывать...

Война всколыхнула петербургскую интеллигенцію, обострила политическіе интересы, обостривъ въ то же время борьбу партій внутри. Либералы рѣзко стали за войну,—и тѣмъ самымъ въ какой-то мѣрѣ за поддержку самодержавнаго правительства. Знаменитый „думскій блокъ“ былъ попыткой объединенія лѣвыхъ либераловъ (ка-де) съ болѣе правыми—ради войны.

Другая часть интеллигенціи была противъ войны,—болѣе или менѣе; тутъ народилось безчисленное

множество отгѣнковъ. Для насъ, не чистыхъ политиковъ, людей не ослѣпленныхъ сложностью внутреннихъ нитей, для насъ, не потерявшихъ еще человѣческаго здраваго смысла,—одно было ясно: война для Россіи, при ея современномъ политическомъ положеніи, не можетъ окончиться естественно; раньше конца ея—будетъ революція. Это предчувствіе, — болѣе, это знаніе, раздѣляли съ нами многіе.

„... Будетъ, да, несомнѣнно,—писала я въ 16-мъ году.—Но что будетъ? Она, революція настоящая, нужная, вѣрная, или безликое стихійное Оно, крахъ,—что будетъ? Если бы всѣ мы съ ясностью видѣли, что грозныя событія близко, при дверяхъ, если бы всѣ мы одинаково понимали, были готовы встрѣтить ихъ... можетъ быть они стали бы не крахомъ, а спасеніемъ нашимъ...“ Но грозы этой не видали „реальные политики“, тѣ именно, которые во время войны одни что-то дѣлали въ Думѣ, какъ-то все таки направляли курсъ—либералы. Во всякомъ случаѣ они стояли первыми за правительствомъ; зданіе трещить, казалось намъ,—и не должны ли они первые, своими руками, помочь разрушенію того, что обречено разрушиться, чтобы сохранить нужное, чтобы не обвалилось все зданіе и не похоронило насъ подъ обломками?

Но либералы все правѣли, ожесточая крайнія лѣвые партіи (у нихъ была кое-какая связь съ низами, хотя слабая, кажется), ожесточая даже и не самыя крайнія. Я помню, какъ однажды Керенскій, говоря со мной по телефону послѣ какой-то очень грубой ошибки думскихъ лидеровъ, на мой горестный вопросъ: „что-же теперь будетъ?“ отвѣчалъ: „будетъ то, что начинается съ а...“, т. е. анархія, т. е. крахъ, „Оно“.

Керенскаго мы знали давно. Онъ бывалъ у насъ и до войны. Во время войны мы, кромѣ того, встрѣчались съ нимъ и въ безчисленныхъ лѣвыхъ кружкахъ интеллигенціи. Мы любили Керенскаго. Въ немъ было

что-то живое, порывистое и—дѣтское. Несмотря на свою истерическую нервность, онъ тогда казался намъ дальновиднѣе и трезвѣе многихъ.

Было-бы и трудно, и бесполезно, и даже скучно рассказывать здѣсь по памяти о тѣхъ страницахъ моего дневника, которыхъ нѣтъ передо мною. Историческія событія того времени въ общихъ чертахъ — извѣстны; мелкихъ подробностей не припомнишь; а центръ тяжести дневника, самый уклонъ его — такого рода, что вздумай я говорить о немъ кратко — ничего бы не вышло. Дѣло въ томъ, что меня, какъ писателя — беллетриста, по преимуществу занимали не одни историческія событія, свидѣтелемъ которыхъ я была; меня занимали главнымъ образомъ *люди въ нихъ*. Занималъ каждый человѣкъ, его образъ, его личность, его роль въ этой громадной трагедіи, его сила, его паденія, — его путь, его жизнь. Да, исторію дѣлаютъ не люди . . . но и люди тоже, въ какой то мѣрѣ. Если не видѣть и не присматриваться къ отдѣльнымъ точкамъ въ стихійномъ потокѣ революціи, можно перестать все понимать. И чѣмъ меньше этихъ точекъ, отдѣльныхъ личностей, — тѣмъ безсмысленнѣе, страшнѣе и *скучнѣе* становится историческое движеніе. Вотъ почему запись моя, продолжаясь, все болѣе измѣнялась, пока не превратилась, къ концу 19 года, въ отрывочныя, внѣшнія, чисто фактическія замѣтки. Съ воцареніемъ большевиковъ — сталъ исчезать *человѣкъ*, какъ единица. Не только исчезъ онъ съ моего горизонта, изъ моихъ глазъ; онъ вообще началъ уничтожаться, принципиально и фактически. Мало по малу исчезла сама революція, ибо исчезла всякая борьба. Гдѣ нѣтъ никакой борьбы, какая революція?

Что осталось — ушло въ подполье. Но въ такое глубокое, такое темное подполье, что уже ни звука оттуда не доносилось на поверхность. На петербургскихъ улицахъ, въ петербургскихъ домахъ въ послѣднее время царила пугающая тишина, молчаніе ра-

бовъ, доведенныхъ въ рабствѣ разъединенности до совершенства.

Самодержавіе; война; первые дни свободы, первые дни свѣтлой, какъ влюбленность, февральской революціи; затѣмъ дни первыхъ опасеній и сомнѣній... Керенскій въ своемъ взлетѣ. . . Ленинъ, присланный изъ Германіи, встрѣчаемый прожекторами. . . Июльское возстаніе . . . побѣда надъ нимъ, страшная, какъ пораженіе. . . Опять Керенскій и люди, которые его окружаютъ. Наконецъ, знаменитое К—С—К, т. е. Керенскій, Савинковъ и Корниловъ, вся эта потрясающая драма, которую довелось намъ наблюдать съ внутренней стороны. „Корниловскій бунтъ“, записали торопливые историки, простодушно повѣривъ, что дѣйствительно *былъ* какой-то „корниловскій бунтъ“... И наконецъ — послѣдній актъ, молніи выстрѣловъ на черномъ октябрьскомъ небѣ. . . Мы ихъ видѣли съ нашего балкона, слышали каждый. . . Это обстрѣлъ Зимняго Дворца, и мы знали, что стрѣляютъ въ людей, мужественно и беспомощно запершихся тамъ, покинутыхъ всѣми, — даже „главой“ своимъ — Керенскимъ.

Временное правительство — да вѣдь это все тѣ же *мы*, тѣ же интеллигенты, люди, изъ которыхъ каждый имѣлъ для насъ свое *лицо* . . . (Я уже не говорю, что были тамъ и люди, съ нами лично связанные). Вотъ движеніе, вотъ борьба, вотъ исторія.

А потомъ наступилъ конецъ. Послѣдняя точка борьбы — Учредительное Собраніе. Черные зимніе вечера; наши друзья р. социалисты, недавніе господа, — теперь приходящіе къ намъ тайкомъ, съ поднятыми воротниками, загримированные. . . И послѣдній вечеръ — послѣдняя ночь, единственная ночь жизни Учредительнаго Собранія, когда я подымала портьеры и вглядывалась въ бѣлую мглу сада, стараясь различить круглый куполь Дворца. . . „Они тамъ. . . Они все еще сидятъ тамъ. . . Что — тамъ?“

Лишь утромъ большевики рѣшили, что довольно

этой комедіи. Матросъ Желѣзняковъ (онъ знаменитъ тѣмъ, что на митингахъ требовалъ непременно „милліона“ головъ буржуазіи) объявилъ, что утомился и закрылъ Собраніе.

Сколько ни было дальше выстрѣловъ, убійствъ, смертей — все равно. Дальше — паденіе, то медленное, то быстрое, агонія революціи и ея смерть.

Жизнь все сѣуживалась, сѣуживалась, все стыла, каменѣла, — даже самое время точно каменѣло. Все короче становились мои записи. Что писать? Нѣтъ людей, нѣтъ событій. Новый „бытъ“, страшный, небывалый, нечеловѣческій, — но и онъ едва нарождался...

И все таки я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока, къ веснѣ 19 года, это стало фактически невозможно. О существованіи тетрадей поползъ слухъ. О нихъ зналъ Горькій. Я рисковала не только собой и нашимъ домомъ: слишкомъ много *лицъ* было въ моихъ тетрадяхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ еще не погибли и не всѣ были внѣ предѣловъ досягаемости. . . А такъ какъ при большевицкомъ режимѣ нѣтъ такого интимнаго уголка, нѣтъ такой частной квартиры, куда-бы „власти“ въ любое время не могли ворваться (это лежитъ въ самомъ принципѣ этихъ властей) — то мнѣ оставалось одно: зарыть тетради въ землю. Я это и сдѣлала. Добрые люди взяли ихъ и закопали гдѣ-то за городомъ, гдѣ — я не знаю точно.

Такова исторія моей книги, моего „Петербургскаго Дневника“ 1914—1919 годовъ.

Проходили—проползали мѣсяцы.. Уже давно была у насъ не жизнь, а во-истину „житіе“. Маленькая черная старая книжка валялась пустая на моемъ письменномъ столѣ. И я полуслучайно—полуневольюно начала дѣлать въ ней какія то отмѣтки. Осторожныя, невинныя, безъ именъ, иногда безъ чиселъ. Вѣдь даже когда не думаешь — все время чувствуешь, — тамъ, въ Совдепіи, — что кто-то стоитъ у тебя за спиной и читаетъ черезъ плечо написанное.

А между тѣмъ все таки писать было надо. Не

хотѣлось, не умѣлось, но чувствовалось, что хоть два—три слова, двѣ—три подробности—надо закрѣпить *сейчасъ*. И дѣйствительно: многое теперь, по воспоминанію, я просто не могла бы написать: я ужъ сама въ это почти не вѣрю, оно мнѣ кажется слишкомъ фантастичнымъ. Если бъ у меня не было этихъ листковъ, черныхъ по бѣлому, если бъ я въ послѣднюю минуту не рѣшилась на вполнѣ безумный поступокъ — схватить ихъ и спрятать въ чемоданъ, съ которымъ мы бѣжали — мнѣ все казалось бы, что я преувеличиваю, что я лгу.

Но вотъ онѣ, эти строки. Я помню, какъ я ихъ писала. Я помню, какъ я, изъ осторожности, преуменьшала, скользила по фактамъ, — а не преувеличивала. Я вспоминаю недописанныя слова, вижу нарочныя буквы. Для меня эти скользящія строки — налиты кровью и живутъ, — ибо я знаю *воздухъ*, въ которомъ онѣ рождались. Увы, какъ мало онѣ значутъ для тѣхъ, кто никогда не дышалъ этимъ густымъ совсѣмъ особеннымъ, по тяжести, воздухомъ!

Я коснусь общей внѣшней обстановки, чтобы пояснить нѣкоторыя мѣста, совсѣмъ непонятныя.

Къ веснѣ 19 года общее положеніе было такое въ силу безчисленныхъ (иногда противорѣчивыхъ и спутанныхъ, но всегда угрожающихъ) декретовъ, приблизительно все было „націонализировано“, — „большевизировано“. Все считалось принадлежащимъ „государству“ (большевикамъ). Не говоря о еще оставшихся фабрикахъ и заводахъ, — но и всѣ лавки, всѣ магазины, всѣ предпріятія и учрежденія, всѣ дома, всѣ недвижности, почти всѣ движимости (крупныя) — все это по идеѣ переходило въ вѣдѣніе и собственность государства. Декреты и направлялись въ сторону воплощенія этой идеи. Нельзя сказать, чтобы воплощеніе шло стройно. Въ концѣ концовъ это просто было желаніе прибрать все къ своимъ рукамъ. И большею частью кончалось разрушеніемъ, уничтоженіемъ того, что объявлялось

„націоналізованимъ“. Захваченные магазины, предприятия и заводы закрывались; захватъ частной торговли повелъ къ прекращенію вообще всякой торговли, къ закрытію *всѣхъ* магазиновъ и къ страшному развитію торговли нелегальной, спекулятивной, воровской. На нее большевикамъ поневолѣ приходилось смотрѣть сквозь пальцы, и лишь періодически громить, ловить и хватать покупающихъ — продающихъ на улицахъ, въ частныхъ помѣщеніяхъ, на рынкахъ; рынки, единственный источникъ питанія рѣшительно для *всѣхъ* (даже для большинства коммунистовъ) — тоже были нелегальщиной. Террористическіе налеты на рынки, со стрѣльбой и смертоубійствомъ, кончались просто разграбленіемъ продовольствія въ пользу отряда, который совершалъ налетъ. Продовольствія прежде всего, но такъ какъ нѣтъ вещи, которой нельзя встрѣтить на рынкѣ, — то забиралось и остальное, — старые онучи, ручки отъ дверей, драные штаны, бронзовые подсвѣчники, древнее бархатное евангеліе, выкраденное изъ какого нибудь книгохранилища, дамскія рубашки, обивка мебели. . . Мебель тоже считалась собственностью государства, а такъ какъ подъ полой дивана тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть ее хоть за полфунта соломеннаго хлѣба. . . Надо было видѣть, какъ съ визгами, воплями и стонами кидались торгующіе вразсыпную, при слухѣ, что близки красноармейцы! Всякій хваталъ свою рухлядь, а часто, въ суматохѣ, и чужую; бѣжали, толкались, лѣзли въ пустые подвалы, въ разбитыя окна. . . Туда же спѣшили и покупатели, — вѣдь покупать въ Совдепіи не менѣе преступно, чѣмъ продавать, — хотя самъ Зиновьевъ отлично знаетъ, что безъ этого преступленія Совдепія кончилась бы, за неимѣніемъ подданныхъ, дней черезъ 10.

Мы называли нашу „республику“ не Р. С. Ф. С. Р., а между прочимъ „Р. Т. П.“ — республикой торгово—продажной. Такъ оно фактически и было.

Надо отмѣтить главную характерную черту въ

Совдепии: есть фактъ, надъ каждымъ фактомъ есть—вывѣска, и каждая вывѣска—абсолютная ложь по отношенію къ факту. О томъ, что скрывается подъ вывѣской „Совѣтовъ“ („выборнаго начала“), упоминается въ моемъ дневникѣ.

Здѣсь скажу о петербургскихъ домахъ. Эти полупустыя, грязныя руины,—собственность государства,—управляются такъ называемыми „комитетами домовой бѣдности“. Принципъ ясенъ по вывѣскѣ. На дѣлѣ же это вотъ что: власти въ лицѣ Чрезвычайки совершенно открыто слѣдятъ за комитетомъ cadaго дома (была даже „недѣля чистки комитетовъ“). По возможности комитетчиками назначаются „свои“ люди, которые, при постоянномъ контактѣ съ районнымъ Совдепомъ (мѣстнымъ полицейскимъ участкомъ) могли бы дѣлать и нужные доносы. Требуется, чтобы въ комитетахъ не было „буржуевъ“, но такъ какъ дѣйствительная „бѣдность“ теперь именно „буржуи“, то фактически комитеты состоятъ изъ лицъ, находящихся на большевицкой полицейской службѣ, или спекулянтовъ, т. е. менѣе всего изъ „бѣдности“. Нейтральные жильцы дома, рабочіе или просто обывательскіе низы обыкновенно въ комитетъ не попадаютъ, да и не стремятся туда.

Бываютъ счастливыя исключенія. Напримѣръ, въ домѣ одного писателя—„очень хорошій комитетъ: младшій дворникъ, предсѣдатель, такой добрый. Онъ насъ не притѣсняетъ, онъ понимаетъ, что все это рано или поздно кончится...“ А вотъ другой, очень извѣстный мнѣ домъ: вѣчные доносы, вѣчное врываніе въ квартиры, вѣчное преслѣдованіе „буржуазіи“—такой, напримѣръ, какъ три барышни, жившія вмѣстѣ: двѣ учительницы въ большевицкихъ (другихъ нѣтъ) школахъ и третья—врачъ въ большевицкой (другихъ нѣтъ) больницѣ. Эту третью даже нѣсколько разъ арестовывали; то когда вообще всѣхъ врачей арестовывали, то по доносу комитетчика, который рѣшилъ, что у нея какая-то подозрительная фамилія.

Нашъ домъ около Таврическаго Дворца былъ самымъ счастливымъ исключеніемъ изъ общаго правила. И не случайно, а благодаря незабвенному другу нашему, удивительнѣйшему человѣку, І. І.

На немъ я должна остановиться. Онъ постоянно упоминается въ моемъ Дневникѣ. Онъ, — и жена его, — люди, съ которыми мы дѣйствительно вмѣстѣ, почти не разлучаясь физически и душевно, переживали годы петербургской трагедіи. Слишкомъ много нужно бы говорить о немъ, я не буду здѣсь вспоминать страницы моего зарытаго дневника. Скажу лишь кратко, что І. І. — рѣдкое соединеніе очень серьезнаго ученаго, извѣстнаго своими творческими работами въ Европѣ, — и дѣятельнаго человѣка жизни, отзывчиваго и гуманнаго. Типичныя черты русскаго интеллигента, — крайняя прямота, стойкость, непримиримость, — выражались у него не словесно, а именно дѣйственно. Онъ жилъ по сосѣдству съ нами, но во время войны мы не были знакомы. Сочувствуя со дней юности партіи, намъ далекой — соціалъ-демократической, — онъ сталкивался преимущественно съ людьми, съ которыми мы уже были въ идейной борьбѣ. Правда, и у насъ имѣлась нѣкоторая связь черезъ Горькаго: Горькаго мы знали давно, лѣтъ двадцать; онъ даже бывалъ у насъ во время войны. Но мы не сходились никогда съ Горькимъ, странная чуждость раздѣляла насъ. Даже его несомнѣнный литературный талантъ, сильный и неровный, которымъ мы порою восхищались, не сближалъ насъ съ нимъ. Впрочемъ, окруженіе Горькаго, постоянная толпа ничтожныхъ и корыстныхъ льстецовъ, которыхъ онъ около себя терпѣлъ, отталкивала отъ него очень многихъ.

Эти льстецы обыкновенно даже не партійные люди; это просто литературные паразиты. Подобный „дворъ“ — не рѣдкость у русскаго писателя-самородка, имѣющаго громкій успѣхъ, если онъ при томъ слабо-характеренъ, некультуренъ и наивно-тщеславенъ.

Паразитовъ Горьковскихъ І. І. весьма не любилъ,

но по добротѣ своей Горькому ихъ прощаль; а съ партійными людьми горьковскаго круга вель давнее знакомство.

И въ дни февральской революціи, когда вокругъ Думы, — вокругъ Таврическаго Дворца, — кипѣли и подымались человѣческія волны, когда въ нашу квартиру втекали, попутно, люди, болѣе близкіе намъ, — у І. І. собирались другіе, иного толка. Казалось, — въ первые дни, — что смѣшались всѣ толки, что нѣтъ раздѣленія; но оно уже было. И чѣмъ дальше, тѣмъ дѣлалось рѣзче. Во время іюльскаго возстанія, опредѣленно с.-д.-большевицкаго, — у І. І. въ квартирѣ скрывались соціалъ-демократы, еще не вполне примкнувшіе къ большевизму, но уже чувствующіе, что у нихъ рыльце въ пушку. Извѣстный когда-то лишь своему муравейнику литературно-партійный хлыщъ — Луначарскій, ставшій съ тѣхъ поръ литературнымъ хлыщемъ „всея Совдепіи,“ — во время іюльскаго бунта жалобно прятался у давняго своего знакомаго чуть не подъ кроватью. И такъ „дрянно“ трусилъ, такъ дрожаль за свою особу, гадая, куда-бы ему удрать, что внушилъ отвращеніе даже снисходительнымъ его укрывателямъ.

Вскорѣ послѣ этого возстанія, когда линія с.-д.—большевицковъ ярко опредѣлилась, когда всѣ честные люди изъ не потерявшихъ разумъ ее совершенно поняли, мы встрѣтились съ І. І. и его женой. Встрѣтились и сразу сошлись крѣпко и близко.

Надвигалась буря. Ледъ гудѣлъ и трещаль. Дѣйствительно, скоро онъ сломался на куски, разъединяя прежде близкихъ, и люди понеслись — куда? — на отдѣльныхъ льдинахъ. Мы очутились на одной и той-же льдинѣ съ І. І. — Когда по мѣсяцамъ нельзя было физически встрѣтиться, даже перекликнуться, съ давними, милыми друзьями, ибо нельзя было преодолѣть черныхъ пространствъ страшнаго города, — какимъ счастьемъ и помощью былъ стукъ въ дверь и шаги человѣка, тоже самое понимающаго, такъ-же чув-

ствующаго, о томъ-же ревнующаго, тѣмъ-же страдающаго, чѣмъ страдали мы!

Дѣятельная, творческая природа І. І. не позволяла ему глядѣть на совершающееся, сложа руки. Онъ вѣчно бѣгалъ, вѣчно за кого-то хлопоталъ, кому-то помогалъ, кого-то спасалъ. Онъ дѣлалъ дѣла и крупныя, и мелкія, ни отъ чего не отказывался, лишь бы комунибудь, чемунибудь помочь. При всей своей непримиримости и кипучей ненависти къ большевикамъ, при очень ясномъ взглядѣ на нихъ — онъ не впалъ въ уныніе; онъ до конца, — до дня нашей разлуки, — такимъ и остался: жарко вѣрующимъ въ Россію, вѣрующимъ въ ея непремѣнное и скорое освобожденіе. Зная все, что мы переносили, какія темныя глубины мы проходили, — я знаю, какая нужна сила духа и сила жизни, чтобы не потерять вѣру, чтобы устоять на ногахъ, — остаться *человѣкомъ*. Съ нѣжной благодарностью обращается мысль моя къ І. І. Онъ помогъ намъ — онъ и его жена, — болѣе, чѣмъ сами они объ этомъ думаютъ.

Не могу не прибавить, что сильнѣе чувства благодарности по отношенію къ этимъ людямъ, а также къ другимъ, тамъ оставшимся, тамъ нечеловѣчески страдающимъ и погибающимъ, къ милліонамъ людей съ душой живой — сильнѣе всѣхъ чувствъ во мнѣ говоритъ пламенное чувство долга. Я никогда не знала ранѣе, что оно можетъ быть *пламеннымъ*. Мы — здѣсь; наши тѣла уже не въ глубокой, темной ямѣ, называемой Петербургомъ; — но не ради нашего избавленія избавлены мы, нѣтъ у насъ чувства избавленія — и не можетъ его быть, пока звучатъ въ ушахъ эти голоса оттуда, — *de profundis*. Каждая минута, когда мы не стремимся приблизить хоть на линію, на полмиллиметра освобожденіе сидящихъ въ ямѣ, — нашъ собственный провалъ, если есть эта минута, — не оправдано избавленіе наше, и да погибнемъ мы здѣсь, какъ погибли-бы тамъ. Все равно, сколько у cadaго силъ. Сколько бы ни было — онъ

обязанъ положить ихъ на дѣло погибающихъ — всѣ.

И это я говорю не только себѣ, не только намъ: говорю всякому русскому въ Европѣ, даже всякому вообще *человѣку*, если только онъ знаетъ или можетъ какъ нибудь понять, что сейчасъ дѣлается въ Россіи.

Я вѣрю, что людямъ, достойнымъ называться людьми, доступно и даже свойственно именно *пламенное* чувство долга...

Возвращаюсь, послѣ этого невольнаго отступленія, къ фактамъ.

I. I. съ самаго начала пошелъ — „спасать квартиры отъ разграбленія, жильцовъ отъ униженія“. Сначала онъ былъ предсѣдателемъ одного изъ домовыхъ комитетовъ, но затѣмъ его не утвердили — предсѣдателемъ сталъ старшій дворникъ. Хитрый мужикъ, смекавшій, что не вѣкъ эта „ерунда“ будетъ длиться, и что ссориться ему съ „господами“ не расчетъ, — охотно уступалъ I. I. Къ тому же дворникъ болѣе думалъ, какъ бы „спекульнуть“ безъ риска, и былъ малограмотенъ. Остальная „бѣднота“, состоявшая уже окончательно изъ спекулирующихъ, воровъ (одинъ шофферъ хапнулъ на 8 милліоновъ, попался и чуть не былъ разстрѣлянъ), тайныхъ полицейскихъ („чрезвычайныхъ“), дезертировъ и т. д., благодаря тому-же малограмотству и отсутствію интереса ко всему, кромѣ наживы — эта „бѣднота“ тоже не особенно возставала противъ энергичнаго I. I.

Надо все таки видѣть, что за колоссальная чепуха — домовый комитетъ. Противная, утомляющая работа, обходы неисполнимыхъ декретовъ, извороты, чтобы отдалить ограбленія, разговоры съ тупыми посланцами изъ полиціи... А вѣчные обыски! Какъ сейчасъ вижу длинную худую фигуру I. I. безъ воротника, въ старенькомъ пальто, въ 4 часа ночи среди подозрительныхъ, подслѣповатыхъ людей съ винтовками и кучи бабъ — новыхъ сыщиковъ и сыщицъ. Это I. I. въ качествѣ уполномоченнаго отъ „Комитета“

сопровождаетъ обыски уже въ двадцатую квартиру.

Какъ извѣстно, все населеніе Петербурга взято „на учетъ“. Всякій, такъ или иначе, обязанъ служить „государству“, — занимать мѣсто если не въ арміи, то въ какомъ нибудь правительственномъ учрежденіи. Да вѣдь человѣкъ иначе и заработка никакого не можетъ имѣть. И почти вся оставшаяся интеллигенція очутилась въ большевицкихъ чиновникахъ. Платятъ за это ровно столько, чтобы умирать съ голоду медленно, а не быстро. Къ веснѣ 19 года почти всѣ наши знакомые измѣнились до неузнаваемости, точно другой человѣкъ сталъ. Опухшимъ — ихъ было очень много — рекомендовалось ѣсть картофель съ кожурой, — но къ веснѣ картофель вообще исчезъ, исчезло даже наше лакомство — лепешки изъ картофельныхъ шкурокъ. Тогда царила вобла, — и кажется я до смертнаго часа не забуду ея пронзительный, тошный запахъ, подымавшій голову изъ каждой тарелки супа, изъ каждой котомки прохожаго.

Новые чиновники, загнанные на службу голодомъ и плеткой, — русскіе интеллигентные люди, — не измѣнились, конечно, не стали большевиками. Водораздѣлъ между „склонившимися“ и „сдавшимися“, между служащими „за страхъ“ и другими „за совѣсть“ — всегда былъ очень ясенъ. Сдавшіеся, передавшіеся насчитываются единицами; они усердствуютъ, якшаются съ комиссарами, говорятъ высокія слова о „народномъ гнѣвѣ“, но менѣе ловкіе все таки голодаютъ (я все говорю о „чиновникахъ“, а не объ откровенныхъ спекулянтахъ). Есть еще „приспособившіеся“; это просто люди обывательскаго типа; они тянутъ лямку, думая только о ѣдѣ; не прочь извернуться, гдѣ могутъ, не прочь и ругнуть, за угломъ, „совѣтскую“ власть. Но къ чести русской интеллигенціи надо сказать, что громадная ея часть, подавляющее большинство, состоитъ именно изъ „склонившихся“, изъ тѣхъ, что съ великимъ страданіемъ, со стиснутыми зубами несутъ чугунный крестъ жизни. Эти виноваты лишь

въ томъ, что они не герои, т. е. даже герои, но не активные. Они нейдутъ активно на немедленную смерть, свою и близкихъ; но нести чугунный крестъ — тоже своего рода геройство, хотя и пассивное.

Къ нимъ надо причислить и почти *всѣхъ* офицеровъ красной арміи, — бывшихъ офицеровъ арміи русской. Вѣдь когда офицеровъ мобилизуютъ (такія мобилизаціи объявлялись чуть не каждый мѣсяць) — ихъ сразу арестовываютъ; и не только самого офицера, но его жену, его дѣтей, его мать, отца, сестеръ, братьевъ, даже двоюродныхъ дядей и тетокъ. Выдерживаютъ офицера въ тюрьмѣ нѣкоторое время непременно *вмѣстѣ* съ родственниками, чтобы понятно было, въ чемъ дѣло, и если увидятъ, что офицеръ изъ „пассивныхъ“ героевъ — выпускаютъ *всѣхъ*: офицера — въ армію, родныхъ подъ неусыпный надзоръ. Горе, если прилетитъ отъ армейскаго комиссара доносъ на этого „военспеца“ (какъ они называются.) Бдуть дяди и тетки, — не говоря о женѣ съ дѣтьми, — куда-то на принудительныя работы, а то и запираются въ прежній казематъ.

Среди офицеровъ, впрочемъ, не мало оказалось героевъ и активныхъ. Этихъ разстрѣливали почти буквально на глазахъ женъ. Въ моихъ листкахъ приведены факты; они происходили на глазахъ близкаго мнѣ человека, женщины-врача, арестованной... за то, что у нея подозрительная фамилія.

Я веду вотъ къ чему. Я хочу въ грубыхъ чертахъ опредѣлить, какъ раздѣляется сейчасъ *все населеніе Россіи вообще* по отношенію къ „совѣтской“ власти. Послѣдніе годы много дали намъ; много видѣли мы со *всѣхъ* сторонъ, и я думаю, что не очень ошибусь въ моей сводкѣ. Дѣлаю ее по главнымъ линиямъ и совершенно объективно. Она относится ко второй половинѣ 19 года; врядъ-ли могло въ ней потомъ что-либо измѣниться кореннымъ образомъ.

1) Собственно народъ, низы, крестьяне, въ деревняхъ и въ красной арміи, главная русская толща въ

подавляющемъ большинствѣ — нейтралы. По природѣ русскій крестьянинъ — ярый частный собственникъ, по воспитанію (вѣка длилось это воспитаніе!) — рабъ. Онъ хитеръ — но послушенъ, внѣшне, всякой силѣ, если почувствуетъ, что это дѣйствительно грубая сила. Онъ будетъ молчать и ждать безъ конца, на ровя за уголкомъ устроиться по своему, но лишь за уголкомъ, у себя въ уголкѣ. Онъ еще весьма узко понимаетъ и пространство, и время. Ему довольно безразличенъ „коммунизмъ“, пока не коснулся его самого, пока это вообще какое-то „начальство“. Если при этомъ начальствѣ можно забрать землю, разогнать помѣщиковъ и поспекулировать въ городѣ — тѣмъ лучше. Но едва коммунистическія лапы тянутся къ деревнѣ, — мужикъ ершится. Упрямство у него такое же безконечное, какъ и терпѣніе. Землю, захваченное добро онъ считаетъ *своими*, никакія рѣчи никакихъ „товарищей“ не разубѣдятъ его. Онъ не хочетъ работать „на чужихъ ребятахъ“, и когда большевики стали посылать отряды, чтобы реквизирировать „излишки“ — эти излишки исчезли, а гдѣ не были припрятаны — тамъ мужики встрѣтили реквизиторовъ съ винтовками и даже съ пулеметами. Вскорѣ мужикъ сообразилъ, что спокойнѣе выработать хлѣба лишь столько, сколько надо для себя, его ужъ и защищать. И половина полей просто начала пустовать. Нахвтанная керенки все зарываются да зарываются въ кубышки; и вотъ, мужикъ начинаетъ хмуриться: да скоро ли время, чтобы свободно попользоваться накопленнымъ богатствомъ? Онъ ни минуты не сомнѣвается, что „они“ (большевики) кончатся; но когда? Пора бы... И „коммунистъ“ — уже ругательное слово въ деревнѣ.

Воевать мужикъ такъ-же не хочетъ, какъ не хотѣлъ при царѣ; и такъ-же покоряется принудительному набору, какъ покорялся при царѣ. Кромѣ того, въ деревнѣ, особенно зимой, и дѣлать нечего, и хлѣбъ на счету; въ красной же арміи — обѣщаютъ паекъ,

одѣвку, обувку; да и веселѣе тамъ молодому парню, уже привыкшему лодырничать. На фронтъ — не всѣхъ-же на фронтъ. Посланные на фронтъ покоряются, пока надъ ними зоркія очи комиссаровъ; но бѣгутъ кучами при малѣйшей возможности. Паникѣ поддаются съ легкостью удивляющей, и тогда бѣгутъ слѣпо, не взирая ни на что. Веснами, едва пригрѣетъ солнышко, и можно въ деревню, — бѣгутъ неудержимо и безъ паники: просто текутъ назадъ, прячась по лѣсамъ, органически превращаясь въ „зеленыхъ“.

Большевики отлично все это знаютъ. Прекрасно понимаютъ своихъ подданныхъ, свою армію, — учитываютъ все. Но они такъ же прекрасно учитываютъ, что ихъ враги, — европейцы ли, собственные ли бѣлые генералы, — ничего не понимаютъ и ничего не знаютъ. На этой слѣпотѣ, я полагаю, они и строятъ всѣ свои главныя надежды.

2) Рабочіе? Пролетаріатъ? Но собственно пролетаріата въ Россіи почти не было и раньше, говорить же о немъ сейчасъ, когда девять десятыхъ фабрикъ закрылись, — просто смѣшно. Россійскіе рабочіе — тѣ же крестьяне, и съ закрытіемъ заводовъ они расплылись — въ деревню, въ красную армію. За оставшимися въ городахъ, на работающихъ фабрикахъ, большевики слѣдятъ особенно зорко, обращаются съ ними и осторожно — и безпощадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочаго. И это понятно, ибо громадное большинство оставшихся рабочихъ уже почти не нейтрально, оно *враждебно* большевикамъ. Большевикамъ не по себѣ отъ этой, глухой пока, враждебности, и они ведутъ себя тутъ очень нервно: то заискиваютъ, то неистовствуютъ. На официальныхъ митингахъ все бродятъ какія-то искры, и порою, достаточно одному взглянуть исподлобья, проворчатъ: „надоѣло ужъ все это . . .“, чтобы заволновалось собраніе, чтобы занадрывались одни ораторы, чтобы побѣжали другіе чернымъ ходомъ къ своимъ автомобилямъ. Слишкомъ понятна эта неудержимо

растушая враждебность къ большевикамъ въ средней массѣ рабочихъ: безпросвѣтный голодъ, несмотря на увеличеніе ставокъ („чего на эти ленинки купишь? Тыща тоже называется! Куча . . .“ слѣдуетъ непечатное слово), беззаконіе, расхищеніе, царящія на фабрикахъ, разрушеніе производительнаго дѣла въ корнѣ и, наконецъ, неслыханное количество безработныхъ — все это слишкомъ достаточныя причины рабочаго озлобленія. Пассивнаго, какъ у большинства русскихъ людей, и особенно безсильнаго, потому что „власти“ особенно заботятся о разъединеніи рабочихъ. Запрещены всякія организаціи, всякія сходки, сборища, митинги, кромѣ официально назначаемыхъ. Сколько юркихъ сыщиковъ шныряетъ по фабрикамъ. Русскіе рабочіе очутились въ такихъ ежовыхъ рукавицахъ, какія имъ не снились при царѣ. Вывѣска, — увѣренія, что ихъ-же рукавицы, — „рабочее“-же правительство — на нихъ болѣе не дѣйствуютъ и никого не обманываютъ.

3) Городское обывательское населеніе, полу-интеллигенты, интеллигенты, — чиновники, а также верхи и полу-верхи красной арміи, ея командный составъ — объ этомъ словъ уже было упомянуто. Взятый en gros онъ въ подавляющемъ большинствѣ *непримиримъ* по отношенію къ „совѣтской власти“. Нейтраловъ сравнительно немного, да и нейтралами они могутъ быть названы лишь въ той мѣрѣ, въ какой было названо нейтральнымъ крестьянство. Подъ тончайшей пленкой тупого равнодушія или мгновенной беззаботности — и у нихъ, у нейтраловъ, лежитъ самая опредѣленная враждебность къ данной власти, — трусливая ненависть или презрѣніе. Съ какимъ злорадствомъ накидывается обывательщина, верхняя и нижняя, на всякую неудачу большевиковъ, съ какой жадностью ловить слухи о ихъ близкомъ паденіи. Не разъ и не два мнѣ собственными ушами приходилось слышать, какъ ждуть освободителей: „хоть самъ чортъ, хоть дьяволъ, — только-бы пришли! И чего они тамъ, со-

юзники эти самые! Часокъ только и пострѣлять съ моря, и готово дѣло! Ужъ мы бы тутъ здѣшной нашей сволочи удрать не дали, — нѣтъ! Ужъ мы бы съ ней тогда сами расправились!“ Но этого „часочка стрѣльбы“ настоящей не было, и разочарованные жители Петербурга послѣ взрыва надежды молчаливо злобными взглядами провожаютъ всякій автомобиль. (Автомобиль — это, значить, ѣдутъ большевики. Автомобилей другихъ нѣтъ).

Вотъ моя сводка. И не моя вовсе: — ее, такую, дѣлаютъ всѣ въ Россіи, всѣ знаютъ, что въ грубыхъ и общихъ чертахъ отношеніе русскаго населенія къ большевицкой власти именно таково. Я ничего не сказала о чистыхъ спекулянтахъ. Но это не слои и не классъ. Спекулянты, сколько бы ихъ ни было, все таки отдѣльныя личности и принадлежать ко всѣмъ слоямъ и классамъ. Они, конечно, рады, что подвернулись такія роскошныя условія — власть большевиковъ, — для легкой наживы. Но, въ цѣломъ, и на армію спекулянтовъ большевики не могутъ рассчитывать, какъ на твердую опору. Происходитъ та же, приблизительно, исторія, какъ съ крестьянами. Кучи спекулянтовъ уже стонутъ: да когда-же? Долго ли? Когда-же попользоваться награбленнымъ? А жить все дороже, грабить надо шире, значить и рисковать больше... Разсчетливый спекулянтъ съ такимъ же нетерпѣливымъ ожиданіемъ считаетъ дни, какъ иной чиновникъ.

Да, вотъ фактъ, вотъ правда о Россіи въ немногихъ словахъ:

Россіей сейчасъ распоряжается ничтожная кучка людей, къ которой вся остальная часть населенія, въ громадномъ большинствѣ, относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземнаго завоеванія. Латышскіе, башкирскіе и китайскіе полки (самые надежные) дорисовываютъ эту картину. Изъ латышей и монголовъ составлена личная охрана большевиковъ: китайцы разстрѣливаютъ

арестованныхъ, — захваченныхъ. (Чуть не написала „осужденныхъ“, но осужденныхъ нѣтъ, ибо нѣтъ суда надъ захваченными. Ихъ просто *такъ* разстрѣливаютъ). Китайскіе-же полки или башкирскіе идутъ въ тылу посланныхъ въ наступленіе красноармейцевъ, чтобы когда они побѣгутъ (а они побѣгутъ!), встрѣтить ихъ пулеметнымъ огнемъ и заставить повернуть.

Чѣмъ не монгольское иго?

Я знаю вопросъ, который самъ собой возникаетъ послѣ моихъ утвержденій. Вотъ онъ: если все это правда, если это дѣйствительно власть кучки, безпримѣрное насиліе меньшинства надъ такимъ большинствомъ, какъ *почти* все населеніе огромной страны, — почему нѣтъ внутренняго переворота? Почему хозяйничанье большевиковъ длится, вотъ уже почти три года? Какъ это возможно?

Это не только возможно — это даже не удивительно для того, кто знаетъ Россію, русскій народъ, его исторію, — и въ то же время знаетъ большевиковъ. Россія — страна всѣхъ возможностей, сказалъ кто-то. И страна всѣхъ невозможностей, прибавлю я. О причинахъ такой, на первый взглядъ, неестественной нелѣпости — длыщагося владычества кучки партійныхъ людей, недавно подпольныхъ, надъ огромнымъ народомъ, вопреки его волѣ—объ этомъ я говорю много въ моемъ дневникѣ. Почти весь онъ, пожалуй, объ этомъ. Здѣсь подчеркну только еще разъ; мы знаемъ, что это именно такъ и должно было быть; но мы знаемъ еще,—и это страшно важно!—что малѣйшій *внѣшній толчекъ*, малѣйшій камешекъ, упавшій на черную неподвижность сегодняшней Россіи—произведетъ оглушительный взрывъ. Ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба.

Никакихъ тутъ нѣтъ сомнѣній у большевиковъ. Никакихъ нѣтъ и не было сомнѣній у насъ, всѣхъ остальныхъ русскихъ людей. Отсюда понятно, что переживали мы въ маѣ 19 года, мы — и они, большевики. Они, впрочемъ, трусы, а у страха глаза велики; при

одномъ лишь томъ фактѣ, что наступаетъ лѣто, дѣлается возможнымъ ударъ на Петербургъ, и всѣ въ городѣ ждутъ удара, — большевики засуетились, заволновались. А когда началось наступленіе съ Ямбурга — паника ихъ стала неопиcуема. Мы были гораздо скептическѣе. Мы совершенно не знали, кто наступаетъ, съ какими силами, а главное — есть-ли тамъ, на Западѣ, какая нибудь согласованность, есть-ли *единая воля* у идущихъ, — воля дойти во что-бы то ни стало. Для внѣшняго толчка, самаго легкаго, но вполне достаточнаго, чтобы опрокинуть центральную власть, это единство воли необходимо. Паника большевиковъ, цѣну которой мы знали, не доказывала еще, что общій ударъ на Петербургъ предрѣшенъ. Напряженіе въ городѣ, однако, все возрастало и ширилось.

Нельзя передать словами краску, запахъ, воздухъ въ такіе дни и минуты ожиданія. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никакихъ словъ никто не говоритъ, да и зачѣмъ слова? Надо ждать и слушать; надо угадать, захватить мгновеніе... не переворота, а то послѣднее мгновеніе, когда можно сказать „пора“: когда можно встать дѣйствительно, за „тѣхъ“ — противъ „этихъ“.

Цѣлые коллективы, по вывѣскѣ большевицкіе, въ неусыпномъ напряженіи ждали такой минуты. (Меня поймутъ, мнѣ простятъ, конечно, мою бездоказательность и неопредѣленность: я пишу это въ 20 мѣ году, во время *длящагося* царства большевиковъ.) Красноармейцы, посылаемые на фронтъ, были проще и разговорчивѣе: „мы до перваго кордона. А тамъ сейчасъ — на ту сторону.“ Помню ихъ весело и глупо улыбающіяся лица.

Событія на Красной Горкѣ (почти у самаго Кронштадта) — неизвѣстны въ подробностяхъ; но по всѣмъ вѣроятіямъ, это была ошибка, обманъ момента; слишкомъ измученные ожиданіемъ люди сказали себѣ „пора!“ — а было вовсе не пора. Да настоящаго

момента для внутренняго возстанія тогда и совсѣмъ не было (какъ не было его и послѣ, осенью, во время наступленія Юденича). Не было, видимъ мы теперь, *единой воли* у идущихъ, не было ея еще ни разу... Будеть ли когда нибудь?

Майская эпопея скатилась, какъ волна, оставивъ послѣ себя полосы опустошенія; насъ только сдавили, задушили новыми распоряженіями и декретами, новыми запрещеніями и ограниченіями, — новые замки повѣсили на двери тюремныя. Да цѣны сразу удвоились, такъ что волей-неволей приходилось думать о послѣдней рубашкѣ — когда, сегодня или завтра, снимать ее, чтобъ послать на рынокъ.

Но думалось и объ этомъ какъ-то тупо. Не уныніе, а именно тупость начинала все больше овладѣвать всѣми. Собственно наша внѣшняя жизнь измѣнялась такъ медленно и незамѣтно, что на первый взглядъ, вотъ тогда весной 19 года, все было какъ бы то-же: та-же квартира, въ кухнѣ та-же старенькая няня моя, та-же преданная намъ служанка, деревенская дѣвушка, съ отвращеніемъ и покорностью глядящая на „этихъ коммунистовъ“. Правда, пустѣли полки съ книгами, унесли пианино, постепенно срывались занавѣсы съ оконъ и дверей, а въ кухнѣ бѣдная моя едва-живая старушка тщетно сутилась надъ полу-пустыми горшками и бранилась съ таинственными личностями, на ухо обѣщающими картофель по сто рублей фунтъ. Кухня была у насъ самое оживленное мѣсто въ квартирѣ. Кого-кого тамъ не приходилось мнѣ видѣть! Кухонные митинги порою давали намъ очень живую информацію.

Все пустѣющая рабочая комната, балконъ, съ котораго, поверхъ зеленыхъ шапокъ Таврическаго сада, можно видѣть главы страшнаго Смольнаго, блѣднозолотыя въ бѣлую майскую ночь, — о, какое странное томленіе, какая — словно предсмертная — тоска.

Тетрадей моихъ уже давно не было. Давно уже онѣ покоились въ могилѣ. Но вотъ тогда-то, въ на-

чалъ іюня, я и нашла черную книжку, гдѣ стала дѣлать не частыя, краткія отмѣтки.

Я ихъ печатаю здѣсь, какъ онѣ есть, въ рѣдкихъ случаяхъ прибавляя нѣсколько поясняющихъ словъ. Я не называю почти ни одного имени — причины понятны, о нихъ уже сказано выше.

Часть II. Черная книжка.

1919 г. Іюнь.
С.П.Б.

„ . . . Не забывай моихъ послѣднихъ дней . . . „

„ . . . О, эти наши дни послѣдніе,
Остатки неподвижныхъ дней.
И только небо въ полночь мѣднѣе,
Да зори голая длиннѣй . . . „

Іюнь. . . Все хорошо. Все какъ быть должно. Инвалиды (грязный домъ напротивъ насъ, тоже угловой, съ желѣзными балконами) заводятъ свою музыку разно: то съ самаго утра, то попозже. Но заведя—уже не прекращаютъ. Что-нибудь да зудитъ: или гармоника, или дудка, или грамофонъ. Иногда грамофонъ и гармоника вмѣстѣ. Въ разныхъ этажахъ. Кто не дудитъ—лежитъ брюхомъ на подоконникѣ, разнастанный, смотритъ или плюетъ на тротуаръ.

Послѣ 11 ч. вечера, когда уже запрещено ходить по улицамъ (т. е. послѣ 8, — вѣдь у насъ „революціонное“ время, часы на 3 часа впередъ!) музыка не кончается, но валявшіеся на подоконникахъ сходятъ на подъѣздъ, усаживаются. Вокругъ толпятся такъ называемыя „барышни“, въ бѣлыхъ туфляхъ, — „Катки мои толстоморденькія,“ о которыхъ А. Блокъ написалъ:

„Съ юнкерьемъ гулять ходила,
Съ солдатьемъ гулять пошла“.

Визги. Хохотки.

Инвалиды (и почему они—инвалиды? всѣ они цѣлы, никто не раненъ, госпиталя тутъ нѣтъ) — „инвалиды“

—здоровые, крѣпкіе мужчины. Праздникъ и будни у нихъ одинаковы. Они ничѣмъ не заняты. Слышно, будто спекулируютъ, но лишь по знакомству. Намъ ни одной картофелины не продали.

А грамофонъ ихъ звенитъ въ ушахъ, даже ночью, свѣтлой, какъ день, когда уже спятъ инвалиды, замолкъ грамофонъ.

Утрами, по зеленой уличной травѣ, извиваются змѣями пріютскія дѣти, — „пролетарскія“ дѣти, — это ихъ ведутъ въ Таврической садъ. Они—то въ красныхъ, то въ желтыхъ шапченкахъ, похожихъ на дурацкіе колпаки. Мордочки землистаго цвѣта, сами голоногіе. На нашей улицѣ, когда-то очень аристократической, очень много было красивыхъ особняковъ. Они всѣ давно реквизированы, наиболѣе разрушенные—покинуты, отданы „подъ дѣтей“. Пріюты доканчиваютъ эти особняки. Мимо нѣкоторыхъ уже пройти нельзя, — такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконникахъ лежатъ дѣти, — совершенно такъ, какъ инвалиды лежатъ, — мальчишки и дѣвочки, большіе и малые, и какъ инвалиды глазѣютъ и плюютъ на улицы. Самые маленькіе играютъ соромъ на разломленныхъ плитахъ тротуара, подъ деревьями, или бѣгаютъ по уличной травѣ, шлепая голыми пятками. Ставятъ дѣтей въ пары и ведутъ въ Таврической лишь по утрамъ. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно такъ-же, какъ инвалиды.

Есть, впрочемъ, и много отличій между дѣтьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у дѣтей лица желтыя — у инвалидовъ красныя.

Вчера (28-го іюня) дежурила у воротъ. Вѣдь у насъ, со времени весенней большевицкой паники, установлено безсмѣнное дежурство на тротуарѣ, день и ночь. Дежурятъ всѣ, безъ изъятія, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно сидѣть на пустынной, всегда свѣтлой улицѣ — не знаетъ никто. Но сидятъ. Гдѣ барышня на доскѣ, гдѣ

дитя, гдѣ старикъ. Подъ однѣми воротами разъ видѣла дежурящую, интеллигентнаго обличія, старуху; такую старуху, что ей вынесли на тротуаръ дранное кресло изъ квартиры. Сидитъ покорно, защищаегъ, бѣдная, свой „революціонный“ домъ и „красный Петроградъ“ отъ „бѣлыхъ негодяевъ“ . . . которые даже не наступаютъ.

Вчера, во время моихъ трехъ часовъ „защиты“ — улица являла видъ самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючіе большевицкіе автомобили. Маршировали какіе-то ободранцы съ винтовками. Кучками проходили подозрительныя личности. Словомъ—царило непривычное оживленіе. Узнаю тутъ-же, на улицѣ, что рядомъ, въ Таврическомъ Дворцѣ, идетъ назначенный большевиками митингъ и засѣданіе ихъ Совѣта. И что дѣла какъ-то неожиданно-непріятно тамъ обертываются для большевиковъ, даже трамваи вдругъ забастовали. Ну что же, разбастуютъ.

Безъ всякаго волненія, почти безъ любопытства, слѣжу за шныряющими властями. Постоянная исторія, и ничего ни изъ одной не выходитъ.

Женщины съ черновато-синими лицами, съ горшками и посудинами въ ослабѣвшихъ рукахъ (супъ съ воблой несутъ изъ общественной столовой)—останавливались на углахъ, шушушкались, озираясь. Напрасно, голубушки! У надежды глаза такъ-же велики, какъ и у страха.

Рынки опять разогнали и запечатали. Изъ казны дается на день $\frac{1}{8}$ хлѣба. Муку ржаную обѣщали намъ принести тайкомъ — 200 р. фунтъ.

Катя спросила у меня 300 рублей, — отдать за починку туфель.

Если ночью горитъ электричество — значитъ въ этомъ раіонѣ обыски. У насъ уже было два. Оцѣпляють

домъ и ходять цѣлую ночь, толпясь, по квартирамъ. Въ первый разъ обыскомъ завѣдывалъ какой-то „товарищъ Савинъ“, подслѣповатый, одѣтый, какъ рабочій. Сопровождающій обыскъ другъ (ужасно онъ похожъ, безъ воротничка, на большую, худую, печальную птицу) — шепнулъ „товарищу“, что тутъ, молъ, писатели, какое у нихъ оружіе! Савинъ слегка ковырнулъ мои бумаги и спросилъ: участвую-ли я *теперь* въ періодическихъ изданіяхъ? На мой отрицательный отвѣтъ ничего, однако, не сказалъ. Куча бабъ въ платкахъ (новыя сыщицы коммунистки) интересовались больше содержимымъ моихъ шкаповъ. Шептались. Въ то время мы только-что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкапъ не пустъ. Однако, обошлось. Нашъ другъ ходилъ по пятамъ каждой бабы.

На второмъ обыскѣ женщинъ не было. За то дѣти. Мальчикъ лѣтъ 9 на видъ, шустрый и любопытный, усердно рылся въ комодахъ и въ письменномъ столѣ Дм. Серг. Но въ комодахъ съ особеннымъ вкусомъ. Этотъ навѣрно „коммунистъ“. При какомъ еще строѣ, кромѣ коммунистическаго, удалось бы юному государственному дѣятелю полазить по чужимъ ящикамъ! А тутъ—открывай любой.— „Вѣдь, подумайте, вѣдь они дѣтей развращаютъ! Дѣтей! Вѣдь я на этого мальченку безъ стыда и жалости смотрѣть не могъ!“ — вопилъ бѣдный І. І. въ негодованіи на другой день.

Яркое солнце, высокая ограда С. собора. На каменной приступочкѣ сидитъ дама въ траурѣ. Сидитъ безсильно, какъ-то вся опустившись. Вдругъ тихо, мучительно, протянула руку. Не на хлѣбъ попросила—куда! Кто теперь въ состояніи подать „на хлѣбъ“. На воблу.

Холеры еще нѣтъ. Есть дизентерія. И растеть. Съ тѣхъ поръ, какъ выключили всѣ телефоны—мы по-

чти не сообщаемся. Не знаемъ, кто боленъ, кто живъ, кто умеръ. Трудно знать другъ о другѣ, — а увидаться еще труднѣе.

Извозчика можно достать — отъ 500 р. конецъ.

Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой — значить, его арестовали. Такъ арестовали мужа нашей квартирной сосѣдки, древняго-древняго старика. Онъ не былъ, да и не могъ быть причастенъ къ „контръ-революціи“, онъ просто *шелъ по Гороховой*. И домой не пришелъ. Несчастливая старуха недѣлю сходила съ ума, а когда, наконецъ, узнала, гдѣ онъ сидитъ и собралась послать ему ѣду (заключенные кормятся только тѣмъ, что имъ присылаютъ „съ воли“) — то оказалось, что старецъ уже умеръ. Отъ воспаления легкихъ или отъ голода.

Также не вернулся домой другой старикъ, знакомый З. Этотъ зашелъ случайно въ швейцарское посольство, а тамъ засада.

Еще не умеръ, сидитъ до сихъ поръ. Любопытно, что онъ давно на большевицкой-же службѣ, въ какомъ-то учрежденіи, которое его отъ Гороховой требуетъ, онъ нуженъ. . . Но Гороховая не отдаетъ.

Опять неудавшаяся гроза, — какое лѣто странное! Но посвѣжѣло.

А въ общемъ ничего не измѣняется. Пыталась цѣлый день продавать старые башмаки. Не даютъ полторы тысячи, — малы. Отдала задешево. Ёсть-то надо.

Еще одного надо записать въ синодикъ. Передался большевикамъ А. Ѳ. Кони. Извѣстный всему Петербургу сенаторъ Кони, писатель и лекторъ, хромой, 75-лѣтній старецъ. За пролетку и крупу рѣшилъ „служить пролетаріату“. Написалъ объ этомъ „самому“ Луначарскому. Тотъ бросился читать письмо всюду: „товарищи, А. Ѳ. Кони — нашъ! Вотъ его письмо“. Уже объявлены какія-то лекціи Кони — красноармейцамъ.

Самое жалкое — это что онъ, кажется, не очень и нуждался. Дима*) не такъ давно былъ у него. За-чѣмъ же это на старости лѣтъ? Крупы будетъ больше, будутъ за нимъ на лекціи пролетку посылать, — но вѣдь стыдно!

Съ Москвой, жаль, почти нѣтъ сообщенія. А то достать бы книжку Брюсова „Почему я сталъ коммунистомъ“. Онъ теперь, говорятъ, важная шишка у большевиковъ. Общій цензоръ. (Издавна злоупотребляетъ наркотиками).

Валерій Брюсовъ — одинъ изъ нашихъ „большихъ талантовъ“. Поэтъ „конца вѣка“, — ихъ когда то называли „декадентами“. Мы съ нимъ были всю жизнь очень хороши, хотя дружить такъ, какъ я дружила съ Блокомъ и съ А. Бѣлымъ, съ нимъ было трудно. Не больно ли, что какъ разъ эти двое послѣднихъ, лучшіе, кажется, изъ поэтовъ и личные мои долготѣтніе друзья — чуть не первыми перешли къ большевикамъ? Впрочемъ, — какой большевикъ — Блокъ! Онъ и вертится гдѣ-то около, въ лѣвыхъ эс эрахъ. Онъ и А. Бѣлый — это просто „потерянная дѣти“, ниче о не понимающія, а-политичныя отнынѣ и до вѣка. Блокъ и самъ какъ то соглашался, что онъ „потерянное дитя“, не больше.

Но бываютъ времена, когда нельзя быть безответственнымъ, когда всякій обязанъ быть человѣкомъ. И я „взорвала мосты“ между нами, какъ это ни больно. Пусть у Блока, да и у Бѣлаго, — „душа невинна“: я не прощу имъ никогда.

Брюсовъ другого типа. Онъ не „потерянное дитя“, хотя такъ же безответственъ. Но о разрывѣ съ Брюсовымъ я не жалѣю. Я жалѣю его самого.

Все таки самый замѣчательный русскій поэтъ и писатель. — Сологубъ, — остался „человѣкомъ“. Не

*) Д. В. Философовъ.

пошелъ къ большевикамъ. И не поидеть. Невесело ему за то живется.

Молодой поэтъ Натанъ В., изъ кружка Горькаго, но очень возстававшій здѣсь противъ большевиковъ, — въ Кіевѣ очутился на посту Луначарскаго. Интеллигенты стали подъ его покровительство.

Шла дама по Таврическому саду. На одной ногѣ туфля, на другой — лапотъ.

Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера! Разломаютъ и растаскаютъ.

Таскаютъ и торцы. Сегодня сама видѣла, какъ мальчишка съ невиннымъ видомъ разбиралъ мостовую. Подъ торцомъ доски. Ихъ еще не трогаютъ. Впрочемъ, нѣтъ, выворачиваютъ и доски, ибо кромѣ „плѣшинъ“ — вынутыхъ торцовъ, — кое гдѣ на улицахъ есть и бездонныя черныя ямы.

Н. былъ арестованъ въ Павловскѣ на музыкѣ, во время облавы. Допрашивалъ самъ Петерсъ, нашъ „безпощадный“ (латышъ). Не вѣрилъ что Н. студентъ. Оттого, вѣрно, и выпустилъ. На студентовъ особенное гоненіе. Съ весны ихъ начали прибирать къ рукамъ. Яростно мобилизуютъ. Но все таки кое-кто выкручивается. Университетъ вообще разрушенъ, но остатки студентовъ все-таки нежелательный элементъ. Это, хотя и — увы! — пассивная, но все-таки оппозиція. Большевики же не терпятъ вблизи никакой, даже пассивной, даже глухой и нѣмой. И если только могутъ, что только могутъ, уничтожаютъ. Непремѣнно уничтожатъ студентовъ, — останутся только профессора. Студенты все таки имъ, большевикамъ, кажутся *коллективной* оппозиціей, а профессора разъединены, каждый — отдѣльная оппозиція, и они ихъ преслѣдуютъ отдѣльно.

Сегодня прибавили еще $\frac{1}{8}$ фунта хлѣба на два дня. Какое объяденіе.

Ночи стали темнѣе.

Да, и очень темнѣе. Вѣдь ужъ старый іюль вполонинѣ. Сегодня 15 іюля.

Косить дизентерія. Направо и налѣво. Нѣтъ дома, гдѣ нѣтъ больныхъ. Въ нашемъ домѣ уже двое умерло. Холера только въ развитіи.

16 іюля. Утромъ изъ окна: ѣдетъ возъ гробовъ. Бѣлые, новые, блестятъ на солнцѣ. Возъ обвязанъ веревками.

Въ гробахъ — покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удастся. Запаха я не слышала, хотя окно было отворено. А на Загородномъ — пишеть „Правда“ — сильно пахнутъ, когда ѣдутъ.

Няня моя, чтобы получить парусиновыя туфли за 117 р. (ей удалось добыть ордеръ казенный!) стояла въ очереди сегодня, вчера и третьяго дня съ 7 час. утра до 5. Десять часовъ подрядъ.

Ничего не получила.

А І. І. ѣздилъ къ Горькому, опять изъ-за брата (вѣдь у І. І. брата арестовали).

Разсказываетъ: попалъ на обѣдъ, по несчастью. Мнѣ не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, Горьковскій, кусокъ въ ротъ; но, признаюсь, былъ я голоденъ, и непріятно очень было: и котлеты, и огурцы свѣжіе, кисель черничный. . .

Бѣдный І. І., когда то *буквально спасшій Горькаго отъ смерти!* За это ему теперь позволяется смотрѣть, какъ Горькій обѣдаетъ. И только; потому что на просьбу относительно брата Горькій отвѣтилъ: „Вы мнѣ надоѣли! Ну и пусть вашего брата разстрѣляютъ!“

Объ этомъ І. І. разсказывалъ съ волненіемъ, съ дрожью въ голосѣ. Не оттого, что разстрѣляютъ брата (его, вѣроятно, не разстрѣляютъ), не оттого, что Горькій забылъ, что сдѣлалъ для него І. І., — а потому, что І. І. *видитъ* теперь Горькаго, настоящій

обликъ челоуѣка, котораго онъ любилъ... и любить, можетъ быть, до сихъ поръ.

Меня же Горькій и не ранить (я никогда его не любила) и не удивляетъ (я всегда видѣла его довольно ясно). Это челоуѣкъ прежде всего не только не культурный, но *неспособный* къ культурѣ внутренно. А кромѣ того — у него совершенно бабья душа. Онъ можетъ быть и добръ — и золь. Онъ все можетъ и ни за что не отвѣчаетъ. Онъ какой то безсознательный. Сейчасъ онъ приноситъ много вреда, играетъ роль крайне отрицательную, — но все это, въ концѣ концовъ, женская пассивность, — „путь Магдалининъ“. Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо никогда не пойметъ своихъ грѣховъ.

Не завидую я его котлетамъ. Ниша затхлая каша и водянистый супъ, на которыхъ мы сидимъ мѣсяцами (равно какъ и I. I.) — право, пища болѣе здоровая!

Старика Г., знакомаго З. (я о немъ писала), не выпустили, но отправили въ Москву, на работы, въ лагерь. Обвиненій никакихъ. На работы нужно ходить за 35 верстъ.

Что-то все дѣлается, дѣлается, мы чуемъ, а что — не знаемъ.

Границы плотно заперты. Въ „Правдѣ“ и въ „Извѣстіяхъ“ — абсолютная чепуха. А это наши двѣ *единственныя* газеты, два полу-листика грязной бумаги, — офиціозы. (Въ „коммунистическомъ государствѣ“ пресса допускается, вѣдь, только *казенная*. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, — казенное. Впрочемъ, оно никакихъ книгъ и не издаетъ, издаетъ пока лишь брошюры коммунистическія. Книги соотвѣтственныя еще не написаны, всѣ старыя — „контръ-революціонны“; можно подождать, кстати и бумаги мало. Ленинки печатать — и то не хватаетъ.)

Что пишется въ офиціозахъ — понять нельзя. Мы и не понимаемъ.

И никто. Думаю, сами большевики мало понимаютъ, мало знаютъ. Живутъ со дня на день. Зеленая армія ширится.

Дизентерія, дизентерія... И холера тоже. Въ субботу пять лѣтъ войнѣ. *Наша* война кончится не можетъ, поэтому я уже и мира не понимаю!

Надо продавать все до нитки. Но не умѣю, плохо идетъ продажа.

Дмитрій*) сидитъ до истощенія, цѣлыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупыхъ романовъ для „Всемирной Литературы“. Это такое учрежденіе, созданное покровительствомъ Горькаго и одного изъ его паразитовъ — Тихонова, для подкармливанія, будто-бы, интеллигентовъ. Переводы эти не печатаются — да и незачѣмъ ихъ печатать.

Платятъ 300 ленинокъ съ громаднаго листа (ремингтонъ на счетъ переводчика), а за корректуру — 100 ленинокъ.

Дмитрій сидитъ надъ этими корректурами днемъ, а я по ночамъ. Надъ какимъ то французскимъ романомъ, переведеннымъ голодной барышней, 14 ночей просидѣла.

Интересно, на что въ Совдепѣи пригодились писатели. Да и то, въ сущности, не пригодились. Это такъ, благотворительность, копѣечка, поданная Горькимъ Мережковскому.

На копѣечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинокъ, полдня жизни) — не раскутишься. Выгоднѣе продать старые штаны.

Ощущеніе *лжи* вокругъ — ощущеніе чисто-физическое. Я этого раньше не знала. Какъ будто съ дыханіемъ въ ротъ вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ея липкость, но и особый запахъ, ни съ чѣмъ не сравнимый.

Сегодня опять всю ночь горѣло электричество — обыски. Вѣрно для принудительныхъ работъ.

*) Д. С. Мережковскій.

Яркій день. Годовщина (пять лѣтъ!) войны. Съ тѣхъ поръ почти не живу. О, какъ я ненавидѣла ее всегда, этотъ европейскій позоръ, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя! Я уже не говорю о Россіи. Я не говорю и о побѣжденныхъ. Но съ перваго мгновенія я знала, что эта война грозитъ неисчислимыми бѣдствіями *всей* Европѣ, и побѣдителямъ, и побѣжденнымъ. Помню, какъ я упрямо, до тупости, возставала на войну, шла противъ если не всѣхъ, — то многихъ, иногда противъ самыхъ близкихъ людей (не противъ Д. С.*), онъ былъ со мной.) Общественно — мы звука не могли издать не военнаго, благодаря царской цензурѣ. На мой докладъ въ Религіозно-Философскомъ О-вѣ, самый осторожный, нападали втеченіе двухъ засѣданій. Я до сихъ поръ утверждаю, что здравый смыслъ былъ на моей сторонѣ. А послѣ мнѣ приходилось выслушивать такіе вопросы: „вотъ, вы всегда были противъ войны, значить, вы за большевиковъ?“ За большевиковъ! Какъ будто мы ихъ не знали, какъ будто мы не знали до всякой революціи, что большевики — это перманентная война, безысходная война?

Большевицкая власть въ Россіи — порожденіе, дѣтище войны. И пока она будетъ — будетъ война. Гражданская? Какъ бы не такъ! Просто себѣ война, только двойная еще, и внѣшняя, и внутренняя. И послѣдняя въ самой омерзительной формѣ террора, т. е. убійства вооруженными — безоружныхъ и беззащитныхъ. Но довольно объ этомъ, довольно! Я слышу выстрѣлы. Оставляю перо, иду на открытый балконъ.

Посерединѣ улицы медленно собираются люди. Дѣти, женщины . . . даже знаменитые „инвалиды“, что напротивъ, слѣзли съ подоконниковъ, — и музыку забыли. Глядятъ вверхъ. Совершенно безмолвствуютъ. Какъ замороженные — и взрослые, и дѣти. Въ чистѣйшемъ голубомъ воздухѣ, между домами, — круг-

*) Мережковскій.

лые, точно бѣлые клубочки, плаваютъ дымки. Это „наши“ (большевицкія) части стрѣляютъ въ небо по будто бы налетѣвшимъ „вражескимъ“ аэропланамъ.

На бѣлые ватные комочки „нашихъ“ орудій никто не смотритъ. Глядятъ въ другую сторону и выше, ища „враговъ“. Мальчишка жадно и робко указываетъ куда-то перстомъ, всѣ оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видятъ. По крайней мѣрѣ я, не смотря на бинокль, ничего не вижу.

Кто — „они“? Бѣлая армія? Союзники — англичане или французы? Зачѣмъ это? Прилетаютъ любоваться, какъ мы вымираемъ? Да вѣдь съ этой высоты все равно не видно.

Балконъ меня не удовлетворяетъ. Втихомолку, накинувъ платокъ, бѣгу съ Катей, — горничной, по черному ходу внизъ и подхожу къ жидкой кучкѣ посреди улицы.

Совсѣмъ ничего не вижу въ небѣ (бинокль дома остался), а люди гробово молчатъ. Я жду. Вотъ, слышу, желтая баба шепчетъ сосѣдкѣ:

— И чего они — летаютъ-летаютъ . . . Союзники тоже . . . Хоть бы бумажку сбросили, когда придутъ, или что . . .

Тихо говорила баба, но ближній „инвалидъ“ слышалъ. Онъ, впрочемъ, невиненъ.

— Чего бумажку, булку бы сбросили, вотъ это дѣло!

Баба вдругъ разъярилась:

— Булки захотѣлъ, толстомордый! Хоть бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо! Разорвало бы окаянныхъ, да и намъ ужъ одинъ конецъ, легче-бы!

Сказавъ это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю, — струсила. Хоть не видать ничего „такого“ около, а все-же . . . Съ улицы легче всего попасть на Гороховую, а тамъ въ спискахъ потеряешься, и каюкъ. Это и бабамъ хорошо извѣстно.

Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.

Да зачѣмъ эти праздные налеты?

Вчера то-же было, говорятъ, въ Кронштадтѣ. То-же самое.

Зачѣмъ это?

Дни — какъ день одинъ, громадный, только мигающій — ночью. Текущее неподвижное время. Лупорожій А-въ съ нашего двора, праздный ражіій дѣтина изъ шофферовъ (не совсѣмъ праздный, широко спекулируетъ, кажется) — купилъ наше піанино за 7 т. ленинокъ, самоваръ новый за тысячу и за 7 т. мой парижскій мѣхъ — женѣ.

Приходятъ, кромѣ того, всякіе евреи и еврейки, типъ одинъ, обычный, — типъ нашего Гржебина: тотъ же аферизмъ, нажива на чужой петлѣ. Гржебинъ даже любопытный индивидуумъ. Прирожденный паразитъ и мародеръ интеллигентской среды. Вѣчно онъ околачивался около всякихъ литературныхъ предпріятій, издательствъ, — къ нѣкоторымъ даже присасывался, — но въ общемъ удачи не имѣлъ. Иногда промахивался: въ книгоиздательствѣ „Шиповникъ“ разъ получилъ гонораръ за художника Сомова, и когда это открылось, — слезно умолялъ не предавать дѣло огласкѣ. До войны бѣдствовалъ, случалось — занималъ по 5 рублей; во время войны уже нѣсколько окрылился, завелъ свой журналишко, самый патріотическій и военный — „Отечество“.

Съ перваго момента революціи онъ, какъ клещъ, впился въ Горькаго. Не отставалъ отъ него ни на шагъ, кто-то видѣлъ его на запяткахъ автомобиля вел. княгини Ксеніи Александровны, когда въ немъ, въ мартовскіе дни, разѣзжалъ Горькій. (Быть можетъ, автомобиль былъ не Ксеніи, другой вел княгини, за это не ручаюсь).

Горькому смѣтливый Зиновій остался вѣренъ. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лѣстницѣ, онъ вышелъ въ чины. Теперь онъ правая рука — главный факторъ Горькаго. Вхожъ къ нему во всякое

время, достаетъ ему по случаю разные „предметы искусства“ — вѣдь Горькій жадно скупаетъ всякія вазы и эмали у презрѣнныхъ „буржуевъ“, умирающихъ съ голоду. (У старика Е., интеллигентнаго либерала, больного, самъ пріѣхалъ смотрѣть остатки китайскаго фарфора. И какъ торговался!) Квартира Горькаго имѣетъ видъ музея — или лавки старьевщика, пожалуй: вѣдь горька участь Горькаго тутъ, мало онъ понимаетъ въ „предметахъ искусства“, несмотря на всю охоту смертную. Часами сидитъ, перетираетъ эмали, любитъся пріобрѣтеннымъ. . . и вѣрно думаетъ, бѣдняжка, что это страшно „культурно!“

Въ послѣднее время сталъ скупать и порнографическіе альбомы. Но и въ нихъ ничего не понимаетъ. Мнѣ говорилъ одинъ антикварь-библіотекарь, съ невинной досадой: „заплатилъ Горькій за одинъ альбомъ такой 10 тысячъ, а онъ и пяти не стоитъ!“

Кромѣ альбомовъ и эмалей, Зиновій Гржебинъ поставляетъ Горькому и царскія сторублевки. I. I. случайно натолкнулся на Гржебина въ передней Горькаго съ цѣлымъ узломъ такихъ сторублевокъ, завязанныхъ въ платокъ.

Но присосавшись къ Горькому, Зиновій дѣлаетъ попутно и свои главныя дѣла: какіе-то громадныя, темныя обороты съ финляндской бумагой, съ финляндской валютой, и даже съ какими-то „масленками“; Богъ ужъ ихъ знаетъ, что это за „масленки“. Должно быть — вкусныя дѣла, ибо онъ живетъ въ нашемъ домѣ въ громадной квартирѣ бывшаго домовладѣльца, покупаетъ сразу пудъ телятины (50 тысячъ), имѣетъ свою пролетку и лошадей (даже не знаю, сколько, — тысячи 3 въ день?)

Къ писателямъ Гржебинъ теперь относится по меценатски. У него есть какъ бы свое (полу-легальное, подъ крыломъ Горькаго) издательство. Онъ скупаетъ всѣхъ писателей съ именами, — скупаетъ „впрокъ“, — вѣдь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература въ его рукахъ, по догово-

ворамъ, на многія лѣта, — и какъ выгодно приобрѣтенная! Буквально, буквально за нѣсколько кусковъ хлѣба!

Ни одинъ издатель при мнѣ и со мной такъ безстыдно не торговался, какъ Гржебинъ. А ужъ кажется, перевидали мы издателей на своемъ вѣку.

Стыдно сказать, за сколько онъ покупалъ меня и Мережковского. Стыдно не намъ, конечно. Люди съ петлей на шеѣ уже такихъ вещей не стыдятся.

Однако, что я — столько о Гржебинѣ. Это сегодня день такой, все разные комиссионеры. Мебельщикъ (еврей тоже) развязно предлагалъ Д. С. чу продать ему „всю его личную библиотечку и рукописи“. У Злобиныхъ онъ уже купилъ гостиную — за 12 рублей (тысячъ). Армянка-бриллиантщица поздно вечеромъ принесла мнѣ 6 тысячъ за мою брошку (большой бриллиантъ). Шестьсотъ взяла себѣ. Показывала — въ сумочкѣ у нея великолѣпное бриллиантовое кольцо чье-то — 400 тысячъ. Получить за комиссію 40 т. сразу.

Это все крупные аферисты, гады, которыми кишитъ наша гнилая „соціалистическая“ заводь. Мелочь же порой даже симпатична, — вродѣ чухонки, бывшей кухарки разстрѣляннаго министра Щегловитова. Эти все таки очень рискуютъ, когда тащутъ наши вещи на рынокъ. На рынкахъ вѣчныя облавы, разгоны, стрѣльба, избіенія.

Сегодня избивали на Мальцевскомъ. Убили 12-ти-лѣтнюю дѣвочку. (Сами даже, говорятъ, смутились).

Чѣмъ объяснить эти облавы? Развѣ любовью къ искусству, главнымъ образомъ. Черезъ часъ послѣ избіеній тѣ-же люди на тѣхъ-же мѣстахъ снова торгуютъ тѣмъ-же. Да и какъ иначе? Кто бы остался въ живыхъ, если бѣ не торговали они — вопреки избіеніямъ?

Надо понять, что мы не знаемъ даже того, что дѣлается буквально въ ста шагахъ отъ насъ (въ

Таврическомъ Дворцѣ, на примѣръ). Тогда будетъ понятно, что мы не можемъ составить себѣ представленія о совершающемся въ нѣсколькихъ верстахъ, не говоря уже о Югѣ или Европѣ!

Вотъ характерная иллюстрація.

На недавней конференціи „матросовъ и красноармейцевъ“ нашъ петербургскій диктаторъ, Зиновьевъ (Радомысльскій), пережилъ весьма непріятную, весьма щекотливую минуту. Казалось бы, собраніе надежное, профильтрованное (другихъ не собираютъ). Въ „Правдѣ“, для освѣдомленія вѣрноподданныхъ, въ отчетѣ объ этой конференціи было напечатано (цитирую дословно) что „г. Зиновьевъ объявилъ о прибытіи великаго писателя Горькаго, великаго противника войны, теперь великаго поборника совѣтской власти“. И Горькій сказалъ рѣчь: „... воюйте, а то придетъ Колчакъ и оторветъ вамъ голову. Евреевъ же мало въ арміи, потому что ихъ вообще мало“. Послѣ этого „былъ покрытъ длительными оваціями“.

Мы, конечно, не поняли, почему это ни съ того, ни съ сего у Горькаго выскочили „евреи въ арміи“. Но мы привыкли къ отсутствію всякой логики и всякаго смысла въ официальной нашей прессѣ.

Оказывается, на дѣлѣ было вотъ что. Намъ посчастливилось узнать правду, помимо „Правды“, — отъ очевидцевъ, присутствовавшихъ на собраніи (именъ, конечно, не назову). Надежное собраніе возмутилось. „Коммунисты“ вдругъ точно взбѣсились: полѣзли на Зиновьева съ криками: „долой войну! долой комиссаровъ!“ И даже — не страшно ли? — „долой жидовъ!“ Кое-гдѣ стали сжиматься кулаки. Зиновьевъ, окруженный, струсилъ. Хотѣлъ удрать заднимъ ходомъ, — и не могъ. Предусмотрительная личная секретарша Зиновьева, — Костина, бросилась отыскивать Горькаго, вспомнивъ, что онъ, прежде всего, „поборникъ евреевъ“. Ыздила на Зиновьевскомъ автомобилѣ по всему городу, даже въ нашъ домъ заглядывала, — а вдругъ Горькій, случаемъ, у І. І.? Гдѣ-то

отыскала, наконецъ, привезла—спасать Зиновьева, спастъ большевиковъ.

Горькій говоритъ мало, глухо, отрывисто, — будто лаетъ. Горькій, дѣйствительно, по словамъ присутствовавшихъ, пролаялъ что-то о евреяхъ, о томъ, что если евреевъ солдатъ меньше, то, вѣдь, евреевъ въ Россіи вообще численно меньше, чѣмъ русскихъ. На счетъ Колчака, „отрыва головы“ и совѣта воевать — очевидцы не говорили, можетъ быть, не дослышали.

Краснорѣчіе Горькаго врядъ-ли могло имѣть рѣшающее вліяніе, но „вѣрная и преданная“ часть сборища постаралась использовать выходъ „великаго писателя, поборника“ и т. д., какъ диверсію отвлекающую. Послѣ нея „конференцію“ быстро закончили и закрыли.

Вскорѣ послѣ напечатаннаго отчета І. І. былъ у Горькаго (все изъ за брата). Въ упоръ спросилъ его, правда-ли, что Горькій большевиковъ спасалъ? Правда-ли, что требовалъ продолженія войны? Неужели, какъ выразился І. І., — „Горькій и этимъ теперь *опаскуженъ*“?

На это Горькій пролаялъ мрачно, что ни слова не говорилъ о войнѣ, а только о евреяхъ. Будто-бы въ Москву даже ѣздилъ, чтобы „протестовать“ противъ напечатаннаго о немъ, да вотъ „ничего сдѣлать не можетъ.“

Какой, подумаешь, несчастный обиженный!

Говорить еще, что въ Москвѣ — „воръ на ворѣ, негодяй на негодяѣ“... (а здѣсь? Кого онъ спасалъ?).

Если можно было еще кѣмъ нибудь возмущаться, то Горькимъ — первымъ. Но возмущенье и ненависть — перегорѣли. Да *люди* и стали выше ненависти. Сожалительное презрѣніе, а иногда брезгливость. Больше ничего.

Оплакавъ Венгрію, большевики заскучали. Троцкій-Бронштейнъ, главнокомандующій арміей „всея Россіи“, требуетъ, однако, чтобы къ зимѣ эта армія уничтожила всѣхъ „бѣлыхъ“, которые еще занимаютъ часть Россіи. „Тогда мы поговоримъ съ Европой“.

Работы много — вѣдь ужъ августъ, даже по старому стилю.

Косить дизентерія.

Т. (моя сестра) лежитъ третью недѣлю. Страшная, желтая, худая. Лекарствъ нѣтъ.

Соли нѣтъ.

Почти насильно записываютъ въ партію коммунистовъ. Открыто устрашаютъ: „...а если кто...“ Дураки — боятся.

Петерса убрали въ Кіевъ. Положеніе Кіева острое. Кажется, его тѣснятъ всякія „банды“, отъ нихъ стонутъ сами большевики. Впрочемъ — что мы знаемъ?

Арестованная (по доносу домового комитета, изъ-за созвучій фамилій) и черезъ 3 недѣли выпущенная Ел. (близкій намъ человѣкъ) рассказываетъ, между прочимъ.

Разстрѣливаютъ офицеровъ, сидящихъ съ женами вмѣстѣ, человѣкъ 10 — 11 въ день. Выводятъ на дворъ, комендантъ, съ папироской въ зубахъ, считаетъ, — уводятъ.

При Ел. этотъ комендантъ (коменданты всѣ изъ послѣднихъ низовъ), проходя мимо тутъ-же стоящихъ, помертвѣвшихъ женъ, шутилъ: „вотъ, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалѣйте, вашъ мужъ мерзавецъ былъ! Въ красной арміи служить не хотѣлъ.“

Недавно разстрѣляли профессора Б. Никольскаго. Имущество его и великолѣпную бібліотеку конфисковали. Жена его сошла съ ума. Остались — дочь 18 лѣтъ и сынъ 17-ти. На дняхъ сына потребовали во „Всеобучъ“ (всеобщее военное обученіе). Онъ явился. Тамъ ему сразу комиссаръ съ хохоткомъ объявилъ (шутники эти комиссары!) — „А вы знаете, гдѣ тѣло вашего папашки? Мы его звѣркамъ скормили!“

Звѣрей Зоологическаго Сада, еще не подошедшихъ, кормятъ свѣжими трупами разстрѣлянныхъ, благо

Петропавловская крѣпость близко, — это всѣмъ извѣстно. Но родственникамъ, кажется, не объявляли раньше.

Объявленіе такъ подѣйствовало на мальчика, что онъ четвертый день лежитъ въ бреду. (Имя комиссара я знаю).

Вчера докторъ Х. утѣшалъ І. І., что у нихъ теперь хорошо устроилось, несмотря на недостатокъ мяса: сердце и печень человѣческихъ труповъ пропускаютъ черезъ мясорубку и выдѣлываютъ пептоны, питательную среду, бульонъ... для культуры бациллъ, напримѣръ.

Докторъ этотъ крайне изумился, когда І. І. внезапно завопилъ, что не переноситъ такого „глума“ надъ человѣческимъ тѣломъ и убѣждалъ, схвативъ фуражку.

Надо помнить, что сейчасъ въ Спб гѣ, при абсолютномъ отсутствіи однѣхъ вещей и скудости другихъ, есть нѣчто въ изобиліи: трупы. Оставимъ разстрѣлянныхъ. Но и смертность въ городѣ, по скромной большевицкой статистикѣ (петитомъ) — 6, 5‰, при 1, 2‰ рожденій. Не забудемъ что это *большевицкая*, официальная статистика.

І І заболѣлъ. И сестра его — дизентеріей. „Перспективъ“ — для насъ — никакихъ, кромѣ зимы безъ свѣта и огня. Кіевъ, какъ будто, еще разъ взяли, кто — неизвѣстно. Не то Деникинъ, не то поляки, не то „банды“. Можетъ быть, и всѣ они вмѣстѣ.

Очень все неинтересно. Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая свинцовая скука.

Петерсъ, уѣзжая въ Кіевъ (мы знаемъ, что Кіевъ взяли по тому, что Петерсъ ужъ въ Москвѣ: удралъ, значитъ), рѣшилъ возвратитъ намъ телефоны. Причинъ возвращать ихъ такъ же мало, какъ мало было отнимать. Но и за то спасибо.

Всѣ теперь, всѣ безъ исключенія, — носители слуховъ. Носятъ ихъ соотвѣтственно своей психологіи: оптимисты — оптимистическіе, пессимисты — пессимистическіе. Такъ что каждый день есть *всякіе* слухи, обыкновенно другъ друга уничтожающіе. Фактовъ-же нѣтъ почти никакихъ. Газета — нашъ обрывокъ газеты, — если факты имѣетъ, то не сообщаетъ, тоже несетъ слухи, лишь опредѣленно подтасованные. Изрѣдка прорвется кусокъ паники, вродѣ „вновь угрожающей Антанты, лѣзущей на насъ съ еще окровавленной отъ Венгріи мордой...“ или вродѣ внезапно появившагося Тамбово-Козловскаго (?) фронта.

Несомнѣнный фактъ, что сегодня ночью (съ 17 на 18 августа) гдѣ-то стрѣляли изъ тяжелыхъ орудій. Но Кронштадтъ ли стрѣлялъ, въ него ли стрѣляли — мы не знаемъ (слухи).

Должно быть, особенно серьезнаго ничего не происходитъ, — не слышно усиленнаго ерзанья большевицкихъ автомобилей. Это у насъ одинъ изъ важныхъ признаковъ: какъ начинается тархтѣнье автомобилей, — завозились большевики, забезпокоились, — ну, значитъ, что-то есть новенькое, пахнетъ надеждой. Впрочемъ, мы привыкли, что они изъ за всякаго пустяка впадаютъ въ панику и начинаютъ возиться, дребежжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Всѣ автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева — хорошій. Любопытно видѣть, какъ „слѣдуетъ“ по стогнамъ града „начальникъ Сѣверной Коммуны“. Человѣкъ онъ жирный, бѣлотѣлый, курчавый. На фотографіяхъ, въ газетѣ, выходитъ необыкновенно похожимъ на пышную, старую тетку Зимой и лѣтомъ онъ безъ шапки. Когда ѣдетъ въ своемъ автомобилѣ. — открыгомъ, — то возвышается на колѣняхъ у двухъ красноармейцевъ. Это его личная охрана. Онъ безъ нея — никуда, онъ трусъ первой руки. Впрочемъ, они всѣ трусы. Троцкій держится за семью замками, а когда идетъ, то охранники его буквально тѣснятъ въ кольцо, давятъ кольцомъ.

Фунтъ чаю стоитъ 1200 р. Мы его давно уже не пьемъ. Сушимъ ломтики морковки, или свеклы, — что есть. И завариваемъ. Ничего. Хорошо бы листьевъ, да какія-то грязныя деревья въ Таврическомъ саду, и Богъ ихъ знаетъ, можетъ неподходящія.

Въ гречневой крупѣ (достаемъ иногда на рынкѣ 300 р. фунтъ), въ кашѣ-размазнѣ — гвозди. Небольшіе, но ихъ очень много. При варкѣ няня вчера вынула 12. Изъ рта мы ихъ продолжаемъ вынимать. Я только сейчасъ, вечеромъ, въ трехъ ложкахъ нашла 2, тоже изъ рта ужъ вынула. Вѣрно, для тяжести прибавляютъ.

Но для чего въ хлѣбъ прибавляютъ толченное стекло, — не могу угадать. Такой хлѣбъ прислали Злобинымъ изъ Москвы, ихъ знакомые, — съ оказіей.

Читаю рассказъ Лѣскова „Юдоль“. Это о голодѣ въ 1840-мъ году, въ средней Россіи. Наше положеніе очень напоминаетъ положеніе крѣпостныхъ въ имѣніи Орловской губерніи. Такъ-же должны были они умирать *на мѣсть*, лишенные правъ, лишенные и права отлучки. Разница: ихъ „Юдоль“ длилась всего 10 мѣсяцевъ. И еще: дворовымъ крѣпостнымъ выдавали помѣщики на день не $\frac{1}{8}$ хлѣба, а цѣлыхъ 3 фунта! Три фунта хлѣба. Даже какъ-то не вѣрится.

Сыпной тифъ, дизентерія — продолжаютъ. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце.

Всѣ эти Деникинскіе Саратовы, Тамбовы и Воронежы, о которыхъ намъ говорятъ то слухи, то, задуманно намекая, большевицкія газеты, — оставляютъ нашу эпидерму безчувственной. Намъ нужны „ощущенія“, а не „представленія“.

Но и помимо этого, — когда я пытаюсь рассуждать, — я тоже не дѣлаю радужныхъ выводовъ. Не вижу я ни успѣха „бѣлыхъ генераловъ“ (если они одни), ни цѣлесообразности движенія *съ юга*. (Вслухъ

насчетъ невѣрія моего въ „бѣлыхъ генераловъ“ не говорю, это слишкомъ ранить всѣхъ.) Большевики твердо и ясно знаютъ, что безъ Петербурга центральная власть (хотя она и въ Москвѣ) не будетъ свалена. Большевики недаромъ всей силой, почти суевѣрно, держатся за Петербургъ. Они такъ и говорятъ, даже въ Москвѣ: „пока есть у насъ нашъ красный Петроградъ, — мы есть и мы непобѣдимы“.

Да, это роковымъ образомъ такъ. Петербургъ — большевицкій талисманъ. И большевицкая голова.

Кромѣ того, „бѣлые генералы“ наши. . . Впрочемъ, — молчаніе, молчаніе. Если и думаютъ многіе, какъ я (опытны, вѣдь, мы всѣ!), то все таки теперь помолчимъ.

Продала старыя портьеры. И новыя. И подкладочный коленкоръ. 2 тысячи. Полтора дня жизни.

Большевики и сами знаютъ, что будутъ свалены такъ или иначе, — но когда? Въ этомъ весь вопросъ. Для Россіи, — и для Европы — это вопросъ громадной важности. Я подчеркиваю, для Европы. Быть можетъ, для Европы вопросъ времени паденія большевиковъ даже *важнѣе*, чѣмъ для Россіи. Какъ это ясно!

Принудительная война, которую ведетъ наша кучка захватчиковъ, еще тѣмъ противнѣе обыкновенной, что представляетъ изъ себя „дурную безконечность“ и развращаетъ данное поколѣніе въ корнѣ, — создаетъ изъ мужика „вѣчнаго“ армейца, празднаго авантюриста. Кто не воюетъ, или пока не воюетъ, торгуетъ (и воруетъ, конечно). *Не работаетъ никто*. Воистину „торгово-продажная“ республика, — защищаемая одурѣлыми солдатами — рабами.

Если большевики падутъ лишь „въ концѣ концовъ“, — то, пожалуй, подъ свалившимся окажется „пустое мѣсто“. Поздравимъ тогда Европу. Впрочемъ, будетъ ли тогда кого поздравлять, — въ „концѣ то концовъ“?

Матросье кронштадское ворчитъ, стонетъ, — надоѣло. „Давно-бы мы сдались, да некому. Никто нейдетъ, никто не беретъ“.

Что бы ни было далѣе — мы не забудемъ этого „союзникамъ“. Англичанамъ, — ибо французы безъ нихъ врядъ-ли что могутъ.

Да что—мы? Имъ не забудетъ этого и жизнь сама.

Вчера видѣла на улицѣ, какъ маленькая, 4-хъ-лѣтняя дѣвочка колотила рученками упавшую съ разрушеннаго дома старую вывѣску. Вмѣсто дома среди досокъ, балокъ и кирпича — возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывѣскѣ были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахаръ и — булки! Цѣлая гора булокъ!

Я наклонилась надъ дѣвочкой.

— За что-же ты бьешь такія славныя вещи?

— Въ руки не дается! Въ руки не дается! съ плачемъ повторяла дѣвочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье.

Чрезвычайку обновили. Старыхъ разстрѣляли, коекого. Но воры и шантажисты — всѣ.

Отмѣчаю (конецъ августа по нов. стилю), что, несмотря на отсутствіе фактовъ, и даже касающихся съвера слуховъ, — общее настроеніе въ городѣ — повышенное, атмосфера просвѣтленная. Верхи и низы одинаково, хотя безотчетно, вдругъ стали утверждаться на ощущеніи, что скоро, къ октябрю-ноябрю, все будетъ кончено.

Можетъ-быть, отчасти дѣйствуютъ и слишкомъ настойчивыя большевицкія увѣренія, что „напрасны новыя угрозы“, „тщетны рѣшенія англичанъ кончить съ Петербургомъ теперь-же“, „нелѣпы надежды Юденича на новое соглашеніе съ Эстляндіей“ и т. д.

Агонизирующій Петербургъ, читая эти выкрики, радуется: ага, значитъ, есть „новыя угрозы“. Есть „рѣшеніе англичанъ“! Есть рѣчь о „соглашеніи Юденича съ Эстляндіей“!

Я прямо чувствую нарастаніе беспочвенныхъ, казалось-бы, надеждъ.

Рядомъ большевики пишутъ о своемъ наступленіи на Псковъ. Возможно, отберутъ его; но и это врядъ-ли измѣнитъ настроеніе дня.

Наша Кассандра, — Д. С., — пребываетъ въ тѣхъ же мрачныхъ тонахъ. Я... не говорю ничего. Но констатировать общее состояніе атмосферы считаю долгомъ.

Живемъ буквально на то, что продаемъ, изо-дня въ день. Все дорожаетъ въ гомерической прогрессіи, ибо рынки громятъ систематически. И, кажется, уже не столько принципиально, сколько утилитарно: нечѣмъ красноармейцевъ кормить. Обывательское продовольствіе жадно забирается.

С. *) съ женой поѣхалъ недавно въ К., на Волгу, гдѣ у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющіе домикъ „коммунары“ удѣлили хозяевамъ двѣ коморки наверху. Незавидное было житье.

С. говоритъ, что на Волгѣ — непрерывныя крестьянскія возстанія. Карательные отряды поджигаютъ деревни, разстрѣливаютъ крестьянъ по 600 человѣкъ заразъ.

Южные „слухи“ упорны относительно Кіева: онъ, будто-бы, взятъ Петлюрой — въ соединеніи съ поляками и Деникинымъ.

(Вотъ что я замѣтила относительно природы „слуха“ вообще. Во всякомъ слухѣ есть смѣшеніе даннаго съ должнымъ. Бываютъ слухи очень *невѣрные*, — съ громаднымъ преобладаніемъ должнаго надъ

*) Замѣчательный и очень извѣстный писатель.

даннымъ; — не вѣрны они, значитъ, фактически, и тѣмъ не менѣе очень поучительны. Для умѣющаго учиться, конечно. Вотъ и теперь, Кіевъ. Можетъ быть, его *должно было бы* взять соединеніе Петлюры, поляковъ и Деникина. А какъ *даннаго* — такого соединенія и не существуетъ, можетъ быть, если Кіевъ и взять).

Большевики признались, что Кіевъ окруженъ съ 3-хъ сторонъ. Только сегодня (29-го августа) признались, что „противникъ (какой? кто?) занялъ Одессу“. (Одесса взята около мѣсяца тому назадъ).

Ахъ, да что эти южныя „взятія“. И мы — Россія, и большевики — наши завоеватели, въ этомъ пунктѣ единомысленны: занятіе южныхъ городовъ „бѣлыми“ нисколько не колеблетъ центральную власть и само по себѣ не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тотъ-же Кіевъ сто разъ еще будетъ взятъ обратно.

Хамье отъѣвшееся, глубоко а-политичное и без-принципное (съ однимъ непоколебимымъ принципомъ — частной собственности) спѣшитъ „до переворота“ реализовать нахваченные пуды грязной бумаги, „ле-нинокъ“, — скупая все, что можетъ. У насъ. Въ каждомъ случаѣ учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболѣе голодныхъ. Помѣщаютъ свои ленинки, какъ въ банкъ, въ брилліанты, мѣха, мебель, книги, фарфоръ, — во что угодно. Это очень разсудительно.

Лупорожаго А-ва съ нашего двора, ражаго дѣ-тину изъ шофферовъ, который для жены купилъ мой парижскій мѣхъ — сцапали. Спекульнулъ со спир-томъ на 2 1/2 милліона. Ловко!

А чѣмъ лучше Гржебинъ? Только, вотъ, не попался, и ему покровительствуетъ Горькій. Но жена Горькаго (вторая, — настоящая его жена гдѣ-то въ Москвѣ), бывшая актриса, теперь комиссарша всѣхъ російскихъ театровъ, уже сколотила себѣ деньжатъ...

это ни для кого не тайна. Очень любопытный типъ эта дама—коммунистка. Каботинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя *sur le retour*, — она занималась прежде чѣмъ угодно, только не политикой. При началѣ власти большевиковъ самъ Горькій держался какъ-то невыясненно, неопредѣленно. Помню, какъ въ ноябрѣ 17 года я сама лично кричала Горькому (въ послѣдній разъ, кажется, видѣла его тогда): „...а ваша-то собственная совѣсть что вамъ говорить? Ваша внутренняя человѣческая совѣсть?“, а онъ, на просьбы хлопотать передъ большевиками о сидящихъ въ крѣпости министрахъ, только лаялъ глухо: „я съ этими мерзавцами... и говорить... не могу“.

Пока для Горькаго большевики, при случаѣ, были „мерзавцами“, — выжидала и Марья Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь, — о, теперь она „коммунистка“ душой и тѣломъ. Въ роль комиссарши, — министра всѣхъ театрално-художественныхъ дѣлъ, — она вошла блестяще; въ буквальномъ смыслѣ „вошла въ роль“, какъ прежде входила на сценѣ, въ другихъ пьесахъ. Иногда художественная мѣра измѣняется ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а какъ будто императрицы („ей Богу, настоящая „Марія Феодоровна“, восклицалъ кто-то въ эстетическомъ восхищеніи). У нея два автомобиля, она ежедневно приѣзжаетъ въ свое министерство, въ захваченный особнякъ на Литейномъ, — „къ приему“.

Приема ждуть часами и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Одинъ разъ, когда художникъ съ большимъ именемъ, Д-скій, послѣ долгаго ожиданія удостоился, наконецъ, впуска въ министерскій кабинетъ, онъ засталъ комиссаршу очень занятой . . . съ сапожникомъ. Она никакъ не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблучекъ. И съ чисто-королевской милой очаровательностью вскрикнула, увидѣвъ Д-скаго: — „Ахъ, вотъ и художникъ! Ну нарисуйте же мнѣ каблучекъ къ моимъ ботинкамъ!“

Не знаю ужъ, воспользовался-ли Д-скій „случаемъ“ и попалъ, или нѣтъ, „въ милость“. Человѣкъ „придворной складки“, конечно, воспользовался-бы.

Теперь, вотъ въ эти дни, у всѣхъ почему-то на устахъ одно слово: „переворотъ“. У людей „того“ лагеря, не нашего — тоже. И спѣшать что-то успѣть „до переворота“. Спекулянты — реализовать ленинки, причастные къ „властямъ“ — какъ-то „заручиться“ (это ходячій терминъ).

Спѣшитъ и Марья Федоровна А-ва. На дняхъ А-скій, зайдя по дѣлу къ Горькому, засталъ у М. Ф. совсѣмъ неожиданный „салонъ“: человѣкъ 15 самой „бѣлогвардейской“ породы, — П., К. и т. д. Говорятъ о переворотѣ, и комиссарша уже играетъ на этой сценѣ совсѣмъ другую роль: роль „урожденной Желябужской“. Вотъ и „заручилась“ на случай переворота. Какъ не защитить ее гости — своего поля ягоду, „урожденную Желябужскую?“

Недаромъ, однако, были слухи, что прямолинейный Петерсъ, нашъ „безпощадный“, въ ражѣ коммунистической „чистки“, мѣтилъ арестовать всю компанію: и комиссаршу, и Горькаго, и Гржебина, и Тихонова... Да широко махнулъ. Въ Кіевъ услали.

Кіевъ, если не взять, то, кажется, будетъ взять. Понять, вообще, ничего нельзя. Псковъ большевики тогда-же взяли, — торжествовали довольно! Однако, Зиновьевъ опять объявляетъ — мы, молъ, наканунѣ циническаго выступленія англичанъ...

Вы такъ боитесь, товарищъ Зиновьевъ? Не слишкомъ ли большіе глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Зинаида Гиппіусъ.

Исходъ.

I.

Князь умеръ передъ вечеромъ двадцать девятаго августа. Умеръ, какъ жилъ, — въ полномъ одиночествѣ.

Солнце, золотясь передъ закатомъ, не разъ заходило въ легкія смуглыя тучки, островами раскинутыя надъ дальними полями на западѣ. Вечеръ былъ простой, спокойный. На широкомъ дворѣ усадьбы было пусто, въ домѣ, какъ будто еще болѣе обветшавшемъ за лѣто, очень тихо.

Нишіе, бродившіе по деревнѣ, раньше всѣхъ узнали о смерти князя. Они появились возлѣ разрушенныхъ каменныхъ столбовъ при въѣздѣ въ усадьбу и нестройно, разными голосами, запѣли древній духовный стихъ „на исходъ души изъ тѣла“. Ихъ было трое: рябой пагень въ лазоревой рубахѣ съ укороченными рукавами, старикъ, очень прямой и высокій, и загорѣлая дѣвочка, лѣтъ пятнадцати, но уже мать. Она стояла съ соннымъ ребенкомъ на рукахъ, державшимъ во рту сосокъ ея маленькой груди, и пѣла звонко и безстрастно. Мужики были оба слѣпы, съ бѣльмами; у нея глаза были чистые, темные.

Въ домѣ хлопали двери. Наташа выскочила на парадное крыльцо и вихремъ понеслась черезъ дворъ къ людской избѣ; изъ раствореннаго дома слышно было, какъ стѣнные часы медлительно пробили шесть. А черезъ минуту по двору уже бѣжалъ и на бѣгу попадалъ въ рукавъ армяка работникъ — сѣдлатъ ло-

шадь, скакать на деревню за старухами. Гостившая въ усадьбѣ Аня, похожая своей стриженной головой на мальчика, высунулась въ окошечко людской и, захлопавъ въ ладоши, что-то закричала ему вслѣдъ — тупо, косноязычно и восторженно.

Когда молодой Бестужевъ вошелъ къ умершему, онъ лежалъ навзничь, на старинной кровати орѣховаго дерева, подъ старымъ одѣяломъ изъ краснаго атласа, съ разстегнутымъ воротомъ ночной рубашки, полузакрывъ неподвижные, какъ бы хмѣльные глаза и откинувъ въ подушку темное, поблѣднѣвшее, давно не бритое лицо съ большими сѣдѣющими усами. Ставни въ этой комнатѣ были по его желанію закрыты почти все лѣто, — теперь ихъ открывали. На комодѣ возлѣ кровати желто горѣла свѣча. Склонивъ къ плечу голову, съ бьющимся сердцемъ, Бестужевъ жадно всматривался въ то странное, уже холодѣвшее, что тонуло въ постели.

Ставни раскрывались одна за другою. Въ окна, сквозь темныя вѣтви стараго хвойнаго палисадника, глянулъ далекій закатъ, оранжево догоравшій въ тучкахъ. Бестужевъ, отойдя отъ умершаго, распахнулъ одно изъ этихъ оконъ. Въ комнату, въ застоявшійся, сложный запахъ лекарствъ, ощутительно потянуло чистымъ воздухомъ. Вошла заплаканная Наташа и стала выносить все то, что князь, съ недѣлю тому назадъ, внезапно охваченный какой-то тревожной жадностью, приказалъ перетаскать къ нему и разложить передъ его глазами на столахъ и креслахъ: истертое казацкое сѣдло, уздечки, мѣдный охотничій рогъ, собачьи смычки, патронташъ. Уже не стѣсняясь стучать, звенѣть удилами и стремя о стремя, она дѣлала дѣло съ твердымъ и строгимъ лицомъ, сильно дунула, проходя мимо комода, на свѣчку. . . . Князь былъ неподвиженъ и неподвижны были его полуприкрытые, какъ бы слегка косившіе глаза. Вечернее сухое тепло, смѣшанное съ свѣжестью отъ рѣки, наполняло комнату. Солнце потухло, все поблекло. Хвоя палисадника сухо темнѣла

на прозрачномъ, сверху зеленоватомъ, ниже шафранномъ морѣ далекаго запада. Щебетала за окномъ какая-то птичка, и щебетъ ея казался очень рѣзокъ.

— Чего жалѣть, — серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящикъ комода, вынимая оттуда чистое бѣлье, простыни и наволочку на подушку. — Умерли смирно, всѣмъ такъ дай Богъ. — А жалѣть ихъ некому, никого послѣ себя не оставили, — прибавила она и опять вышла.

Бестужевъ, — присѣвъ на подоконникъ, все глядѣлъ въ темный уголъ, на постель, гдѣ лежалъ умершій. Онъ все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться. Но ужаса не было. Было только ощущение удивленности, невозможности осмыслить, охватить происшедшее. . . Неужели все разрѣшилось, и теперь можно говорить въ этой спальнѣ такъ свободно, какъ говорить Наташа? Впрочемъ, подумалъ Бестужевъ, она говорила о князѣ съ той же свободой, — какъ о человѣкѣ, уже вышедшемъ изъ круга живыхъ, — и раньше, весь послѣдній мѣсяцъ.

Со двора, изъ сумрака слабо и необыкновенно пріятно пахло дымомъ. Это успокаивало, говорило о землѣ, о продолжающейся, простой человѣческой жизни. Въ стемнѣвшихъ лугахъ, на рѣкѣ, ровно шумѣла водяная мельница. . . Недѣлю тому назадъ князь сидѣлъ возлѣ ея воротъ, на старомъ жерновѣ, — въ шапкѣ, въ лисьей поддевкѣ, худой и темноликій, согнувшись и упершись руками въ сѣрый ноздреватый камень. Старикъ, который привезъ смолоть нѣсколько мѣръ новины, щурясь, исподлобья посмотрѣлъ на него, развертывая веретье. — „А ужъ и худъ ты! — холодно и пренебрежительно сказалъ онъ князю, хотя прежде всегда говорилъ съ нимъ почтительно. — Прямо никуда! Нѣтъ теперь тебѣ житья немного. . . Тебѣ лѣтъ семьдесятъ будетъ?“ — „Пятьдесятъ первый, — сказалъ князь. — Да что ты, не знаешь меня развѣ?“ — „Пятьдесятъ первый! — насмѣшливо сказалъ старикъ, возясь съ веретьемъ. — Не

можетъ того быть, — твердо сказалъ онъ, — ты на много старше меня“. — „Вотъ дуракъ, — усмѣхнувшись, сказалъ князь, — да вѣдь мы росли вмѣстѣ“. — „Ну, росли, не росли, а житья тебѣ теперь немного“, — сказалъ старикъ, натуживаясь, и, приподнявъ и прижимая къ груди тяжелую, полную рожью мѣру, поспѣшно, присѣдая, пошелъ въ шумящую, бѣлую отъ муки мельницу. . .

— Теперь уходите, барчукъ, — безстрастно, но значительно сказала Наташа, входя съ ведромъ горячей воды.

И отъ этого ведра, отъ этихъ словъ Бестужеву вдругъ стало страшно. Онъ поднялся съ подоконника и, не глядя на Наташу, вышелъ черезъ прихожую, прилегавшую къ комнатѣ покойнаго, на черное крыльцо. Въ сумракѣ возлѣ крыльца мыли руки прѣхавшія съ деревни старухи, Евгенія и Агафья; одна лила изъ кувшина, другая, согнувшись, захвативъ въ колѣни подолъ темнаго платья, крѣпко отжимала, встряхивала пальцы. Это было еще страшнѣе. Бестужевъ быстрыми шагами прошелъ мимо нихъ въ сухой, уже порѣдѣвшій къ осени садъ, таинственно освѣщенный по низамъ только что показавшимся среди дальнихъ стволовъ круглымъ, огромнымъ, зеркальнымъ мѣсяцемъ.

II.

Въ девятомъ часу въ комнатѣ, гдѣ умеръ князь, все пришло въ порядокъ, было прибрано, тепло пахло вымытыми полами. На столахъ, поставленныхъ наискось въ передній уголъ, подъ старинные образа, возлѣ окна, верхнее стекло котораго серебрилось отъ мѣсячнаго свѣта, возвышалось подъ простыней тѣло, казавшееся очень большимъ. Три толстыхъ свѣчи въ церковныхъ высокихъ подсвѣчникахъ горѣли въ головахъ его прозрачно, дрожали хрустальнымъ чадомъ. Тишка, сынъ церковнаго сторожа Семена, умытый, причесанный, въ новой поддевкѣ, жа-

лостно и поспѣшно читалъ псалтырь. — „Хвалите Господа съ небесъ, — читалъ онъ, подражая черничкамъ: — хвалите Его всѣ Ангелы Его, хвалите Его всѣ воинства Его“... Темно и чадно дрожали на свѣчахъ прозрачныя копыя пламени, золотыя, съ яркосинимъ основаніемъ.

Въ домѣ огонь былъ только въ лакейской. Тамъ, подѣ окномъ, стоялъ столъ, на столѣ кипѣлъ самоваръ. Блѣдная и серьезная, въ черномъ платочкѣ, Наташа, Евгенія, похожая на смерть, и печально-скромная Агафья, плотникъ Григорій, уже начавшій въ сараѣ дѣлать гробъ, и церковный сторожъ Семень, старикъ съ тусклыми свинцовыми глазами, испорченными постояннымъ чтеніемъ при дрожащемъ свѣтѣ по покойникамъ, пили чай. Семень, который долженъ былъ смѣнить сына, принесъ съ собой собственную книгу, въ грубой, какъ бы деревянной кожѣ бураго цвѣта, закапанную воскомъ, съ обожженными кое-гдѣ углами страницъ.

— А какъ ни плохо живешь, все будетъ трудно съ бѣлымъ свѣтомъ разставаться, — печально говорила Агафья, наливая изъ чашки въ блюдечко.

— Извѣстно, трудно, — сказалъ Григорій. — Кабы зналъ, и жилъ бы не такъ, все бы имущество истребилъ. А то боимся имѣнье свое распустить, все думаешь, подѣ старость дѣться будетъ некуда... а глядишь, и до старости не дожилъ!

— Наша жизнь какъ волна бѣжитъ, — сказалъ Семень. — Смерть, ее, сказано, надо встрѣчать съ радостью и трепетомъ.

— Исходъ, а не смерть, родной — сухо и наставительно поправила Евгенія.

— Съ трепетомъ, не съ трепетомъ, а умирать никому не хочется, — сказалъ Григорій. — Всякая козьявка, и та смерти боится. Тоже, значить, и у нихъ души есть.

— Не души, батюшка, а дуси, — еще наставительнѣе сказала Евгенія.

Кончивъ послѣднюю чашку, Семень мотнулъ головой, откидывая со лба вспотѣвшіе темносѣрые волосы, всталъ, перекрестился, захватилъ псалтирь и на ципочкахъ пошелъ черезъ темный залъ, черезъ темную гостиную къ покойнику.

— Ступай, ступай, дорогой, — сказала ему вслѣдъ Евгенія. — Да поприлежнѣй читай. Когда кто хорошо читаетъ, грѣхи съ грѣшника, какъ листья съ сухого дерева валятся.

Смѣняя Тишку, Семень надѣлъ очки и, строго глядя черезъ нихъ, мягко обобралъ пальцами воскъ съ оплывшихъ свѣчей, потомъ медленно перекрестился, развернулъ на аналоѣ свою книгу и сталъ читать негромко, съ ласковой и грустной убѣдительностью, только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ предостерегающе повышая голосъ.

Дверь въ прихожую возлѣ чернаго крыльца была открыта. Читая, Семень слышалъ, какъ на крыльцѣ кто-то затопалъ ногами: пришли поглядѣть на покойника двѣ дѣвки, обѣ наряженныя, въ новыхъ крѣпкихъ башмакахъ. Онѣ вступили въ комнату робко и радостно, шопотомъ переговариваясь. Крестясь и стараясь ступать нетвердо, одна изъ нихъ, вздрагивая грудями подъ новой розовой кофточкой, подошла къ столу, отвернула простыню съ лица князя. Блескъ свѣчей упалъ на кофточку, испуганное лицо дѣвки стало въ этомъ блескѣ блѣдно и красиво, а мертвое лицо князя засіяло, какъ костяное. Большіе сѣдѣющіе усы, разросшіеся за болѣзнь, уже сквозили, въ глазахъ, не совсѣмъ закрытыхъ, темнѣла какая-то жидкость. . .

Тишка жадно курилъ въ сѣняхъ, поджидая выхода дѣвокъ. Онѣ проскользнули мимо него, дѣлая видъ, что не замѣчаютъ его. Одна сбѣжала съ крыльца, другую, въ розовой кофточкѣ, онъ успѣлъ поймать. Она рванулась, зашептала:

— Ай, ты угорѣлъ? Пусти! А то отцу скажу. . .

Тишка выпустилъ ее. Она побѣжала къ саду. Мѣсяцъ, уже небольшой, бѣлый, ясный, высоко стоялъ надъ темнымъ садомъ, и золотисто блестяло въ его свѣтѣ сухое желѣзо на крышѣ бани. Въ тѣни отъ сада дѣвка обернулась и, взглянувъ на небо, сказала:

— Ночь-то какая, — батюшки!

И очаровательно, съ радостной нѣжностью, прозвучалъ въ ночномъ тихомъ воздухѣ ея счастливый голосъ.

III.

Бестужевъ ходилъ изъ конца въ конецъ по двору. Со двора, пустого, широкаго, освѣщеннаго мѣсяцемъ, онъ глядѣлъ на огоньки въ деревнѣ за рѣкою, на свѣтлыя окна людской, гдѣ слышались голоса ужинающихъ. Въ сараѣ были раскрыты ворота, горѣлъ разбитый фонарь, поставленный на козлы тарантаса. Григорій, наклонившись и оставивъ одну ногу, шмыгалъ фуганкомъ по тесинѣ, заправленной въ старый верстакъ князя. Отъ его движеній огонь въ фонарѣ дрожалъ, дрожали тѣни въ сумрачномъ сараѣ. . . . Когда Бестужевъ на минуту пріостановился у воротъ сарая, Григорій поднялъ возбужденное лицо и весело, съ отѣнкомъ ласковой гордости, сказалъ, кивая на стоявшій возлѣ его ногъ длинный бѣлый ящикъ:

— Крышку ужъ додѣлываю. . .

Потомъ Бестужевъ постоялъ, облокотясь на раскрытое окно людской. Кухарка собирала со стола, надъ которымъ висѣла лампочка, остатки ужина, стирала съ него ветошкой. Пастухи, подростки, укладывались спать: Митька, разутый, молился, стоя на нарахъ, устланныхъ свѣжей соломой, Ванька—среди избы. Рыжий лохматый печникъ, широкоплечій и очень маленький ростомъ, въ черной рубахѣ съ крапинками известки на ней, пришедшій съ деревни изъ-за рѣки, чтобы начать завтра поправлять стѣны внутри обвалившагося княжескаго склепа, вертѣлъ, сидя на лавкѣ, сигарку.

Анюта тупо, восторженно и косноязычно говорила съ печки:

— Вотъ и померъ ваше сіятельство, въ голова ничего не положилъ. . . Такъ и не далъ мнѣ ничего. . . Нѣту да нѣту, погоди да погоди. . . Вотъ теперъ и годи. . . Вотъ и годи. . . Годи теперъ! Погодилъ, милый? Въ голова себѣ много положилъ? Понялъ теперъ, что у тебя въ головахъ, глупый? А что бы такъ-то дать рублика два, прикрыть мое тѣло! Я убогая, урода. Никого у меня нѣту. Ишь грудь-то!

И она распахнула кофту и показала голую грудь:

— Голая вся. Такъ-то, глупый! А я тебя въ старые годы любила, я объ тебѣ скучала, ты красивый былъ, веселый, ласковый, чистая барышня! Ты всю свою молодость объ своей Людмилочкѣ убивался, а она тебя, глупый, только терзала-мучила да съ другимъ подъ вѣнецъ стала. Ты изъ-за ней весь свой вѣкъ сгубилъ, пьяницей сталъ, а я одна тебя вѣрно любила, про то только моя думка знала! Я убогая, урода, а душа-то у меня, можетъ, ангельская-архангельская, я одна тебя любила, одна сижую, радуюсь о твоей кончинѣ смертной . . .

И она радостно и дико засмѣялась и заплакала.

— Пойдемъ, Анюта, псалтырь читать, — громко сказалъ печникъ тѣмъ тономъ, какимъ говорятъ съ дѣтьми кому-нибудь на потѣху. — Пойдешь, не боишься?

— Дуракъ! Кабы ноги были цѣлы и пошла бы, ай плохо? — крикнула Анюта сквозь слезы. — Ихъ грѣхъ, покойниковъ-то, бояться. Они святыя, пречистыя.

— Я и не боюсь, — развязно сказалъ печникъ, закуривая сигарку, загорѣвшуюся зеленымъ огнемъ. — Я съ тобой хоть на цѣльную ночь въ фамильный склепъ ляжу.

Анюта, не слушая его, восторженно рыдала, утираясь кофгой.

Не нарушая свѣтлаго и прекраснаго царства ночи, а только дѣлая его еще болѣе прекраснымъ, пали на дворъ легкія тѣни отъ шедшихъ на мѣсяцъ бѣлыхъ тучекъ, и мѣсяцъ, сіяя, катился на нихъ въ глубинѣ чистаго неба, надъ блестящей крышей темнаго стараго дома, гдѣ свѣтилось только одно крайнее окно — у изголовья почившаго князя.

Ив. Бунинъ.

Переводъ и постановка заграни-
цей безъ согласія автора запрещены.

Женщины.

Дѣйствующія лица.

Писатель.

Женщина.

Неизвѣстный.

*Кабинетъ писателя. Ночь. Темнота. Слышится
вдали стукъ двери: въ дальнихъ комнатахъ вошли.
Шаги и разговоръ все ближе. Вошли въ кабинетъ.*

Женщина. Милый, я прошу тебя. Не зажигай
огня!

Писатель. Значить, такъ и будемъ сидѣть въ
темнотѣ.

Ж. Не зажигай, прошу тебя.

(Вспыхиваетъ люстра)

П. Здравствуйте.

Ж. *(закрыла лицо руками)*

*Писатель подходитъ къ ней и бережнымъ дви-
женіемъ хочетъ отнять руки отъ ея лица. Жен-
щина сопротивляется. Короткая, милая борьба. На-
конецъ, руки отняты: смущенное лицо.*

П. *(вопросительно)* Здравствуйте же!

Ж. *(молчитъ)*

П. Вы не желаете отвѣчать? Да?

Ж. *(молчитъ)*

П. Вы сердиты? (*пауза*) У, какое сердитое у насъ лицо. Какіе сердитые глаза. Въ нихъ ничего не осталось отъ любви. А было такъ много. Теперь ничего. Ни слѣдочка. Они опущены. И по нимъ, какъ по синему небу, плывутъ тучки. Какія нехорошія, темныя тучки. А! Тучки прорвались. Капнула слезинка. Ты плачешь? Да? Ты испугалась? Ты раскаиваешься, что поѣхала ко мнѣ? Слышишь? Ты раскаиваешься? Что же ты молчишь? Не любишь? Разлюбила? (*нѣжно-шутливо*) Любовь завяла на морозѣ.

Ж. (*улыбнулась*)

П. А-а. Мы улыбнулись. Сквозь тучи опять сверкнула синяя полоска. Ну, будетъ. Ну, утри глазки. Зачѣмъ слезы теперь, сегодня, въ эту ночь. Ты любишь меня, да?

Ж. (*молча киваетъ головой*)

П. (*обнимая*) Милая ты моя. Дорогая. Дорогая! Да?

Ж. (*молча киваетъ головой*)

П. И уже больше никакихъ сомнѣній нѣтъ?

Ж. Никакихъ. Да.

П. (*ревниво*) А передъ отъѣздомъ изъ ресторана ты, однако, вспомнила о мужѣ . . .

Ж. Это — плохо?

П. (*съ легкимъ, ревнивымъ упрекомъ*) Вспомнила?

Ж. Да. Вспомнила. Это плохо?

П. (*осторожно*) Ты, можетъ быть, любишь его?

Ж. Я люблю только тебя.

П. Милая.

Ж. Зачѣмъ ты зажегъ свѣтъ? Я, вѣдь, такъ просила тебя.

П. Не сердись . . . Ну, не сердись . . . Не будешь? Не будешь? Пойми: мнѣ сегодня такъ хочется свѣта. Пойми. Не могу я сегодня сидѣть въ темнотѣ. Не могу. Мнѣ хочется кричать, шумѣть, свистѣть, прыгать. Вѣдь пойми же: какой успѣхъ. Какой успѣхъ имѣла моя пьеса.

Ж. Да, пьеса имѣла огромный успѣхъ.

П. Ко мнѣ за кулисы приходили пріатели и по ихъ лицамъ, по ихъ змѣинымъ улыбкамъ, по ихъ шипящимъ поздравленіямъ я видѣлъ, какой пьеса имѣла успѣхъ.

Ж. Да, пьеса имѣла огромный успѣхъ. Ты — счастливый писатель.

П. Постой, постой . . . Что-то ты не такъ говоришь. У тебя какой-то подозрительный тонъ. Можетъ быть, мнѣ такъ показалось за кулисами. Ты была въ залѣ, среди публики, тебѣ яснѣе видно. Мнѣ казалось, что послѣ третьяго акта гдѣ-то, такъ въ ряду седьмомъ, шикали.

Ж. На это не стоитъ обращать вниманія. Ты же самъ говорилъ, что были твои пріатели . . . А пріатели всегда такъ: за кулисами поздравляютъ, а въ залѣ шикаютъ. Я боюсь не этого.

П. А чего.

Ж. *(молчитъ)*

П. *(нетерпѣливо)* Чего. Договаривай-же.

Ж. Ты только дай слово, что не будешь сердиться.

П. Господи Боже. Ты кажется, готова считать меня за идиота.

Ж. *(закрывая ему ротъ)* Ну, ну, ну, ну . . . Такъ вотъ . . . Въ антрактѣ, въ фойѣ, я нечаянно, — понимаешь, нечаянно, помимо своей воли, помимо желанія, прислушалась къ тому, что говорили эти, — ну, — какъ они тамъ у васъ называются? — критики.

П. *(вскочилъ съ мѣста, заходилъ по комнатѣ)* О, Господи! Есть чего смущаться! Я тебѣ заранѣе скажу, по пальцамъ высчитаю, что въ какой газетѣ будетъ напечатано. Къ счастью, публика давно уже раскусила ихъ. Критика всегда ругаетъ. *(Увлекся, ходитъ по комнатѣ, думаетъ вслухъ)* Ну, подумай. Истинный критикъ это — неудавшійся художникъ прежде всего. Критикъ похожъ на женщину, неспособную къ дѣторожденію, — понимаешь. Женщина можетъ быть прекрасною, она можетъ быть дивно сложена, у нея формы Венеры Милосской, самъ Богъ ее, кажется,

благословилъ, а вотъ зачать и понести ребенка она не можетъ. И такая женщина въ глубинѣ души своей не можетъ не завидывать другой женщинѣ — матери. Понимаешь? Ева, но съ апельсиномъ. Такъ и критикъ. Это, можетъ быть, и Ева, но не съ яблокомъ, а съ апельсиномъ, и подчасъ, можетъ быть, очень кислымъ. И потомъ . . . Я понимаю искусство критика, но (*подчеркивая*) искусство, понимаешь. Я признаю критику искусствомъ, но только тогда когда она написана съ тѣмъ-же, обязательно, мастерствомъ, съ какимъ написано самое художественное произведение.

Ж. (*задумчиво*) Женщина, неспособная зачать и понести . . .

П. (*ходитъ по кабинету, быстро*) Да.

Ж. Это, значить, я . . .

П. Можетъ быть, и ты . . .

Ж. Ева съ апельсиномъ . . .

П. (*думая о своемъ*) А вотъ ты — критикъ, самый вѣрный, самый точный. И вотъ ты скажи мнѣ: какова же моя пьеса?

Ж. Твоя пьеса — прекрасна. Если бы она не была прекрасной, развѣ я пришла бы сюда, къ тебѣ. У меня есть мужъ, есть домъ. Зачѣмъ же я здѣсь? Ты подумай. Вѣдь всему тому, что тамъ, по ту сторону, значить конецъ!

П. Конецъ.

Ж. Знаешь. Около меня сидѣла дама, которая просто кричала: „ахъ, какъ мнѣ хочется видѣть автора. Какъ мнѣ хочется видѣть автора“. Она такъ апплодировала тебѣ, что у нея лопнули перчатки.

П. (*разстѣянно*) Красивая?

Ж. Кто красивая?

П. А эта дама . . . у которой лопнули перчатки.

(*Малая пауза*)

Ж. А тебѣ что? Не все равно.

П. Я просто такъ . . .

Ж. (*ревниво*) Такъ . . . Ты все такъ . . .

П. Ноты ревности.

Ж. Нѣтъ, не ноты ревности, а неприятно какъ-то . . . Не все ли равно тебѣ: красивая или некрасивая?

П. (*шутливо дразня*) Такъ ты говоришь: у нея лопнули перчатки.

Ж. (*сердясь, отрывисто*) Лопнули. Да.

(Пауза)

П. (*какъ ни въ чемъ ни бывало*) Понимаешь. Удивительная вещь. Второй актъ не имѣлъ того успѣха, на который я рассчитывалъ. А вотъ третій — это да. Это, можно сказать, такая штуkenцiя, такая неожиданность . . . Ты знаешь. Я уже думалъ, что пьеса провалилась . . . А когда начался успѣхъ, то странная вещь . . . Мнѣ онъ не былъ уже дорогъ. Я думалъ: неужели она и сегодня не пойдетъ ко мнѣ. Неужели она и сегодня уйдетъ къ своему мужу. И тогда мнѣ было все равно: пусть провалится и пьеса, и успѣхъ, и актеры, и весь этотъ раззолоченный театръ...

Ж. Милый мой.

П. А потомъ этотъ ужинъ. . . Онъ казался мнѣ безконечнымъ. Вино, цвѣты, поздравленiя. . . Сегодня я почувалъ свою силу впервые. . . А въ душѣ, когда поднимали бокалы за меня, за мою будущую пьесу, я молилъ: „Господи, пошли мнѣ одну только награду!“ И я спросилъ тебя глазомн: „ты — моя. Послѣ столькихъ страданiй — ты — моя?“ Ты поняла мой вопросъ.

Ж. Поняла.

П. Поняла, но ничего не отвѣтила, однако. . .

Ж. Если бы ты видѣлъ мою душу. . .

П. И только тогда, когда мы сѣли въ автомобиль, и когда я сказалъ шофферу мой адресъ, и ты не сдѣлала ни одного жеста сопротивленiя, — о! вотъ тогда пришло счастье. Пусть на томъ свѣтѣ будетъ адъ, пусть на этомъ свѣтѣ я околѣю гдѣнибудь подъ

заборомъ, но это было счастье, это была такая огромная вспышка счастья, которой хватить на тысячу человѣческихъ жизней. . . Понимаешь? Сейчасъ (*смотритъ на часы*) газетные писаки, сонные, злые, завистливые, окончили свои статьи обо мнѣ, о моей пьесѣ, сейчасъ рукописи перейдутъ къ наборщикамъ, — будутъ одно за другимъ нанизываться злыя, несправедливыя слова, а я буду съ тобой, буду тебя цѣловать и любить, долгожданную. . .

Ж. (*цѣлуя его*) Я люблю тебя. . .

П. Ты любишь меня. . . Ты у меня. . . Вѣдь нужно вслушаться въ ритмъ этихъ словъ: „ты у меня“. Сейчасъ я въ первый разъ увижу тебя, милую, любимую, ослѣпительную. . . И завтра я проснусь и около меня опять будешь ты. . . И ужъ черта два я отдамъ тебя комунибудь.

Ж. А ты не боишься дуэли?

П. Мой другъ. Я въ туза попадаю на 20 шаговъ. И твоего орла я подстрѣлю, какъ куропатку. А да чертъ съ нимъ. Стоить ли теперь вспоминать о немъ.

(*Звонокъ вдали.*)

Ж. Кто это?

П. Должно быть, прислуга. Я отпустилъ ихъ на всю ночь и вотъ, должно быть, ктонибудь пришелъ до срока. Очень извиняюсь. Одну минуточку — разрѣшаешь.

Ж. (*молча киваетъ головой.*)

П. уходитъ. Женщина оставшись одна; и, словно въ первый разъ, осматриваетъ кабинетъ, карточки на столъ.

Черезъ нѣкоторое время — тамъ, въ дальнихъ комнатахъ, какой то напряженный разговоръ, шаги. . . Она тревожно прислушивается къ голосамъ.

Входитъ человекъ, неважно одѣтый, въ осеннемъ пальто съ поднятымъ воротникомъ. Въ рукахъ — револьверъ и шляпа. За нимъ, внутренне досадуя и злясь, идетъ писатель.

Женщина въ изумленіи встаетъ.

Неизвѣстный (*нервно, возбужденно*) Ага. Такъ я и думалъ. . . Пріятель мой въ должной мѣрѣ использовалъ свой успѣхъ. . . Я готовъ принести Вамъ сто тысячъ самыхъ изысканныхъ извиненій. . . Я Вамъ плохого ни на одну іоту не сдѣлаю. Извиняюсь еще разъ. Долженъ сознаться, что я ворвался нахаломъ въ эту квартиру. Тамъ, у парадной двери, хозяинъ протестовалъ достодожнымъ способомъ, онъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что у него женщина, нѣсколько разъ выругалъ меня, называлъ вещи ихъ собственными именами, но видите (*показываетъ револьверъ*), грубая сила. . . Развѣ противъ этой штуки пойдешь? Позвольте на Васъ посмотрѣть хорошенько. . . Ага. Прекрасно. Вы — восхитительны, какъ Венера, выходящая изъ пѣны морской, нѣтъ, — какъ Венера, вышедшая изъ пѣны морской. Это дѣлаетъ честь моему другу или лучше сказать: моему бывшему другу. Неправда ли? А?

Писатель хочетъ подойти къ столу, чтобы вынуть изъ ящика револьверъ, но Незвѣстный загроживаетъ ему дорогу.

Н. Ни, ни, ни, . . .

П. Но позвольте. . . Если вы ворвались въ чужой домъ, ворвались ночью, какъ бандитъ, то будьте хоть приличны. . .

Н. О, не безпокойтесь. Я буду приличенъ, какъ придворный Людовика Четырнадцатаго. Я превзойду его въ изысканныхъ выраженіяхъ и словахъ, но къ столу вы сейчасъ не подойдете. Ибо здѣсь, въ какомъ-нибудь изъ этихъ очаровательныхъ ящичковъ, спрятана тоже какая-нибудь трогательная штука въ родѣ этой (*показываетъ на револьверъ*), а это совсѣмъ не входитъ въ мои планы. Вы будете спокойненько сидѣть вотъ тамъ, на Вашемъ великолѣпномъ диванѣ, а я буду у стола, у того самого стола, на которомъ, — вѣдь вѣроятно на немъ, — написана ваша

восхитительная пьеса. Что мудренаго! Можетъ быть, когда нибудь, когда ваше имя будетъ украшать исторію русской литературы, этотъ столъ будетъ стоять въ какомъ-нибудь музеѣ, подъ стекляннымъ колпакомъ; и я уже сейчасъ горжусь, что могу презрѣнной рукой погладить вотъ это зеленое сукно, потрогать пальцемъ вотъ эту чернильницу, въ которой заключается еще столько ненаписанныхъ вашихъ вещей. Сейчасъ это еще можно сдѣлать и надо пользоваться случаемъ, ибо тогда, въ музеѣ, вотъ на этомъ мѣстѣ, будетъ укрѣпленъ плакатъ: „Просить руками вещей не трогать“. *(Внезапно)*. Да, вы — восхитительная милая незнакомка. . . Я дрожу немного. Увѣряю васъ: это отъ холода. Сегодня — собачкинъ холодъ, какъ говаривалъ одинъ нѣмецъ. Это потому, что я долго ждалъ. Тамъ, на улицѣ, у ресторана, въ которомъ задавалъ пиръ сегодняшній триумфаторъ, сегодняшній властитель думъ. Потомъ вы сѣли въ автомобиль, а я побѣжалъ за вами и, конечно, своими слабыми ногами не могъ опередить вашего блестящаго экипажа. Итакъ, нашъ уважаемый и высокочтимый, я былъ сегодня на вашей пьесѣ, — вы, вѣроятно, и не чувствовали, что гдѣ-то наверху, въ четвертомъ ярусѣ, на первой скамьѣ, сидитъ одинъ изъ внимательнѣйшихъ зрителей. Вотъ билетъ. *(Достаетъ билетъ)* Видите? Четвертый ярусъ, первая скамья, мѣсто № 8. Да. И скажу больше. Ваша пьеса мнѣ понравилась, да нѣтъ, что за слово „понравилась“! Ваша пьеса захватила меня. Я съ волненіемъ, съ замираніемъ сердца слѣдилъ за всѣми вашими образами, за компановкой сценъ, когда вы легко, съ такимъ изумительнымъ искусствомъ, по своей волѣ, — по волѣ творца, — капризно сжимали, прямо скажу грубо, въ кулакъ сжимали душу зрительнаго зала, — эту нечистую, но чуткую и трепещущую соборную душу идіотовъ, кокотокъ, добродѣтельныхъ мужей, банкировъ, сѣдовласыхъ старцевъ, шпионовъ, адвокатовъ, любовниковъ, старыхъ вѣдьмъ и рецензентовъ. *(Къ женщинѣ)* Вы боитесь? Я размахиваю

револьверомъ. О, будьте покойны. Я не воръ. Не грабитель. Вашъ другъ это отлично знаетъ. (*Къ писателю*) Правда? Я не воръ? Не грабитель? Ну такъ успокойте эту женщину! Я пришелъ только поговорить съ нимъ, — такъ, продолжить, знаете ли, одну старинную, давнишнюю и еще не оконченную бесѣду. . . И случайно, совершенно, такъ сказать, неожиданно, встрѣтилъ васъ, прекрасная дама. (*Писателю*) Вы меня, надѣюсь, узнаете?

П. (*сухо*) Узнаю. Да.

Н. Можетъ быть, вы думаете, что я — привидѣніе, химера, безплотное существо, вашъ сонъ? Конечно, способъ, которымъ я проникъ въ вашу квартиру, не особенно корректенъ, но мнѣ такъ нужно поговорить съ вами, такъ нужно, что было, конечно, не до оцѣнки способовъ.

П. Все таки, знаете же. . .

Н. Ахъ, милый мой. . . стоитъ ли поднимать намъ разговоръ о такихъ пустякахъ въ наше время, когда и такъ далѣе. Право же, это такіе пустяки. Мы сейчасъ начнемъ. Надо только устроиться. Во первыхъ, головной уборъ — сюда. Во вторыхъ — пушку, сюда. Въ третьихъ — закурить. (*Закуриваетъ*) Вамъ не предлагаю. 10 штукъ — 7 копѣекъ. Можетъ быть — вамъ подать ваши папиросы.

П. Милости прошу.

Н. Вотъ-съ извольте. (*подаетъ ему коробку съ папиросами и спиной отходитъ опять къ столу.*) И такъ я былъ въ восторгѣ отъ вашей пьесы и послѣ третьяго акта вмѣстѣ со всѣми хлопалъ въ ладоши и кричалъ: автора, автора!!! Съ тремя восклицательными знаками! Сударыня. Прекрасная дама. А! Что значить талантъ? Я, я, понимаете — я кричалъ и рукоплескалъ, кому же? Ему. Вотъ этому человѣку. Я кричалъ ему: „Осанна. Благословенъ грядый.“ И вотъ теперь. . . (*на секунду задумывается*). И вотъ теперь я пробрался сюда. Ты, конечно, знаешь, зачѣмъ? А? (*пауза*) Помнишь? Молчишь? Я, братъ, далъ клятву. Тебѣ это извѣстно.

П. Не называйте меня братомъ, пожалуйста.

Н. Т-с-съ. Маркизь обиженъ. Извиняюсь, извиняюсь. Милонъ извиненій. (*Съ грузинскимъ акцентомъ*) Ошибкамъ давалъ. Но, милый, ошибка прошлаго. . .

П. (*перебивая*) И милымъ не называйте. И вообще не ломайтесь.

Н. Т-с-съ. Принято. И милымъ называть не буду. Но ломаться буду. Ломаться я сегодня буду. Всласть поломаюсь. Не все же тебѣ, не братъ мой и не милый мой, ломаться надо мною. Я, сударыня, затрудняюсь, какъ мнѣ называть его. Назвать его „милостивый государь“ нельзя, потому что онъ, можетъ быть, и государь, и король, и повелитель жизни, но не милостивый, ахъ, какой немилостивый. Но что онъ государь, такъ это вѣрно. Государь. Король. Повелитель. Красивъ, молодъ, талантливъ, здоровъ. Будетъ скоро и богатъ. (*Подчеркнуто-таинственно*) То-есть я хочу поправиться: былъ бы скоро богатъ. (*прежнимъ тономъ*) И какой успѣхъ у женщинъ. Около меня въ амфитеатрѣ сидѣла женщина, молодая, прекрасная, и, когда онъ выходилъ на вызовы, — не спускала съ него бинокля и глядѣла восхищенно, восторженно. . . О, этотъ женскій взглядъ я знаю хорошо. Слишкомъ хорошо. Нѣтъ. Ты — воистину государь. Ты — Величество. И я смиряюсь передъ тобой. Я кланяюсь тебѣ. Ты отвернулся, когда я тебя назвалъ братомъ, но прими же поклонъ раба своего. Не побрезгуй.

П. Ваше комедіанство противно. Какъ не стыдно!

Н. Ахъ нѣтъ, немилостивый, безжалостный государь мой, не стыдно, не стыдно. Эта женщина широкими, испуганными глазами смотритъ на меня и думаетъ, — мучительно, напряженно. Какія мысли несутся въ твоей головѣ, прекрасная, милая женщина. Милая, милая. Какъ близка ты мнѣ. Волосы твои — шелковые. Прядями прекрасными оии спустились на лобъ твой. Глаза твои — изумленные, огромные. Смотрягъ они на меня и думаютъ, и думы твои — какъ вереница вечернихъ тучъ. Боже мой! Какъ я говорю и

что я говорю?! Несчастья дѣлаютъ людей романтиками. И, право, вотъ сейчасъ мнѣ вспоминаются старинные театры, старинныя пьесы. По крайней мѣрѣ такъ, вѣроятно, играли старые актеры. Но опять скажу: ты, милая женщина, больна моею душѣ. Больна. И говорю я тебѣ: уходи, уходи отсюда, иди къ своему мужу, къ своимъ дѣтямъ, если они у тебя есть. . . Уходи, милая! Вѣдь что ты для него, для этого немилостиваго и немилосерднаго государя? Капризь, игрушка, ну на два, отъ силы на три мѣсяца. Завтра, правда, онъ проснется и будетъ читать въ твоихъ объятіяхъ отзывы о своей пьесѣ, а въ будущемъ году другіе отзывы о другой его пьесѣ онъ будетъ читать уже съ другой женщиной. Берегись! Другая пьеса имъ уже задумана. О ней уже писали репортеры. Оберегая свое счастье, слѣди за репортерами. И, самое главное, что той, другой, онъ скажетъ всѣ тѣ же самыя слова, какія говорилъ сегодня тебѣ. Увѣряю тебя. Уходи, милая.

Ж. Слушайте. Я даже не знаю, какъ сказать. . . какъ назвать. . .

Н. *(вздохнувъ)* Ну, ладно. Дѣловые разговоры до шести часовъ вечера. Такъ пишутъ американцы. А теперь, вѣроятно, скоро утро. „Блѣднѣетъ ночь передъ зарею новой“. . . . Итакъ, конечно, дѣло — не въ разговорахъ. Ну-съ, многоуважаемый. Ближе къ дѣлу! Неправда ли? Подведемъ итоги. *(Проводя по воздуху черту, какъ въ счетъ)* Итого, такъ сказать. Забрано на столько-то, получено столько-то, остается дополучить столько-то. Итакъ, когда-то вы отняли у меня жену, вотъ такъ же, какъ отнимаете у кого-то эту женщину. Вы помните? Былъ осенній, октябрьскій вечеръ, когда она въ первый разъ пошла къ вамъ, въ вашу меблированную комнату на Загородномъ проспектѣ. Я понималъ, что дѣлалось въ ея душѣ. Молча, въ послѣдній разъ, осмотрѣла комнату, меня, мысленно перекрестилась, надѣла пальто, взяла какой то мѣхъ и пошла къ вамъ. Я бѣжалъ за ней въ двухъ шагахъ, она меня не замѣчала. Подъ дождемъ, подъ

отвратительнымъ липкимъ дождемъ, я стоялъ на тротуарѣ, противъ вашего дома, и видѣлъ, какъ двигались огни на вашей бѣлой шторѣ, какъ погасъ свѣтъ, какъ потомъ вы вышли вмѣстѣ и поѣхали. И опять я бѣжалъ за вами, за вашимъ сквернымъ извощикомъ, и видѣлъ, какъ колыхался поднятый верхъ фаэтона. Многое въ жизни я забылъ, а вотъ этого не забылъ и забыть не могу: какъ колыхался кожаный, мокрый верхъ фаэтона. Ну, вотъ. Было у меня двое дѣтей, маленькихъ, двѣ дѣвочки, — не хочу называть ихъ имена. . . И все, все, — ничего теперь нѣтъ. . . Былъ талантъ, небольшой, но мой собственный, и ты отравилъ его, какъ ядомъ можно отравить маленькій ручей. И развѣ свою сегодняшнюю пьесу, за которую ты получилъ сегодня столько рукоплесканій, цвѣтовъ и благодарныхъ слезъ, — ты написалъ не съ меня? Да, мой другъ, ты не ошибся. Все, что сегодня творилъ твой первый актеръ, это когда-то воистину пережилъ я, это — подлинное. Ты не только отнял у меня счастьешко, маленькое мое, нищее счастьешко, — нѣтъ ты и страданья мои, и душу мою, и слезы, — все пустилъ въ оборотъ, все использовалъ и теперь съѣлъ рябчика, выпилъ шампанскаго и ждешь процентовъ. Я теперь — вотъ весь здѣсь, какъ турецкій святой. В дите? Потертое пальто, за храненіе котораго мнѣ уже нечѣмъ было заплатить, ибо всѣ деньги пошли за билетъ въ кассу, первая скамья, № 8. Потертый галстукъ. Ну и вотъ. Ну и вотъ пришелъ я сегодня посчитаться съ тобой, немилостивый государь мой. Ужь позволь мнѣ теперь поцарствовать надъ тобой. Не все же тебѣ одному и власть, и талантъ, и любовь. (*Беретъ револьверъ*)

Ж. Подите вонъ! Слышите!

Н. Ахъ, „подите вонъ“. Отойди отъ него!

Ж. Не отойду.

Н. Отойди, я тебѣ говорю! Стрѣлять буду!

Ж. Не уйду! Убивай и меня!

Н. Ну что же! И тебя убью! Дай минуту сроку.

Въ послѣдній разъ говорю: иди къ мужу, къ дѣтямъ. Я не уйду отсюда и самъ позвоню въ полицію. И будешь ты ни въ чемъ не замѣчена.

Ж. Никуда я не пойду. Слышишь, жалкій ты человекъ. Ну послушайте, умоляю васъ. Будьте человекомъ! Ну не ради его, а ради меня. Господи! Что я говорю? Господи!

Н. Успокойтесь, сударыня. Вамъ я не хочу никакого зла. Уходите.

Ж. Не берите этого грѣха на душу. Я люблю его, я вѣрю вамъ, я понимаю ваше страданіе, но я прошу васъ. . . (*подбѣгаетъ, нѣсколько разъ цѣлуетъ ему руку*).

Длинная пауза.

Н. (*растроганный*) Милая, милая. . . Ну хорошо. Я уйду. Я не убью его. Но съ однимъ условіемъ. . .

Ж. Говорите.

Н. Эготъ револьверъ, — вы видите?

Ж. Да.

Н. Эготъ револьверъ вы возьмете себѣ. И никогда, — слышите, никогда не разстанетесь съ нимъ. Знайте: чтобы выстрѣлить, нужно вотъ эту штучку спустить. Видите?

Ж. Да.

Н. Ну вотъ. Согласны?

Ж. Да.

Н. Вы понимаете мою мысль?

Ж. Понимаю.

Н. И когда онъ обманетъ васъ, ваши руки будутъ крѣпче, чѣмъ мои?!

Ж. (*твердо*) Да.

Н. И вашъ гнѣвъ будетъ ярче, чѣмъ мой?!

Ж. Да.

Н. Берите. (*отдаетъ ей револьверъ*) — (*на полдорогѣ*) Тогда вспомните обо мнѣ.

Уходитъ. Оглянувшись на порогъ на писателя, легонько разсмѣялся.

Молчаніе.

П. (*слегка насмѣшливо*) И такъ, твои руки будутъ крѣпче, чѣмъ его?

Ж. (*Молчитъ*)

Писатель встаетъ и медленно подходитъ къ ней.

П. Твой гнѣвъ будетъ ярче, чѣмъ его?

Ж. (*молчитъ*)

П. (*вплотную подходитъ къ ней*) Ну. Что же ты молчишь? Ты цѣловала ему руки.

Ж. (*цѣлуетъ ему руку крѣпко и долго*) Я люблю тебя.

П. (*иронически улыбаясь, показываетъ на револьверъ*) Ну, а это?

Ж. (*прячетъ револьверъ*) Это останется у меня. Этого я не отдамъ.

Молча смотрятъ другъ на друга.

П. Такъ начинается наша любовь?!

Ж. Да. Такъ начинается наша любовь.

Занавѣсъ.

И. Сургучевъ.

Идея Родины въ совѣтской поэзіи.

Торжество большевиковъ въ Россіи въ 1917 году простекло изъ нѣкотораго неслыханнаго въ міровой исторіи, по своему размаху и стихійности, потрясенія и уничтоженія идеи Отечества. . . Въ русскихъ народныхъ массахъ не оказалось вовсе патріотическаго чувства. Вожди большевизма, разлагая государственность и Армію, сумѣли использовать отсутствіе патріотизма въ народѣ для цѣлей коммунистической революціи. Но захвативъ власть, они овладѣли страной, которая, въ существѣ, была беззащитна передъ иностраннымъ вторженіемъ... Безбрежность ро сійскихъ пространствъ, вмѣстѣ съ рядомъ иныхъ конкретно-историческихъ обстоятельствъ, — оградила совѣтскую Россію 1918 — 20 года отъ чужеземнаго завоеванія. Для большевиковъ, которые готовы жертвовать Россіей ради задачъ міровой Революціи, — та же Россія, вотъ ужъ четвертый годъ, — служитъ пріютомъ и кровомъ. Страна разорена. Но свое коммунистическое обиталище большевики постарались отдѣлать возможными украшениями. Постарались они, между прочимъ, создать и „совѣтскую поэзію“. Многіе русскіе поэты — въ томъ числѣ крупнѣйшіе — стали „совѣтскими“; при этомъ, въ извѣстной степени, они не утратили плодовитости. И нынѣ брошюры, подъ сѣрой обложкой, берлинскаго издательства „Скиѳы“ сдѣлали нѣкоторую часть ихъ произведеній доступными зарубежной русской публикѣ. Тутъ мы находимъ уже давно обошедшіе весь русскій міръ поэмы Александра Блока „Скиѳы“ и „Двѣнадцать“, — сопровождаемая статью Иванова Разумника „Испытаніе въ грозѣ и бурѣ“*); затѣмъ поэмы: Андрея Бѣлаго „Христось Воскресе“

*) Ивановъ Разумникъ Испытаніе въ грозѣ и бурѣ. Александръ Блокъ Скиѳы. Двѣнадцать. Издательство „Скиѳы“. Берлинъ 1920, стр. 67.

и Сергѣя Есенина „Товарищъ“ и „Инонія“ — комментаріи къ которымъ, въ „офиціозномъ“ совѣтскомъ духѣ, даетъ тотъ-же Ивановъ Разумникъ (статья „Россія и Инонія“)*). Кромѣ того, имѣются отдѣльные небольшіе сборники стиховъ: „Пѣснь Солнценосца“ Н. Клюева**) и „Триптихъ“ С. Есенина. . .***).

Первый вопросъ, который читатель можетъ и долженъ поставить въ отношеніи преподносимой ему поэзіи, это вопросъ объ ея художественномъ достоинствѣ. Ибо внѣ художественной силы нѣтъ поэзіи. Но второй вопросъ, который вслѣдъ за тѣмъ подсказываетъ философская пытливость, есть вопросъ о томъ, какъ отразилось въ совѣтской поэзіи то потрясеніе и уничиженіе идеи Отечества, доселѣ являвшейся, какъ ни какъ, идеологическимъ стержнемъ поэтическаго творчества каждаго народа, — потрясеніе и уничиженіе, составляющее сущность и обусловившее собою торжество большевизма.

Для непосвященнаго читателя первое впечатлѣніе будетъ неожиданнымъ и необъяснимымъ: Совѣтская Власть утвердилась потому, что сумѣла использовать свойственное русскимъ народнымъ массамъ отсутствіе патріотизма; самое слово „патріотизмъ“ она сдѣлала ругательнымъ; а „совѣтская поэзія“, которая раскрывается намъ въ брошюрахъ подъ сѣрой обложкой, вся, до послѣдняго изгиба, проникнута напряженной и острой идеей Отечества! . . .

Чѣмъ инымъ, какъ не этой идеей, прожжена ставшая нынѣ столь извѣстной поэма Александра Блока „Скиѡы“?:

„Мильоны — васъ. Насъ — тьмы, и тьмы, и тьмы.
 Попробуйте, сразитесь съ нами!
 Да, скиѡы — мы. Да, азіаты — мы,
 Съ раскосыми и жадными очами. . .

О, старый міръ! Пока ты не погибъ,
 Пока томишься мукой сладкой,
 Остановись, премудрый, какъ Эдипъ,
 Предъ Сфинксомъ съ древнею загадкой!

*) Ивановъ Разумникъ. Россія и Инонія. Андрей Бѣлый. Христосъ Воскресе. Сергѣй Есенинъ. Товарищъ. Инонія. Изд. „Скиѡы“. Берлинъ, 1920, стр. 80.

**) Н. Клюевъ, Пѣснь Солнценосца. Земля и Желѣзо. Изд. „Скиѡы“ Берлинъ, 1920, стр. 19.

***) Сергѣй Есенинъ. Триптихъ. Поэмы. Изд. „Скиѡы“. Берлинъ, 1920, стр. 19.

Россія — Сфинксъ. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядитъ, глядитъ въ тебя,
И съ ненавистью, и съ любовью! . . .

Мы любимъ все, — и жаръ холодныхъ числъ,
И даръ божественныхъ видѣній.
Намъ внятно все — и острый галльскій смыслъ,
И сумрачный германскій геній.

Мы любимъ плоть — и вкусъ ея, и цвѣтъ,
И душный, смертный плоти запахъ. . .
Виновны ль мы, коль хрустнетъ Вашъ скелетъ
Въ тяжелыхъ, нѣжныхъ нашихъ лапахъ? . . .“

Что иное, какъ не раскаленное чувство Россіи рождаетъ паѳосъ заключительныхъ — лучшихъ — строфъ поэмы Андрея Бѣлаго „Христось Воскресе“? :

„Россія, — Ты нынѣ — Невѣста. . . — Приемли — Вѣсть — Весны“. . . — „Россія—Страна моя — Ты-та самая, — Облеченная солнцемъ Жена, — Къ которой — Возносятся — Взоры. . . — Вижу явственно я: — Россія, — Моя, — Богоносица, — Побѣждающая Змія. . . — Народы, — Населяющіе Тебя — Изъ дыма — Простерли длани — Въ Твои пространства, — Преисполненныя пѣнія—И огня—Слетающаго Серафима.—И что-то въ горлѣ — У меня—Сжимается отъ умиленія“.

И не это ли чувство вздымаетъ и ведетъ „Солнценосецъ“ Н. Клюева? :

„Мы — рать солнценосецъ на пупѣ земномъ,
Воздвигнемъ стобашенный, пламенный домъ;
Китай и Европа, и Сѣверъ и Югъ
Сойдутся въ чертогъ хорооломъ подругъ,
Чтобъ Бездну съ Зенитомъ въ одно сочетать.
Имъ Богъ — воспреемникъ, Россія же — мать“.

По тому же пути и къ той-же цѣли идетъ „солнценосецъ“ С. Есенина:

„О родина, счастливый
И неисходный часъ!
Нѣтъ лучше, нѣтъ красивѣй
Твоихъ коровьихъ глазъ.“

Тебѣ, твоимъ туманамъ
И овцамъ на поляхъ
Несу, какъ снопъ овсяный,
Я солнце на рукахъ.

Святись преполовеніемъ
И рождествомъ святись,
Чтобъ жаждущіе бдѣнія
Извѣчемъ напились.

Плечьми трясемъ мы небо,
Руками зыбимъ мракъ,
И въ тощій колось хлѣба
Вдыхаемъ звѣздный знакъ.

О Русь, о степь и вѣтры,
И ты, о отчій домъ,
На золотой повѣти
Гнѣздится вешній громъ.

Овсомъ мы кормимъ бурю,
Молитвой поимъ доль,
И пашню голубую
Намъ пашетъ разумъ — волъ“ . . .

Намъ не кажется „преувеличеніемъ“, когда Блоковскимъ „Скиѡамъ“ Ивановъ Разумникъ ищетъ аналогій въ Пушкинскихъ „Клеветникахъ Россіи“ и въ поэзіи Тютчева. Отыскивая эти аналогіи, Ивановъ Разумникъ противопоставляетъ „Клеветникамъ Россіи“ — поэму „Мѣднаго Всадника“. Последнюю онъ находитъ „произведеніемъ . . . глубокимъ, исполненнымъ надъ-историческихъ прозрѣній. . . Но . . . у Пушкина, кромѣ „Мѣднаго Всадника“, есть почти тогда же написанныя произведенія захвата историческаго: „Къ тѣни полководца“, „Клеветникамъ Россіи“, „Бородинская Годовщина“. Тамъ — надъ-историческія прозрѣнія, здѣсь — историческія воззрѣнія“ . . . Обращаясь къ Александру Блоку, онъ считаетъ поэму „Скиѡы“ „поэтическимъ манифестомъ“, аналогичнымъ „Клеветникамъ Россіи“, т. е. заключающимъ въ себѣ „историческія воззрѣнія“ . . . Дѣйствительно такъ: „Скиѡы“ есть изложеніе „историческаго воззрѣнія“ — и при томъ сказанное хотя и жгучими, въ своей напряженности, но „отвлеченными“ сло-

вами. . . И ссылка на количественныя соотношенія („Мильоны — васъ. Насъ — тьмы, и тьмы, и тьмы“), и описаніе западно-европейской культуры (. . . „и жаръ холодныхъ числъ, — и даръ божественныхъ видѣній — . . . и острый галльскій смыслъ — И сумрачный германскій геній“. . .) и даже самый образъ Сфинкса, въ томъ примѣненіи къ Россіи и Европѣ, которое мы находимъ у Блока, все это — формы особой историко-политической поэзіи, которой отдалъ дань Пушкинъ въ перечисленныхъ выше произведеніяхъ „захвата историческаго“.

Въ отличіе отъ прежнихъ произведеній, отъ „Стиховъ о Прекрасной Дамѣ“, „Незнакомки“, „На полѣ Куликовомъ“ и пр., въ поэмѣ „Скиѳы“ Блокъ — символистъ не болѣе и не менѣе, чѣмъ Пушкинъ въ „Клеветникахъ Россіи“. И даже языкъ „Скиѳовъ“ есть языкъ „пушкинскій“. . . Въ этомъ „пушкинскомъ“ характерѣ языка и образовъ „Скиѳовъ“ — отличительный признакъ даннаго произведенія въ ряду иныхъ, посвященныхъ Россіи твореній „совѣтской поэзіи“. . . Восторженные (цитированныя нами выше) строфы Андрея Бѣлаго о Россіи включены въ общую поэтическую ткань символическихъ и мистическихъ видѣній его „Христось Воскресе“:

„Есть — Станный — Пламень — Въ пещерѣ безвѣрія, —
 Когда озаряется — Мгла — И отъ насъ — Отваливаются —
 Тѣла, — Какъ падающій камень. . . — Огромная атмосфера
 — Сіяніемъ — Опускается на каждого изъ насъ, — Перегора-
 ющимъ страданіемъ — Вѣка — Омолнится — Голова — Каж-
 даго человѣка. — И слово, — Стоящее нынѣ — По срединѣ
 — Сердца, — Бурями вострубленной — Весны, — Простерло
 — Гласящія глубины — Изъ огненнаго горла: — Сыны —
 Возлюбленные, — „Христось Воскресь“. . .

И только какъ отдѣльные блики, проскальзывающіе черезъ покровы мистическихъ вдохновеній, звучатъ слова жуткаго реализма, — напоминающаго реализмъ живописныхъ произведеній Ник. Ник. Ге въ послѣдній періодъ его художественной дѣятельности („Что есть истина?“, „Распятіе“ и др.):

„Деревянное тѣло — Съ темными пятнами впадинъ — Про-
 валившихся странно — Глазъ — Деревенѣющаго Лица, —
 Проволокли, — Точно желтую палку, — Забинтованную — Въ
 шелестящія пелены. . . — “

Поскольку символика и мистика, лежащая въ основѣ „Христось Воскресе“, есть прозрѣніе, оно есть несомнѣнно „надъ-историческое прозрѣніе“. Но эта „надъ-историчность“ существенно отличается отъ „надъ-историчности“ „Мѣднаго Всадника“. Въ поэмѣ Пушкина (такъ-же, какъ и въ поэмѣ „Двѣнадцать“ А. Блока, съ которой ее сопоставляетъ Ивановъ Разумникъ) „надъ-историческая“ идея раскрыта въ нѣкоторомъ конкретно-историческомъ дѣйствіи (наводненіе 1824 г. у Пушкина, эпопея „двѣнадцати“ у Блока). Идея же „Христось Воскресе“ Андрея Бѣлаго дана не въ канвѣ конкретно-историческаго дѣйствія, а въ словахъ и образахъ, свойственныхъ лирической и мистически-религіозной поэзіи символизма. . .

Въ результатѣ сопоставленій можно сдѣлать интересное историко-литературное наблюдение: обѣ поэмы А. Блока, возникшія, какъ отраженіе Революціи, „Скиѣы“ и „Двѣнадцать“, являются въ отношеніи къ поэзіи Блока, взятой, какъ совокупность, нѣкоторой кульминаціей пушкинскаго начала въ его творчествѣ, подлиннымъ подобіемъ „Клеветникамъ Россіи“ и „Мѣдному Всаднику“ — несмотря на различіе между обѣими группами произведеній, вытекшія изъ различія эпохъ. . . Поэтической же языкъ (въ широкомъ смыслѣ этого слова), которымъ говорятъ коллеги А. Блока по „совѣтской поэзіи“, не есть отличительно „пушкинскій“, но нѣкоторый иной — символистическій — языкъ.

Свою идею Россіи и Н. Клюевъ и С. Есенинъ одинаково облакаютъ (примѣчательный параллелизмъ!) въ образъ коннаго восшествія и шествія Руси-Россіи къ небесамъ и въ небѣ:

„Къ кручинѣ по крыльямъ, пригожихъ лицомъ
Мы „соколомъ яснымъ“ и „павой“ зовемъ,
Узнайте же нынѣ: на кровлѣ конекъ
Есть знакъ молчаливый, что путь нашъ далекъ.

Изба — колесница, колеса — углы,
Слетятъ серафимы изъ облачной мглы,
И Русь избяная — несмѣтный обозъ! —
Вспарить на распутьи взывающихъ грозъ...

Сметутся народы, изсякнутъ моря,
 Но будетъ шелками расшита заря, —
 То дѣвушки наши, въ поминокъ вѣкамъ,
 Разстелютъ ширинки по райскимъ лугамъ“.

(Н. Клюевъ).

Стихи же С. Есенина гласятъ такъ :

„Ей, Россіяне! — Ловцы вселенной — Неводомъ зари
 зачерпнувшіе небо — Трубите въ трубы... — Свѣтлый гость
 въ калымагѣ къ вамъ — Ёдетъ. — По тучамъ бѣжитъ —
 Кобылица. — Шлея на кобылѣ — Синь. — Бубенцы на шлеѣ
 — Звѣзды —“.

Приведенныя строфы ни въ коемъ случаѣ не являются политическимъ разсужденіемъ въ стихахъ, какимъ можно признать, въ извѣстной степени, и „Клеветниковъ Россіи“ Пушкина и Скиѳовъ“ Блока. И въ то же время это есть несомнѣнное „сказаніе о Россіи“.

Перечтя эти и подобные имъ стихи, невольно приходишь къ заключенію, въ которомъ, какъ кажется, мерцаетъ сіяніе нѣкой еще не раскрывшейся, но уже близкой Исторической Истины: никогда, быть можетъ, за все существованіе російской поэзіи, отъ „Слова о Полку Игоревѣ“ и до нашихъ дней, — идея Родины, идея Россіи не вплеталась такъ тѣсно въ кружева и узоры созвучій и образовъ религиозно-лирическихъ и символическихъ вдохновеній, — какъ въ этихъ стихахъ „совѣтскихъ поэтовъ“, стихахъ служителей того режима, который, казалось, отмѣнилъ самое понятіе Родины и воздвигъ гоненіе на всѣхъ, кто въ политической области исповѣдовалъ „любовь къ Отечеству“ и „народную гордость“.

„О родина, счастливый — И неисходный часъ!...—О Русь, о степь и вѣтры, — И ты, о отчій домъ... Святись преполовеніемъ — И рождествомъ святись, — Чтобъ жаждущіе бдѣнія — Извѣчемъ напились“. — Это ли не „любовь къ Отечеству“?...

„Ей, Россіяне! — Ловцы вселенной — Неводомъ зари зачерпнувшіе небо — Трубите въ трубы...“ Это ли не „народная гордость“?

„Народная гордость“ — это слово Карамзина. И на са-

момъ обращеніи: „Ей, Россіяне!“ лежитъ печать карамзинскаго стиля, „Исторіи Государства Россійскаго“...

„Любовь къ отечеству“, „народная гордость“ — и то и другое въ примѣненіи къ Россіи... Но къ какой Россіи? Не заключается ли въ нашемъ „патріотическомъ“ пониманіи „совѣтскихъ поэтовъ“ основного и горестнаго заблужденія? — Мы говоримъ о конкретной Россіи, которая есть, конечно, и „родина духовная“, и „отечество внутреннее“ — но въ то же время и нѣкоторое исторически и географически опредѣленное „единство“ — и даже мыслимая и дѣйствительная „великая держава“... А совѣтскіе поэты отбрасываютъ, быть можетъ, какъ соръ, „великодержавность“, презираютъ и отвергаютъ историческое и „географическое единство.“ Не есть ли ихъ Россія — образъ безъ плоти и очертаній, который, въ существѣ, является болѣе „Интернаціоналкой“, чѣмъ Россіей? ... Официозный совѣтскій критикъ Ивановъ Разумникъ стремится дать (да ex officio и долженъ давать) именно такое толкованіе:

„Ваши превосходительства, высокородія, благородія, граждане! Что есть Русская Имперія наша? Русская Имперія наша есть географическое единство, что значитъ: часть извѣстной планеты. И Русская Имперія заключаетъ: во-первыхъ — великую и малую, бѣлую и червонную Русь; во-вторыхъ — грузинское, польское, казанское и астраханское царство; въ-третьихъ она заключаетъ... Но — прочая, прочая, прочая“ (Андрей Бѣлый, „Петербургъ“). — Эта Россія — погибла, и пусть плачутъ тѣ, которымъ дорога была она, какъ „географическое единство“, болѣе того — какъ „великая держава“. Съ ними у насъ нѣтъ общаго языка, мы не поймемъ и даже не разслышимъ другъ друга, мы на разныхъ сторонахъ пропасти... Гибнетъ географическая родина, гибнетъ великодержавное отечество“...

Обратимся же къ произведеніямъ „совѣтскихъ поэтовъ“ и посмотримъ, какъ обстоитъ у нихъ дѣло съ провозглашеніемъ гибели „великодержавнаго отечества“, отверженіемъ „географической родины“...

Когда Пушкинъ написалъ своихъ „Клеветниковъ Россіи“,

ему бросали упрекъ въ „шинельномъ патриотизмѣ“—вѣдь въ этомъ произведеніи значатся, между прочимъ, и такія строки:

„Вы грозны на словахъ—попробуйте на дѣлѣ!
Иль старый богатырь, покойный на постелѣ,
Не въ силахъ завинтить свой измаильскій штыкъ?...
Иль мало насъ? Или отъ Перми до Тавриды,
Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды,
Отъ потрясеннаго Кремля
До стѣнъ недвижнаго Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанетъ русская земля?
Такъ высылайте-жъ къ намъ, вити,
Своихъ озлобленныхъ сыновъ:
Есть мѣсто имъ въ поляхъ Россіи,
Среди не чуждыхъ имъ гробовъ?“

Эти слова навѣяны чувствомъ великодержавнаго могущества Родины. Но не это-ли чувство сказывается и въ Блоковскихъ „Скиѣахъ“?:

„Мильоны—васъ. Насъ—тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь съ нами!...
Виновны-ль мы, коль хрустнетъ вашъ скелетъ
Въ тяжелыхъ, нѣжныхъ нашихъ лапахъ?“

Не содержится-ли въ этихъ строкахъ исповѣдованіе російскаго могущества, мысль о военной силѣ Родины? Здѣсь предвѣщается „сраженіе“; и какъ результатъ его—долженъ „хрустнуть“ скелетъ Европы... Интересно, что аналогія между „Клеветниками Россіи“ и „Скиѣами“ замѣчается даже въ деталяхъ. Пушкинскому вопросу: „Иль мало насъ?“ соответствует блоковское утвержденіе: „Насъ—тьмы, и тьмы, и тьмы“. Охотно допускаемъ, что Александръ Блокъ не сознавалъ, что дѣлалъ, когда писалъ эти строки: вѣдь все-же онъ поэтъ „совѣтскій“. Тѣмъ замѣчательнѣе было-бы несоотвѣтствіе замысла и непосредственной правды поэтическихъ словъ... Только одинъ упрекъ можно сдѣлать „Скиѣамъ“ съ точки зрѣнія русскаго патриотическаго сознанія: упрекъ въ томъ, что поэтъ переоцѣниваетъ силу Россіи и въ этомъ смыслѣ, быть можетъ, вводитъ въ заблужденіе своихъ соотечественниковъ. Дѣйствительно-ли мы настолько сильны, чтобы могъ „хрустнуть“ скелетъ Европы „въ тяжелыхъ, нѣжныхъ

нашихъ лапахъ“?.. Объ этомъ можно спорить, здѣсь допустимы сомнѣнія.

Ивановъ Разумникъ утверждаетъ, что „гибнетъ географическая родина“. Какъ отзывается на такое утверждение Клюевскій Садко—Солнценосецъ?

„Здравствуешь, Волюшка-мать,
Божьей земли благодать,
Бѣлая Меря, Сибирь,
Ладоги хлябкая ширь!

Здравствуйте Волховъ—гуслляръ,
Степи Великихъ Бухаръ,
Синій Моздокскій туманъ,
Волга и Стенькинъ Курганъ!

Чай стосковались по мнѣ,
Красной поддоной веснѣ,
Думали—злой водяникъ
Выщербилъ пѣсенный ликъ?

Я же—въ избѣ и хлѣву
Ткаль золотую молву,
Сиринъ мнѣ вѣсти носилъ
Съ плахъ и безкрестныхъ могилъ.

Рушайте-же лебедь—судьбу,
Въ звонъ осластите губу,
Кіева сполохъ—уста
Пусть возсіяютъ, гдѣ Мста.

Чмокъ городовъ и племень
Въ ликѣ моемъ воплощенъ,
Я—пѣсноводный женихъ,
Русскій, яровчатый стихъ!“

Гибель „географической родины“ или высшее ея утверждение? Явно: не гибель, но утверждение. Своимъ взоромъ, какъ зарницей, поэтъ „обводитъ... цѣлый кругъ“, пространственный кругъ Державы Россійской. Не какъ безплотность, не какъ отвлеченную „Интернаціоналку“—но какъ нѣкоторую географически-поэтическую реальность воспринимаетъ онъ Россію. Онъ чувствуетъ ея степи и шири, курганы ея и туманы—и въ поэтическихъ словахъ обозрѣваетъ ея предѣлы; не только предѣлы „великой и малой“ Россіи—но и тѣхъ странъ,

гдѣ стелются „степи Великихъ Бухаръ“ и синѣтъ „моздокскій туманъ“. Вотъ ужъ поистинѣ можно сказать, что не только тѣмъ, кто „по ту сторону пропасти“, но и „совѣтскому поэту“ Ключеву дорога Россія, какъ „географическое единство“, и при томъ „географическое единство“ великодержавныхъ предѣловъ.

Поэму о восшествіи къ небесамъ „избяной Руси“ Ключевъ начинаетъ слѣдующими словами:

„Есть горькая супесь, глухой черноземъ,
Смиренная глина и щебень съ пескомъ,
Окунья земля, травяная медынь,
И пѣгая охра, жилица пустынь.

Межъ тучныхъ, глухихъ и скудельныхъ земель
Есть мать-земля, бытія колыбель,
Есть пѣстунъ судьба, вертоградарь-же—Богъ,
И въ сумеркахъ жизни къ ней нѣту дорогъ“.

Первая строфа этого отрывка есть настоящій „каталогъ почвъ“ географической Россіи. Полоса супесей и суглинковъ, поясъ черноземовъ и пустынь выступаютъ послѣдовательно въ сознаниі читателя. Если не бояться прозаическихъ сопоставленій,—то можно сказать, что въ этой строфѣ, какъ въ нѣкоторомъ резюме, заключено ученіе о почвенныхъ зонахъ Россіи, установленіе котораго явилось въ свое время важнѣйшей заслугой русской школы почвовѣдовъ... Въ данномъ случаѣ чрезвычайная обостренность географическаго чувства поэта приводитъ его къ нѣкоторому излишеству, эксцессу географичности, могущему вредить художественному впечатлѣнію.

Замѣчательно, что другой „совѣтскій поэтъ“, С. Есенинъ, даже въ своей богоискательской и богоборческой, сектански-хлыстовской „Иноніи“ прибѣгаетъ къ языку географическихъ формъ:

„И тебѣ говорю, Америка,
Отколотая половина земли,—
Страшись по морямъ безвѣрія
Желѣзные пускать корабли!

Не отягивай чугунной радугой
Нивъ и гранитомъ рѣкъ.
Только водью свободной Ладоги
Просверлить бытіе челоуѣкъ! "...

Предъ лицомъ этихъ и подобныхъ имъ словъ и образовъ безпомощнымъ лепетомъ звучать „критическія“ разсужденія Иванова Разумника объ уничтоженіи „географической родины“, о гибели „великодержавнаго отечества“. И для нашего сознанія выясняется нѣсколько существенныхъ обстоятельствъ. Не можетъ не быть горестной и грустной мыслью о судьбѣ и поступкахъ тѣхъ „совѣтскихъ поэтовъ“, о которыхъ мы говоримъ. Въ своей душѣ они носятъ проникновенную идею Отечества, а служатъ тѣмъ, кто желаетъ разрушить Родину. Много лицемерія и лицемерной приспособляемости, а, весьма вѣроятно, и неискренности съ самимъ собою, потребно было для того, чтобы сочетать содержаніе цитированныхъ нами произведеній „совѣтской поэзіи“ съ возможностью „совѣтской службы“ для ихъ авторовъ—особенно въ первоначальные періоды большевизма... Но въ этихъ-же произведеніяхъ заключается приговоръ дѣлу разрушителей Россіи, служителей Интернаціонала.. Еще остаются въ силѣ ихъ лозунги, еще бушуетъ вызванный ими изъ подполья духъ разрушенія, Ивановы Разумники лепечутъ еще о гибели „географической родины“, „великодержавнаго отечества“, а стихія, вынесшая на своемъ гребнѣ большевизмъ и составляющая его силу, неотвратимо и неизбѣжно измѣняется въ самомъ своемъ существѣ. Это не просто поражение большевизма, это стихійное его преодоленіе. Желали всѣми средствами поэзіи возславить отрицаніе Родины и Интернаціональ; а создали напряженную и страстную поэзію Отечества. Родина, спаленная, казалось, на кострѣ коммунистической разнузданности, — какъ фениксъ, воскресаетъ изъ Пепла. И крѣпнетъ, какъ драгоцѣнное вино, — хмѣльной любовный напитокъ патріотизма.

Петроникъ.

ИСТОРИЧЕСКІЕ МАТЕРІАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ.

Идеологія Махновщины.

Въ мои руки въ Ростовѣ на Д. попала весьма примѣчательная брошюра, содержащая протоколъ съѣзда махновцевъ, происходившаго въ февралѣ 1919 года. Этотъ протоколъ даетъ представленіе о томъ, какова была *идеологія* махновщины въ моментъ выступленія ея на широкую историческую сцену. Это — чистѣйшій социальнo-революціонный анархизмъ, враждебный и исторической государственности, и буржуазному строю, и большевистской власти, какъ власти. Любопытно, что идеологіи махновщины оказывается чуждъ антисемитизмъ, между тѣмъ, какъ погромно-антисемитическій характеръ махновскаго движенія проявился съ ужасающей яркостью. Это одинъ изъ разительныхъ примѣровъ того, какъ далеко расходятся въ русской революціи отвлеченныя идеи и стихіи революціи, провозглашаемая идеологія революціи и ея реальная психологія. Но то, что махновщина идеологически является анархизмомъ, несомнѣнно соотвѣтствуетъ народному характеру этого движенія.

Ниже слѣдуютъ дословныя извлеченія изъ подлиннаго печатнаго протокола.

П. Стр.

(Безъ соблюденія орфографіи).

„Протоколъ засѣданія II-го Гуляйпольскаго районнаго съѣзда фронтовиковъ, совѣтовъ и подьотдѣловъ, состоявшійся 12 Февраля 1919 г. въ селѣ Гуляй-поле.“ (стр. 32 in 8⁰. На послѣдней страницѣ: „изданіе Гуляйпольской группы анархистовъ „Набатъ“.)

245 делегатовъ отъ 350 волостей.

Тов. Махно отвергаетъ предлагаемую ему кандидатуру въ президіумъ „въ виду военныхъ событій на фронтѣ“ и избирается почетнымъ председателемъ съѣзда.

По докладу делегации, ѣздившей въ Харьковъ къ Временному Правительству Украины тов. Лавровъ передаетъ бесѣду делегации съ адъютантомъ (къ министрамъ, или комиссарамъ делегация допущена не была) Врем. Прав. Украины въ Харьковѣ; докладчикъ сообщаетъ, что на вопросъ объ отношеніи Врем. Правит. Украины къ арміи батьки Махно былъ данъ отвѣтъ: официалнаго соглашенія еще нѣтъ, но Врем. Правит. предполагаетъ войти съ нимъ въ соглашеніе и помогать ему всѣмъ необходимымъ для веденія борьбы съ контрреволюціей и что вступать съ Махно во вражескія отношенія Врем. Правит. не намѣрено. Въ преніяхъ тов. Чернокнижный (представитель Ново-Павловской волости) замѣчаетъ: „изъ доклада. . . мы узнали. . . на Украинѣ появилось новоиспеченное гдѣ то Правительство изъ большевиковъ-коммунистовъ; это правительство уже собирается произвести свою большевистскую монополию надъ совѣтами“. Указавъ далѣе, что въ то время, когда „вы, крестьяне, рабочіе, повстанцы выдерживали напоръ всѣхъ контр-революціонныхъ силъ“ Врем. Правит. Украины „сидѣло . . въ Москвѣ, въ Курскѣ, выжидая, пока рабочіе и крестьяне Украины освободятъ территорію отъ враговъ“. „Теперь. . . непріятель разбитъ. . . къ намъ появляется какое то большевистское правительство и навязываетъ намъ свою партійную диктатуру. Допустимо ли это? . . Мы беспартійные повстанцы, возставшіе противъ всѣхъ нашихъ угнетателей, не допустимъ новаго закрѣпощенія, отъ какой бы партіи оно ни исходило“.

Другой делегатъ, крестьянинъ Серафимовъ говоритъ: „предъ нами стоитъ уже другая, новая опасность — опасность партійная, большевистская, кующая для насъ новыя цѣпи, большевистско-государственническія. Большевистское правительство старается увѣрить насъ, что оно служитъ интересамъ рабочихъ и крестьянъ, что оно несетъ освобожденіе трудящимся. . . Но зачѣмъ же оно стремится *царствовать* надъ нами сверху, изъ кабинетовъ. . .? Мы знаемъ отъ нашихъ братьевъ изъ Великороссіи, какую тамъ большевики творятъ революцію. . . Мы знаемъ, что тамъ у народа нѣтъ свободы, что тамъ властвуетъ партійный произволь, большевистскій хаосъ, насиліе комиссародержавія. И если эта партія старается преподнести и намъ на Украину такія „свободы“ — то мы должны громогласно заявить, что намъ не нужны такіе учителя и спасители, что мы не нуждаемся въ диктатурахъ, что мы сами сѣумѣемъ устроить свою новую жизнь“.

Тов. Бойно, повстанецъ-анархистъ, заявляетъ: „. . . намъ необходимо создать совѣты, которые находились бы внѣ давленія какихъ бы то ни было партій. Только свободно-избранные, беспартійные, трудовые совѣты способны дать намъ новую свободу и спасти трудовой народъ отъ рабства и угнетенія. *Да здравствуютъ свободно-избранные безвластные совѣты*“.

Во время рѣчи большевика-коммуниста Карпенко, защищающаго свою партію, его все время прерываютъ. Когда Карпенко говоритъ: „должна быть установлена диктатура пролетаріата надъ буржуазіей“, голосъ съ мѣста „А мы видимъ диктатуру большевиковъ надъ лѣвыми с-р и Анархистами“ Другой разъ голосъ съ мѣста: „А зачѣмъ они присылаютъ намъ комиссаро-

державцевъ. Мы съумѣемъ жить и безъ нихъ. А если намъ понадобятся комиссары, мы можемъ избрать ихъ изъ своей среды“.

Въ рѣчи по текущему моменту предс. Веретельникова слѣдующая интересная справка: „Въ 1905 году, когда атмосфера была еще такъ тяжела, здѣсь въ Гуляй-полѣ организовалась группа анархистовъ, существованіе которой стало хорошо извѣстно, когда погибъ тов. Семенюта, имя котораго не многимъ было знакомо. Тогда былъ арестованъ тов. Махно, который въ числѣ многихъ другихъ революціонеровъ попалъ въ каторгу, гдѣ прожилъ цѣлыхъ 10 лѣтъ. По сверженіи самодержавія Махно возвращается въ Гуляй-поле. Когда революціонное движеніе здѣсь приняло серьезный характеръ, я находился въ Севастополѣ. Радостная вѣсть о движеніи тянетъ въ Гуляй-поле, и я возвращаюсь въ свое родное село, гдѣ встрѣчаю отрадную картину. . . Событія мѣняются съ головокружительной быстротой. „Батько“ ушелъ съ однимъ отрядомъ, другіе разсѣялись по Таганрогу, Ростову, Царицыну“ и т. д.

Тов. Махно произноситъ чисто революціонную и при томъ ярко анархическую рѣчь, направленную и противъ большевиковъ. Исходная точка рѣчи Махно — констатированіе, что „народъ голодный, оборванный, изстрадавшійся отъ послѣдней братоубійственной войны на фронтѣ не желалъ больше этой войны“. Но „на тронъ Кроваваго Царя засѣлъ новый преступникъ въ лицѣ Временнаго Правительства“. Въ это время анархисты вездѣ и всюду вели пропаганду и всячески боролись противъ авантюры Временнаго Правительства. Всюду — на заводахъ, въ мастерскихъ, въ казармахъ объясняли, что не надо намъ вести на фронтѣ братоубійственную войну, за что въ Петроградѣ на дачѣ Дурново наши товарищи были арестованы и нѣсколько анархистовъ разстрѣляно“. Указавъ, что гоненія объединяли большевиковъ и анархистовъ Махно говоритъ, что послѣ перехода „правленія государствомъ въ руки трудового народа въ формѣ свободно-избранныхъ совѣтовъ“ дѣло скоро измѣнилось: „... не долго существовали эти свободные совѣты... Партія большевиковъ объявила на нихъ свою монополію и... началась „чистка“ революціонныхъ совѣтовъ“, ... на анархистовъ началось гоненіе со стороны большевиковъ. . . Тѣ, которые вчера еще вмѣстѣ съ анархистами были гонимы и преслѣдуемы, — не узнали теперь своихъ вчерашнихъ товарищей по борьбѣ. . . Мы до сегодняшняго дня являемся свидѣтелями грубой, насильственной власти большевиковъ надъ изстрадавшимся трудовымъ народомъ“. Въ заключеніе Махно говоритъ, что если большевики пришли помогать товарищамъ, онъ имъ скажетъ: „Добро пожаловать, дорогіе братья“, но если „они идутъ монополизировать Украину — мы имъ скажемъ „руки прочь“.

Другіе ораторы (Херсонскій, Чернякъ) говорятъ въ томъ же духѣ. Херсонскій говоритъ: „... никакая партія не имѣетъ права захватывать въ свои руки государственную власть“. Чернякъ, указывая, что: „всѣ, которые клеймятъ дѣйствія комиссаровъ и „Чрезвычайекъ“, испытали на своихъ спинахъ ихъ прелесть, пережили весь гнетъ ихъ. . . многіе честные революціонеры, перенесшіе царскіе застѣнки, тюрьмы и каторгу, сейчасъ опять наполняютъ тюрьмы Великороссіи“, требуетъ, чтобы „приняты были мѣры къ созданію безвластныхъ, непартійныхъ экономическихъ совѣтовъ на выборныхъ нача-

лахъ, чтобы представитель всегда могъ бы быть отозванъ, если онъ не соотвѣтствуетъ своему назначенію. Мы желаемъ, чтобы жизнь, всѣ вопросы разрѣшались на мѣстахъ, не по указу какой нибудь власти свѣше, а чтобы рѣшали судьбу свою всѣ крестьяне и рабочіе, выборные же должны только исполнять то, чего желаютъ всѣ трудящіеся*.

Тов. Костинъ (лѣв. с-р.) говоритъ о крестьянскихъ возстаніяхъ противъ большевиковъ „Возстаютъ. . . не отдѣльныя личности, а крестьяне многихъ волостей и съ женами, дѣтьми и стариками идутъ подъ пули и штыки латышей и китайцевъ, ибо другого выхода не видятъ передъ собой. . . Это все ваши братья, такіе же крестьяне, бѣдняки, такіе же угнетенные, какъ и вы здѣсь на Украинѣ. Почему же они возстаютъ въ большинствѣ подъ лозунгомъ: „Власть совѣтамъ. Долой комиссародержавіе.“ Да, политика тѣхъ людей, которые находятся у власти въ Великороссіи, ведетъ къ этому. Большевики, напр., придумали продовольственные отряды. Вооружаютъ рабочихъ и посылаютъ ихъ въ деревни — силой отбирать хлѣбъ у крестьянъ; деревнѣ же взамѣнъ ничего не даютъ. Отбираютъ послѣдніе остатки часто купленнаго самими крестьянами хлѣба, отбираютъ послѣднюю крынку молока, послѣднее платье и сапоги — все. Устраиваютъ полный грабежъ, санкціонированный закономъ. Вотъ какова, въ краткихъ чертахъ, политика большевиковъ*.

Тов. Баронъ (анархистъ) тоже высказывается противъ большевиковъ: „У насъ есть такъ называемое Совѣтское Правительство, которое называетъ себя „Рабоче-Крестьянскимъ“, но которое никто изъ насъ не избиралъ. Это самозванное правительство, пользуясь нашей слабой стороной — отсутствіемъ въ нашихъ рядахъ тѣсной сплоченности — узурпаторски властвуетъ надъ нами и заключаетъ сдѣлки съ иностраннымъ имперіализмомъ, вновь набрасывая петлю на шею трудового народа. . . Большевики, бывшіе до октябрьскаго переворота революціонерами — теперь разстрѣливаютъ всякаго истиннаго революціонера, кто мыслить не такъ, какъ имъ это желательно.*

Баронъ заканчиваетъ свою рѣчь такъ: „Товарищи повстанцы. Ваша задача теперь — создать вездѣ, въ каждой деревнѣ свои вольные, выборные безвластные совѣты, которые будутъ удовлетворять всѣ нужды ваши, строить вашу хозяйственную жизнь, и защищать ваши истинные интересы, безъ вмѣшательства разныхъ узко-партийныхъ комиссаровъ, навязывающихъ сверху свой партийный гнетъ. Только черезъ свободные, безвластные, экономическіе совѣты, черезъ истинно-трудовой совѣтскій строй лежитъ путь къ полному освобожденію отъ ига капитала и власти, путь къ Соціальной Революціи.

Да здравствуетъ свободный, безвластный народъ, строящій свою жизнь безъ всякихъ властей и политическихъ няней.*

Батько Махно одобрилъ резолюцію, предложенную объединенными анархистами, лѣвыми с-р, повстанцами и президіумомъ, и она принимается 150 голосами противъ 29 при 20 воздержавшихся. Въ резолюціи содержится рѣзкое осужденіе большевизма: „Нами не избранные, но правительствомъ назначенные политическіе и разные другіе комиссары наблюдаютъ за ка-

ждымъ шагомъ мѣстныхъ совѣтовъ и беспощадно расправляются съ тѣми товарищами изъ крестьянъ и рабочихъ, которые выступаютъ на защиту народной свободы противъ представителей центральной власти. Именуящее себя рабоче-крестьянскимъ правительство Россіи и Украины слѣпо идетъ на поводу у партіи коммунистовъ-большевиковъ, которые въ узкихъ интересахъ своей партіи, ведутъ гнусную непримиримую травлю всѣхъ другихъ революціонныхъ организацій. Прикрываясь лозунгомъ „диктатура пролетаріата“ коммунисты-большевики объявили монополію на революцію для своей партіи, считая всѣхъ инакомыслящихъ контръ-революціонерами. Большевистская власть арестовываетъ и разстрѣливаетъ лѣвыхъ социалистовъ-революціонеровъ и анархистовъ, закрываетъ ихъ газеты, душитъ всякое проявленіе революціоннаго слова.

„Большевистское правительство, чтобы проявить свою власть, не спросивъ рабочихъ и крестьянъ, вступило въ новые переговоры съ правительствами союзныхъ имперіалистовъ, обѣщая имъ всевозможныя выгоды и концессіи, разрѣшая имъ ввести свои войска въ нѣкоторыя мѣстности Россіи, которыя переходятъ подъ вліяніе союзниковъ.

2-ой раіонный съѣздъ фронтовиковъ, повстанцевъ, рабочихъ и крестьянъ гуляйпольскаго раіона призываетъ гг. крестьянъ и рабочихъ зорко слѣдить за дѣйствіями Совѣтскаго Большевистскаго Правительства, которое своими дѣйствіями вызываетъ настоящую опасность для рабоче-крестьянской революціи. . . Пусть существуютъ различныя революціонныя организаціи, пусть проповѣдуютъ свободно свои идеи, но мы не позволимъ ни одной изъ нихъ объявить себя властью и заставить всѣхъ танцовать подъ свою дудку. Въ нашей повстанческой борьбѣ намъ нужна единая братская семья рабочихъ и крестьянъ, защищающая землю, правду и волю. Второй раіонный съѣздъ фронтовиковъ настойчиво призываетъ товарищей крестьянъ и рабочихъ, чтобъ самимъ на мѣстахъ безъ насильственныхъ указовъ и приказовъ, вопреки насильникамъ и притѣснителямъ всего міра, строить новое свободное общество безъ властителей пановъ, безъ подчиненныхъ рабовъ, безъ богачей и безъ бѣдняковъ.

„Съѣздъ привѣтствуетъ рабочихъ и крестьянъ Великороссіи сражающихся вмѣстѣ съ нами съ міровымъ имперіализмомъ.

„Долой комиссародержавцевъ и назначенцевъ!

„Долой чрезвычайки — современныя охранки

„Да здравствуютъ свободно-избранные Рабоче-Крестьянскіе Совѣты!

„Долой однокіе большевистскіе Совѣты!

„Да здравствуетъ свободное революціонное слово!

„Долой соглашеніе съ Россійской и международной буржуазіей.

„Позоръ социалистическому правительству, ведущему переговоры съ союзными имперіалистами.

„Да здравствуетъ міровая социалистическая революція.“

Засимъ съѣздъ принялъ резолюціи „противъ грабежей, насилій и еврейскихъ погромовъ, чинимыхъ разными темными личностями, прикрывающимися именемъ честныхъ повстанцевъ.“

Объ еврейскихъ погромахъ эта резолюція говоритъ :

„Национальный антогонизмъ, принявшій въ нѣкоторыхъ мѣстахъ форму еврейскихъ погромовъ, — результатъ стараго отжившаго самодержавнаго режима. Царское правительство натравливало несознательныя трудовыя массы на евреевъ, надѣясь все зло, всѣ преступленія свои взвалить на еврейскую бѣдноту и этимъ отвлечь вниманіе всего трудового народа отъ истинныхъ причинъ его бѣдствій — отъ гнета царскаго самодержавія и его опричниковъ“.

Интернаціонализмъ движенія подчеркивается въ слѣдующихъ пунктахъ той же резолюціи:

„Предъ лицомъ русской и надвигающейся всемірной соціальной революціи одинаково возстали угнетенные и порабощенные всѣхъ національностей и всѣхъ убѣжденій. Рабочіе и крестьяне всѣхъ странъ и всѣхъ національностей стоятъ передъ одной великой общей задачей — сверженіе гнета буржуазіи, класса эксплуататоровъ, сверженіе ига *капитала и власти*, и водвореніе новаго общественнаго строя, основаннаго на свободѣ, братствѣ и справедливости.

„Порабощенные всѣхъ національностей, будь они русскіе, поляки, латыши, армяне, евреи или нѣмцы, должны объединиться въ одну общую дружную семью рабочихъ и крестьянъ и сильнымъ и могучимъ напоромъ нанести послѣдній и рѣшительный ударъ классу капиталистовъ, имперіалистовъ и ихъ прислужниковъ и окончательно сбросить съ себя цѣпи экономического рабства и духовнаго закрѣпощенія.

„Долой капиталъ и власть!

„Долой религіозныя предрассудки и національную ненависть!

„Да здравствуетъ единая великая семья трудящихся всего міра!

„Да здравствуетъ Соціальная Революція!“

По вопросу объ „организаціи фронтовиковъ“ съѣздъ, отклонивъ „принудительную“ мобилизацію, высказывается за „обязательную“ въ томъ смыслѣ, что „каждый крестьянинъ, способный носить оружіе, *самъ* долженъ сознать свой долгъ пойти въ ряды повстанцевъ и защищать интересы всего трудящагося народа Украины.

По земельному вопросу съѣздъ принялъ резолюцію, основанную на слѣдующихъ началахъ: „земля ничья и пользоваться ею могутъ только тѣ, кто трудится на ней, кто обрабатываетъ ее, — земля должна перейти въ пользованіе трудового крестьянства Украины *бесплатно* по нормѣ *уравнительно-трудовой*, т. е. должна обеспечивать потребительную норму на основаніи приложенія *собственного* труда“.

КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

1. „Двѣнадцать“ Александра Блока.

„Двѣнадцать“ Александра Блока, повидимому, самое сильное до сихъ поръ отраженіе революціи въ литературѣ. Уже сейчасъ можно сказать безъ преувеличенія, что это подлинно *памятникъ* революціонной эпохи. Въ этомъ произведеніи дѣйствительно отразилась революція, ея безбожіе, ея безчеловѣчность, ея — перефразируя другіе стихи того же поэта — *безсильный, непробудный грѣхъ*. Въ предисловіи, которымъ П. П. Сувчинскій сопроводилъ софійское изданіе „Двѣнадцати“,*) онъ опредѣляетъ поэзію Блока, какъ *чувственный реализмъ* и не очень высоко оцѣниваетъ его творчество съ религіозной точки зрѣнія. Поэтому „образъ Христа въ бѣломъ вѣнчикѣ изъ розъ“ — неубѣдительный, тусклый, чужой, случайный и безотвѣтственный, даже недопустимо безотвѣтственный, кощунственный (стр. 6).

Справедливый судъ и заслуженный приговоръ, но его надо, мнѣ кажется, расширить и углубить. Все произведеніе Блока, при потрясающей чувственной правдивости, дѣлающей изъ него большую художественную цѣнность и первоклассный историческій памятникъ, религіозно, а тѣмъ самымъ и эстетически, двойственно и противорѣчиво, не примирено въ себѣ, какъ не примиреннымъ въ себѣ и эстетически незаконченнымъ и потому несовершеннымъ былъ всегда и остается Блокъ. Тутъ религіозный критерій сливается съ эстетическимъ. Правда изображенія въ „Двѣнадцати“ Блока религіозно не освобождена отъ цинизма или кощунства воспріятія. Отсюда то естественное отталкивающее впечатлѣніе, которое на многихъ производятъ „Двѣнадцать“.

Человѣкъ, а потому и писатель, можетъ къ пороку, грѣху, мерзости, пошлости относиться различно: ихъ можно воспринимать безразлично въ процессѣ простого отображенія или изображенія; ихъ можно превозносить и идеализировать и, наконецъ, къ нимъ можно

*) Александръ Блокъ. „Двѣнадцать“, съ предисловіемъ П. Сувчинскаго. Россійско-Болгарское Книгоиздательство, Софія (б. о. г.), стр. 36.

относиться съ эстетически-іерархической оцѣнкой, ставя ихъ въ надлежащее соотношеніе съ другими сторонами лирики или дѣйствительности. Только послѣднее отношеніе эстетически правильно и религиозно законно.

Блокъ въ своихъ „Двѣнадцати“ колеблется между этими тремя отношеніями. Истинная, совершенная поэзія, образцами которой могутъ служить поэтическія части Библии, „Фаустъ“ Гете, „Борисъ Годуновъ“ Пушкина, всегда эстетически-іерархически и тѣмъ самымъ религиозно расцѣпываетъ изображаемое. И потому она никогда не впадаетъ въ соблазнъ кощунства. Между тѣмъ, у Блока почти всегда двусмысленное отношеніе къ изображаемому, заключающее въ себѣ опасность цинизма и кощунства.

Относительно А. Блока ставился еще вопросъ объ его отношеніи къ русской революціи. Этому вопросу П. П. Сувчинскій касается въ заключеніи своего предисловія. Но намъ его пониманіе Блока въ этомъ отношеніи не вразумительно.

Отношеніе къ русской революціи есть частный случай отношенія къ грѣху и мерзости вообще. Оно у Блока тоже двусмысленно, цинично и кощунственно. Это не можетъ не восприниматься болѣзненно всѣми любящими красоту блоковской поэзіи. Вѣдь тотъ же самый поэтъ, который написалъ соблазнительно-кощунственное „Двѣнадцать“, написалъ стихи „На полѣ Куликовомъ“, „Русь“, „Россія“, проникнутые историческимъ смысломъ, любовью къ живому и вдохновенному образу Россіи, поруганному безбожной и безчеловѣчной, кощунственной и мерзкой революціей, въ „Двѣнадцати“ изображенной, но не преодоленной ни эстетически, ни религиозно. Невольно вспоминается вѣщее признаніе самого же Блока, что онъ принадлежитъ къ какой то проклятой породѣ людей, къ „дѣтямъ страшныхъ лѣтъ Россіи“, у которыхъ „въ сердцахъ восторженныхъ когда то есть роковая пустота.“

На правдивомъ изображеніи лица революціи въ „Двѣнадцати“ лежитъ именно соблазнительная печать „роковой пустоты“ въ религиозномъ отношеніи.

Петръ Струве.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

1. „Двѣнадцать“ Александра Блока.

„Двѣнадцать“ Александра Блока, повидимому, самое сильное порѣ отраженіе революціи въ литературѣ. Уже сейчасъ сказать безъ преувѣченія, что это подлинно *памятникъ* цѣлонной эпохи. Въ эмп произведеніи дѣйствительно отражена революція, ея безбожіе ея безчеловѣчность, ея — перефразированіе стиха того же поета — *безсильный, непробудный грѣшникъ* дисловіи, которымъ Г. П. Сувчинскій сопроводилъ софійскій „Двѣнадцати“,*) онъ опредѣляетъ поэзію Блока, какъ *реализмъ* и не очень высоко оцѣниваетъ его творчество съ этой точки зрѣнія. Потому „образъ Христа въ бѣломъ розѣ“ — неубѣдительный, тусклый, чужой, случайный, ственный, даже недопустимо безотвѣтственный, кощунственный.

Справедливый судъ и заслуженный приговоръ, однако, мнѣ кажется, расширить и углубить. Все произведение, обладающее потрясающей чувственой правдивости, дѣлающей его художественную цѣнность и первоклассный исторический документъ, религиозно, а тѣмъ самымъ и эстетически, двойственно, живо, не примирено въ себѣ, какъ не примирено исторически незаконченныи и потому несовершенныи, остается Блокъ. Тутъ религиозный критерій не можетъ быть единственнымъ. Правда изображенія въ „Двѣнадцати“ освобождена отъ цинизма или кощунства въ истинно естественное отталкивающее впечатлѣніе, котораго не даютъ „Двѣнадцать“.

Человѣкъ, а поэтъ и писатель, можетъ относиться къ жизни, пошлости относительно различно: ихъ можно различно въ процессѣ ростога отображенія. Ихъ можно превозносить и идеализировать.

*) Александръ Блокъ. „Двѣнадцать“, съ предисловіемъ Г. П. Сувчинскаго. Россійско-Болгарское Книгоиздательство, Софія (б. г.).

относиться съ эстетически-иерархической точки зрения къ всея читающей публикѣ подлежащее соотношеніе съ другими сторонами истинности. Только послѣднее отношеніе эстетическое и истинно-религіозно законно.

Блокъ въ своихъ „Двѣнадцати“ каноническихъ отношеніями. Истинная, совершенная поэзия должна служить поэтическія части Библии, „Дуновъ“ Пушкина, всегда эстетически-религіозно расцѣниваетъ изображаемое. Между опасностью цинизма и кощунства.

Относительно А. Блока ставится вопросъ о его отношеніи къ русской революціи. Этому вопросу посвящено въ заключеніи своего предисловія. На этомъ отношеніи не вразумительно.

Отношеніе къ русской революціи Блокъ относитъ къ грѣху и мерзости вообще. Цинично и кощунственно. Это не только не всеми любящими красоту, но и самимъ поэтомъ, который написалъ „Двѣнадцать“, написалъ стихи „На кощунство“, проникнутые историческимъ и поэтическимъ вѣнному образу Россіи, „поруганной кощунственной и мерзкой революціей“. Но не преодолѣнной ни эстетически, ни истинно. Начинается вѣщее признаніе, что „какая-то проклятая порча“ пришла въ Россію, у которыхъ „въ глазахъ“ „блуждающая кованная пустота.“

На правдивомъ изображеніи Блокъ показываетъ именно соблазна, который въ истинно-религіозномъ отношеніи.

„Землѣ
Молимся.
Пустыхъ и холодныхъ,
Въ сердцахъ,
Где не могутъ,
Где не могутъ ребятъ,

всей читающей публикѣ является сборникъ, переложивъ моему мнѣнію, имѣется стихамъ Иль Эренбурга. Читателю не о вчерашняго надо отмѣти его дарованіемъ замѣткѣ характеризовать вниманіе читателя на жутью искшихъ лѣтъ. Это циклъ влитвъ, обра- зующий число русскихъ поэтовъ, воспевающихъ Родину.

„Все живое гибнетъ подъ тяжестью, которые не счиются съ отчаяніемъ. Но челвѣкъ не можетъ оторваться отъ личной жизни отъ своихъ близкихъ.“

„У, на письма —
Я не увижу больше . . .
Мои любимые!

„Птица заслоняетъ крыльями
Своего сына въ обиду!
„Молимся,
Это былъ только снъ!“

„Понять близкихъ въ той страшной
Звучитъ голосъ: до свиданья! до
Ка газетъ „хочется вѣжжеть, закри-
йте! такъ невозможно!“, гдѣ ночью
Цыпочкахъ, и слушаютъ дыханіе

„О матеряхъ, что прячутъ своихъ дѣ-
тей въ тѣхъ, что въ тоскѣ
Умученныхъ своими батями“:

2. Народившійся патріотизмъ.

(Patriotica Ник. Авксентьева).

Въ концѣ 1920 года въ Парижѣ началъ выходить въ свѣтъ ежемѣсячный журналъ „Современныя Записки“ — первый, послѣ безвременной кончины „Грядущей Россіи“, знакъ возрожденія русскаго „толстаго“ журнала въ эмиграціи*). Можно сказать съ опредѣленностью, какую разновидность старой русской журналистики воскрешаютъ собой „Современныя Записки“: толстый журналъ народническаго толка, „Русское Богатство“, восходящее въ значительной мѣрѣ къ „Отечественнымъ Запискамъ“ Некрасова и Салтыкова.

Публицистическая часть первой кинжки воспроизводитъ довольно точно характеръ и содержаніе традиціонной народнической публицистики; произошло только одно измѣненіе: и „Внутреннее Обозрѣніе“ („На Родинѣ“ Марка Вишняка) и другія статьи (вродѣ „Положенія русской коопераціи“ З. Ленскаго) „обличаютъ“ и негодуютъ не противъ исторической русской власти, власти „старого режима“ — какъ это было во весь первоначальный періодъ народничества, — но противъ большевиковъ, власти Совѣтской. . . При этомъ тонъ и приемы остались тѣми же; только выраженія, пожалуй, стали сильнѣе. . . Въ этомъ параллелизмѣ можно усматривать нѣкоторую историческую поучительность: стремились разрушить „старый режимъ“ — и разрушили; и получили — себѣ же на голову — нѣчто такое, что приходится отвергать еще рѣшительнѣе, чѣмъ „старый режимъ“.

Въ „Современныхъ Запискахъ“ заключается нѣкоторый знакъ того, что урокъ исторіи не прошелъ для народническаго сознанія безслѣдно, что народническая идеологія пришла къ утвержденію тѣхъ началъ, отсутствіе которыхъ въ русской народной жизни обусловило собою то, что „старый режимъ“ смѣнился не чѣмъ инымъ, какъ большевизмомъ. Такимъ знакомъ можетъ служить статья Николая Авксентьева:

„Родина, какъ здоровье; ихъ начинаешь дѣйствительно цѣнить только, когда потеряешь. . . Слишкомъ долго слово патріотъ выговаривалось, какъ „потреотъ“.

„Теперь наступила пора его реабилитации. И она нужна именно теперь, ибо въ этомъ спасеніе, истинное новое рожденіе Россіи въ духѣ. Отъ этого зависитъ, быть ей или не быть.“

Н. Авксентьевъ назвалъ свою статью „Patriotica“. . . Наименованіе это не въ первый разъ встрѣчается въ русской публицистикѣ послѣдняго десятилѣтія: такъ озаглавленъ сборникъ статей Петра Струве, вышедшій въ 1910 году. Уже тогда Струве былъ выразите-

*) „Современныя Записки“, ежемѣсячный общественно-политическій и литературный журналъ, книга I, 1920, Парижъ. (Послѣ написанія этой записки полученъ и второй номеръ „Совр. Записокъ“. *Ред.*)

лемъ идей „патріотизма“. Но народникъ того времени едва ли могъ слышать это слово безъ дрожи отвращенія. . . Не является ли знаменательнымъ, что нынѣ на страницахъ народническаго журнала мы читаемъ, что „наступила пора его реабилитаціи“ и слышимъ изъ устъ народника проникновенныя рѣчи о томъ, что „въ этомъ спасеніе, истинное новое рожденіе Россіи въ духѣ?“ . . .

Одни цѣнили Родину, еще не утративъ ея; другіе стали „цѣнить“, когда потеряли. Этимъ опредѣляется различіе во времени провозглашенія принципа, но нисколько не нарушается единство послѣдняго. . . Былыя расхожденія дѣлаютъ тѣмъ болѣе сладостнымъ — констатировать нынѣшнее единство:

Основною идеей, пропитавшей собою „Patriotica“ Петра Струве и формулированной имъ въ предисловіи къ сборнику, — была идея „патріотической тревоги“. Уже тогда единомышленники Петра Струве говорили, что „Россію можетъ спасти только чудо“. Эти слова теперь, въ исторической перспективѣ, можно толковать, какъ предчувствіе катастрофы, постигшей Государство Россійское въ 1917-18 году. . . Этой же „тревогой“ *нынѣ* проникнута статья Н. Авксентьева:

„Страшенъ не физическій воздухъ, которымъ дышатъ большевики, а воздухъ моральный. И невольно беретъ страхъ, не заразили ли большевики моральный воздухъ, которымъ дышетъ нѣкоторая часть русской общественности; не скатывается ли она, сама того не замѣчая и думая спасти родину, къ большевистскимъ аргументамъ, эту родину, какъ „вѣчное во временномъ“, убивающимъ?“ . . .

И теперь не чуждо „патріотической тревоги“ то — въ прошломъ столь далекое — народничеству направленіе, однимъ изъ проявленій котораго были „Patriotica“ Петра Струве — направленіе послѣдовательно-національное. Но для этого направленія — въ отношеніи къ настоящему моменту, — характеренъ нѣкоторый иной строй ощущеній. Въ этомъ смыслѣ показательна, какъ намъ кажется, книжка „Русской Мысли“, лежащая передъ читателемъ. Русская народная стихія, отмечающая въ своемъ безсознательномъ бытіи всѣ замыслы и умыслы разрушителей Родины, „бѣлыя мысли“, перелетающія изъ національнаго лагеря въ большевистскій, совѣтская поэзія, возславляющая, вмѣсто Интернаціонала, конкретный и живой образъ Россіи — все это признаки не чуждаго только, но возникающаго и возникшаго національнаго возрожденія Россіи. И какъ одинъ изъ знаковъ такого — совершающагося — возрожденія, можно, *mutatis mutandis*, разсматривать и Patriotica Николая Авксентьева. — Послѣдовательно-національная мысль прошла черезъ преобладаніе „патріотической тревоги“, какъ черезъ одинъ изъ своихъ — къ настоящему моменту уже пройденныхъ этаповъ. И сейчасъ въ ней пробуждается и растетъ чувство возрожденія Россіи. Является ли это чувство своевременнымъ и исторически проникновеннымъ или же еще не настало время возрожденія и законна только „патріотическая тревога“ — это рѣшитъ Исто

3. Антологія современной русской поэзіи.

„Поэзія большевистскихъ дней“ — подъ этимъ заглавіемъ Берлинское Книгоиздательство „Мысль“ выпустило въ свѣтъ сборникъ новѣйшей русской поэзіи, стиховъ, въ большинствѣ еще совершенно неизвѣстныхъ русской читающей публикѣ и уже хотя бы по одной этой причинѣ представляющихъ нѣкоторый интересъ. *)

Вѣдь „большевистскіе дни“ оказались не днями, а страшными годами, и вотъ уже въ теченіе трехъ лѣтъ русскій читатель, находящійся внѣ предѣловъ Совѣтской Россіи, лишенъ возможности знакомиться съ новыми произведеніями русской поэзіи.

Впрочемъ, и въ самой Совѣтской Россіи поэтическое творчество послѣднихъ лѣтъ остается неизвѣстнымъ для большинства интересующихся, такъ какъ сборники стиховъ въ Россіи почти не печатаются: тамъ „главбумъ“ (главный комитетъ бумажной промышленности) устанавливаетъ очереди на печатаніе допускаемыхъ къ изданію книгъ, огромное большинство очередей отдаетъ агитаціонной литературѣ и, въ лучшемъ случаѣ, учебной, и до поэзіи очередь доходитъ чрезвычайно рѣдко. Главнымъ способомъ популяризаціи своихъ произведеній для поэтовъ остается чтеніе ихъ въ „устныхъ альманахахъ“, которые съ лѣта 1918 года стали пользоваться въ Москвѣ большимъ успѣхомъ. Особенно сильно посѣщаемы были „Трилистникъ“, гдѣ часто можно было услышать К. Бальмонта и Илью Эренбурга, и „Музыкальная табакерка“, гдѣ съ чтеніемъ своихъ произведеній выступали Валерій Брюсовъ, Сергѣй Ауслендеръ, Рюрикъ Ивневъ, Вадимъ Шершеневичъ и др.

„Трилистникъ“ и „Музыкальная табакерка“ превратились въ клубы любителей поэзіи и здѣсь, какъ въ старыхъ литературныхъ кружкахъ, авторы читали свои новыя, оконченныя и неоконченныя произведенія, послѣ чего нерѣдко разгорались интересныя литературныя споры.

Иногда устраивались литературныя собранія, посвященныя какой-либо одной поэтической темѣ. Таковъ былъ устроенный въ Августѣ 1918 года въ „Музыкальной табакеркѣ“ Валеріемъ Брюсовымъ „вечеръ эротической поэзіи“ и организованный Сергѣемъ Ауслендеромъ „вечеръ памяти Петербурга“.

И казалось тогда, на этихъ вечерахъ, что русская поэзія не замретъ и въ страшные дни большевизма, что русское поэтическое творчество продолжается и будетъ продолжаться.

Сбылись ли эти надежды — не знаемъ. Быть можетъ, и сбылись. Но что несомнѣнно, лежащій передъ нами сборникъ „Поэзія большевистскихъ дней“ не отражаетъ богатства русской поэзіи послѣднихъ трехъ лѣтъ.

*) „Поэзія большевистскихъ дней“. К-во „Мысль“, Берлинъ, 1921 г., стр. 125.

Не останавливаясь на хорошо известной всей читающей публикѣ поэмѣ А. Блока „Двѣнадцать“, которой начинается сборникъ, переходимъ сразу къ самому цѣнному, что, по нашему мнѣнію, имѣется среди остального матеріала книжки — къ стихамъ Ильи Эренбурга.

Илья Эренбургъ известенъ русскому читателю не со вчерашняго дня. Критика уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ отмѣтила его дарованіе. Мы не будемъ пытаться въ этой бѣглой замѣткѣ охарактеризовать его творчество; мы хотимъ лишь обратить вниманіе читателя на его послѣдніе стихи, рожденные тоской и жутью истекшихъ лѣтъ.

Это собственно даже не стихи; — это циклъ молитвъ, обращаемыхъ къ Богу: Господи заступись!

Илья Эренбургъ принадлежитъ къ числу русскихъ поэтовъ, воспринявшихъ 1917 годъ, какъ „Распятіе“ Родины.

Вокругъ творится что-то страшное; все живое гибнетъ подъ руками новыхъ „строителей жизни“, которые не считаются съ отдѣльнымъ человѣкомъ, съ его личной жизнью. Но человѣкъ не можетъ отказаться отъ себя, отъ своей личной жизни, отъ своихъ близкихъ, любимыхъ.

„Когда я гляжу на твою карточку, на письма —
 Все что у меня есть . . . можетъ не увижу больше . . .
 Я молюсь о тебѣ, о всѣхъ васъ, мои любимые!
 Если бъ я могъ
 Заслонить васъ молитвой, какъ птица заслоняетъ крыльями
 Птенцовъ.
 Господи, заступись! не дай ихъ въ обиду!
 Я не знаю — можетъ мы увидимся,
 Можетъ скажемъ обо всемъ „это былъ только сонъ!“
 А можетъ скоро уснемъ“

Только молитвой можно заслонить близкихъ въ этой страшной странѣ, гдѣ „такъ неуверенно звучитъ голосъ: до свиданья! до завтра!“, гдѣ послѣ чтенія вороха газетъ „хочется выбѣжать, закричать прохожимъ: нѣтъ! Послушайте! такъ невозможно!“, гдѣ ночью „спятъ и не спятъ, и ходятъ на цыпочкахъ, и слушаютъ дыханіе ребятъ, и молятся. . .“

Идутъ молитвы о Россіи, „о матеряхъ, что прячутъ своихъ дѣтей“, „о тѣхъ, что ждутъ послѣдняго часа, о тѣхъ, что въ тоскѣ предсмертной молятся, о всѣхъ умученныхъ своими братьями“:

„О нашей родимой землѣ
 Миромъ Господу помолимся.
 О нашихъ поляхъ пустыхъ и холодныхъ,
 О нашихъ безлюбыхъ сердцахъ,
 О тѣхъ, что молиться не могутъ,
 О тѣхъ, что давятъ малыхъ ребятъ,

О тѣхъ, что поютъ невеселыя пѣсенки,
 О тѣхъ, что ходятъ съ ножами и кольями,
 О тѣхъ, что брешутъ языками песьими,
 Миромъ Господу помолимся.“ . . .

Лучшіе образцы творчества поэтовъ, „пріавшихъ“ октябрьскую революцію, отсутствуютъ въ разбираемомъ сборникѣ. А. Бѣлый представленъ однимъ незначительнымъ стихотвореніемъ, В. Маяковскій отсутствуетъ вовсе. Напечатанныя же произведенія молодыхъ „совѣтскихъ“ поэтовъ свидѣтельствуютъ (за немногими исключеніями) главнымъ образомъ, о бездарности и въ то же время — самодовольствѣ авторовъ:

„Падайте ницъ, — Плюхайтесь — Рыломъ въ болото. —
 Бѣльмами — Старого упыря — Гляньте: — Какой я красавецъ!“
 заявляетъ Петръ Орѣшинъ. И онъ же хочетъ выкрикнуть свои слова на весь міръ:

„Каменный ротъ мой — Распяленъ пѣсней — Отъ Востока до
 Запада.“ —

Отъ Петра Орѣшина не отстаетъ Василій Каменскій, тотъ Василій Каменскій, который въ 1918 г. въ Москвѣ позволилъ себѣ прочесть лекцію объ исторіи русской интеллигенціи, озаглавивъ ее „карьера сукинаго сына“. Такъ и значилось на афишахъ: „карьера сукинаго сына“, а въ скобкахъ „исторія русской интеллигенціи“.

Отчасти циничными, отчасти бредовыми словами продолжаетъ Василій Каменскій привѣтствовать совѣтскую власть: онъ „торжествуетъ марсельезно и революцію куетъ“.

А. Г. Левенсонъ.

Памяти А. А. Шахматова.

Существует университетское преданіе. Защищалась диссертация по языку и вот во время преній выступает гимназистъ. Всѣ въ недоумѣніи. Однако возраженія гимназиста все основательнѣе и основательнѣе, они чуть что не губятъ диссертанта.

Гимназистъ этотъ Алексѣй Александровичъ Шахматовъ.

Это былъ большой и настоящій ученый, на которомъ даже — не боюсь сказать — лежала печать геніальности. Рядовые работники науки иногда говорили о немъ улыбаясь: „у него два факта — гипотеза, три факта — теорія“, но потому то онъ и былъ большой ученый, что ему нужна была теорія. Ему рассказываешь бывало то и это. Онъ вдругъ перебьетъ: „что же вы хотите на этомъ построить?“ и вдругъ догадается, и лицо его просіяетъ. Онъ заблуждался, къ концу жизни отказался отъ многого того, что въ учебникахъ считается теоріями Шахматова, но въ этомъ была его огромная сила. Для него *magis amica* была *veritas* и на такихъ ошибкахъ учились и учатся цѣлыя поколѣнія ученыхъ.

И не есть ли большіе люди — какія то сплошныя, грандіозныя, но такъ обучающія насъ ошибки? Вѣдь и Колумбъ думалъ, что онъ открываетъ Индію.

Нѣтъ возможности въ короткой замѣткѣ останавливаться на томъ, что сдѣлано Шахматовымъ. Его изученіе лѣтописи и ея источниковъ признаны классическими, какъ и его работы по русскому языку, по діалектологіи. На его лекціяхъ можно было удивляться его эрудиціи. Онъ зналъ иногда, что „тисель“ вмѣсто „кисель“ произносятся въ юго-восточномъ углу такого-то уѣзда и въ такомъ-то селѣ другого уѣзда, потому что это село стоитъ на дорогѣ оттуда и оттуда, и здѣсь проходили поселенцы. Я хочу передать нѣсколько человѣческихъ впечатлѣній отъ этого незабываемаго лица. Видѣлъ его еще прошлой зимой. Ходилъ въ его семинаріи по русскому синтаксису, гдѣ всѣ сидѣли въ шубахъ. До февраля онъ удерживалъ меня въ Россіи и все обнадеживалъ возможностью работать. Но въ февралѣ и онъ меня благословилъ на отъѣздъ. „Тутъ вамъ нечего дѣлать, я бы и самъ уѣхалъ, но мнѣ нельзя: семья, Академія“. Онъ думалъ объ Академіи — гдѣ былъ предсѣдательствующимъ отдѣленія, между дровъ, которыя кололъ, между какими то ящиками, которые таскалъ — худой и изможденный. Въ ту проклятую зиму умерли отъ тифа его сестра и мать, и онъ самъ, за веревочку, огрубѣлыми руками тащилъ на санкахъ гробъ, сначала одинъ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ другой на кладбище, черезъ петербургскіе сугробы. Во всей его фигурѣ было

столько настоящаго русскаго смиренія передъ горемъ, величественнаго и святаго.

Я видѣлъ иностранныхъ ученыхъ, которые, говоря о Шахматовѣ, вдругъ преображались, ихъ глаза свѣтились глубокой человѣческой лаской. Но они его не всегда понимали и считали чудакомъ. На дняхъ я говорилъ о немъ съ однимъ, и тотъ, какъ особенное, шахматовское, рассказалъ мнѣ: была уже революція 17-го года и отмѣнили смертную казнь. И вотъ за это, весь сія радостью, предложилъ выпить Алексѣй Александровичъ. Какъ онъ замахалъ руками на моего собесѣдника, который вздумалъ было ему возражать.

Да, онъ былъ всегда идеалистомъ — полуребенокъ и полустарикъ!

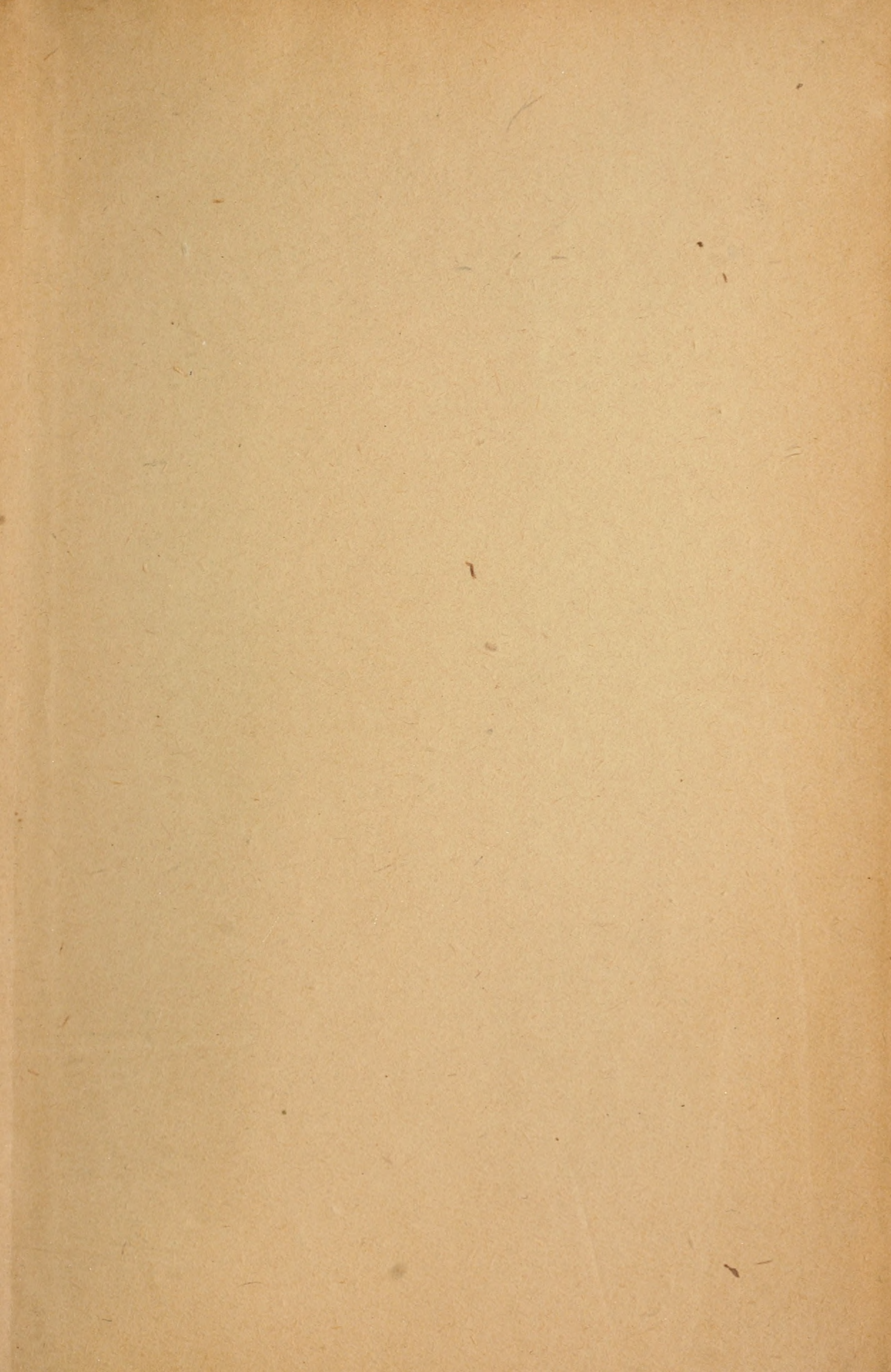
Когда была объявлена война, онъ хотѣлъ пойти рядовымъ и тайкомъ, стыдась, ходилъ куда-то свидѣтельствоваться. Но его не приняли: кому нуженъ былъ этотъ старикъ? Онъ всегда смущался, когда ему это напоминали, и говорилъ, что старики должны идти на войну, такъ какъ они сдѣлали свое дѣло, а молодежь пусть учится. Но онъ до конца учился и до конца не сдѣлалъ всего дѣла. Какъ онъ увлекался какимъ-нибудь молодымъ ученымъ и какъ много среди нихъ дѣйствительно облагодѣтельствованныхъ имъ. Одинъ изъ нихъ — теперь большевикъ — въ некрологѣ, напечатанномъ въ „Извѣстіяхъ“, говорилъ, что его смерть отъ тяжелыхъ условій жизни произошла отъ того, что Шахматовъ оставался долго непреклоннымъ и не шелъ на компромиссы съ господами положенія.

А развѣ потомъ пошелъ? Умирая, онъ проклиналъ ихъ — я это знаю въ отчеловѣка, который былъ у его постели.

„Въ насъ русскихъ проснулася кочевая природа славянства, вотъ и вы уѣзжаете“ — грустно улыбаясь, говорилъ онъ мнѣ передъ отъѣздомъ.

Онъ остался на своемъ посту изъ чувства долга, и вотъ теперь погибъ. Огромная научная величина и прекрасный чуткій человѣкъ необыкновенно нѣжной души.

Юр. Никольскій.



6-4-71

AP Russkaia mysl'
50
R8
g.41
kn.1-2

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

